

# ДЕРЖАВИН



Олег  
Михайлов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



## Annotation

Эта книга о великом поэте, одном из родоначальников и реформаторов русской литературы, Г. Р. Державине Жизнь его изобиловала острыми драматическими конфликтами, он был храбрым гвардейским офицером, видным государственным деятелем, не страшившимся «истину царям с улыбкой говорить». Творчество Державина дало толчок к развитию современных жанров литературы.

*В тексте сохранена орфография оригинала. — Примечание оцифровщика.*

[Адаптировано для AlReader]



*FB2 книгу сделал mefysto*

- 
- [Олег Михайлов](#)
    - 
    - 
    - [Предисловие](#)
    - [Глава первая](#)
    - [Глава вторая](#)
    - [Глава третья](#)
    - [Глава четвертая](#)
    - [Глава пятая](#)
    - [Глава шестая](#)
    - [Глава седьмая](#)
    - [Глава восьмая](#)
    - [Глава девятая](#)
    - [Глава десятая](#)
    - [Глава одиннадцатая](#)
    - [НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
    - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)

- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- A**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [СЛОВАРЬ\[27\]](#)
- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
-

ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



В Ы П У С К 4

(567)

**Олег Михайлов**

**ДЕРЖАВИН**

**Романизированное описание исторических  
происшествий и подлинных событий,  
заключающих в себе жизнь Гаврилы  
Романовича Державина**

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

---

\*

© Издательство «Молодая гвардия», 1977





## Предисловие

В созвездии русских писателей и поэтов XVIII века имя Гаврилы Романовича Державина — одно из самых ярких и значительных. Державин прошел необычный жизненный путь — от простого солдата до министра. Он наблюдал такие важные события в жизни России, как восстание Пугачева и Отечественная война 1812 года. Своей поэтической деятельностью он подвел итоги развитию русской литературы первых двух третей XVIII века и во многом повлиял на дальнейшие пути развития.

XVIII век — сложный и богатый период в истории русской литературы. Опираясь на творческий опыт писателей этого периода, Пушкин смог явиться родоначальником русского реализма, сказать новое слово в истории мировой литературы, стать одним из величайших художников человечества.

В начале века стоят бурные годы петровских реформ. Конец века замыкается эпохой наполеоновских войн, завершившихся победой русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Этот период огромного напряжения национальных сил, когда Россия входила в число мировых держав, по выражению Пушкина, как спущенный на воду корабль, под гром пушек и стук топоров, был той школой самосознания, которую проходила русская общественная мысль и вместе с ней русская литература.

В острой борьбе старого и нового созревала русская культура, складывался новый тип русского человека.

Понятно, что развитие литературы было трудным и сложным. Бурный рост страны, новизна самых различных областей жизни требовали от литературы новых образов и форм, нового поэтического языка для своего отражения. Шаг за шагом, год за годом накапливала она творческий опыт, приближалась ко все более глубокому отражению жизни, создавая предпосылки для возникновения реализма. В начале века большую роль сыграл в развитии русской литературы Антиох Кантемир. Его сатира вводила в литературу, в противовес господствовавшей в XVII веке церковно-религиозной литературе, жизненные вопросы современности, боролась за новый тип человека.

На смену сатире Кантемира русские писатели середины века — прежде всего Ломоносов, а за ним Сумароков и другие — внесли в литературу пафос прославления новой культуры. В оде, трагедии и в

других жанрах они славили победы русского оружия, рисовали идеальные образы правителей и полководцев, в которые вкладывали свои идеи о том, какими должны быть передовые носители новой культуры. Это был период так называемого классицизма. Но значительность содержания литературы классицизма ограничивалась, с одной стороны, тем, что в центре его внимания стояли по преимуществу (за исключением поэзии Ломоносова) вопросы чисто дворянской жизни и культуры; другие классы — и прежде всего крестьянство — не допускались в храм дворянского искусства. А это, с другой стороны, приводило к большой сложности и самой литературной формы.

Психология человека, природа, быт, естественная жизненная обстановка — все это не находило полного себе выражения в литературе классицизма. Условность во многом вытесняла в ней жизненную правду.

Говоря о буржуазных идеологах XVIII века на Западе, Ленин указывал на то, что «они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»<sup>[1]</sup>. Дворянские писатели в России, прославлявшие в XVIII веке успехи Русского государства, русского оружия, могли искренно верить в то, что эти успехи важны для всего народа, не замечая при этом страданий народа, ценою которых эти успехи покупались. Но если в начале и середине века дворянству удавалось сохранять; полное господство в стране, то к концу века положение меняется. Крестьянство все сильнее заявляет о своем недовольстве. Передовые люди России — Радищев, Новиков, Крылов — все острее чувствуют нарастающие социальные противоречия и в той или иной мере отражают их в своем творчестве.

Сатирические журналы Новикова («Трутенъ», «Живописецъ»), выходящие в конце 60-х и в начале 70-х годов XVIII века, резко нападают на крепостничество. «Они работают, а вы их хлеб идите» — таков был недвусмысленный эпиграф, который поставил к «Трутню» Новиков. «Недоросль» Фонвизина, «Почта духов» и «Каиб» Крылова и прежде всего знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева — таковы были произведения, в которых клеймилось крепостное право, выдвигалось требование жизненной правды. «Истина одним пером моим руководствует», — писал Радищев.

1773–1775 годы знаменуются восстанием Пугачева, потрясшим монархию Екатерины II.

В это время и начинает свою литературную деятельность Державин. Он выступил в печати еще в 1773 году, но первые значительные

произведения создает к концу 70-х годов. (В 1779 году им написаны такие замечательные стихотворения, как «На смерть князя Мещерского», «Ключ» и др.) Творчество его определяет развитие поэзии последней четверти века.

Наряду с поэтическими успехами шел и подъем Державина по лестнице общественных успехов. Став офицером, он быстро обратил на себя внимание своими способностями, незаурядной энергией, предприимчивостью. Но вместе с тем, как сам он о себе говорит, он был «по пылкому свойству» «довольно смел и неуступчив». Поэтому служебная карьера Державина представляет собой пеструю картину взлетов и падений, острых столкновений с вельможными людьми из придворного мира и даже с самими верховными властителями: Екатериной, Павлом и Александром, — при которых служил Державин.

В 1783 году известная ода «Фелица», прославлявшая Екатерину, обратила на поэта внимание императрицы, приславшей ему табакерку с бриллиантами и 500 червонцев. Державин был назначен губернатором в Олонецкую губернию, потом переведен губернатором в Тамбов. Екатерина внимательно следила за литературой, придавала ей большое значение, пыталась воздействовать на ее развитие. Талант Державина, его возрастающая поэтическая популярность определяли стремление императрицы направить деятельность поэта в нужную ей сторону. Екатерина решила приблизить Державина «ко двору» и в 1791 году назначила его своим личным кабинет-секретарем. Расчет Екатерины не осуществился: поэт был слишком честен и прям, а придворная обстановка слишком неприглядна для того, чтобы вызвать его поэтическое вдохновение. Меньше чем через два года Державин, который «правдою своею часто наскучивал» императрице, был освобожден от должности ее секретаря и назначен сенатором. Высокие посты занимал он и при Павле, при Александре был министром юстиции. «От солдатства с лишком через 35 лет дошел до знаменитых чинов», — писал он о себе. Накапливалось богатство — к концу жизни у Державина насчитывалось 2 тысячи душ крестьян, было два дома в Петербурге, богатое имение на реке Волхов в Званке.

Честность и прямота, открытый и гордый характер, чуждый искательства и низкопоклонства, широкий, накопленный в трудные годы молодости жизненный опыт, отзывчивость к простым людям и негодование на вельмож («Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры их горделивые разоблачал кумиры», — сказал о нем Пушкин в «Послании цензору») — все это выделяло Державина в кругу знатных людей екатерининского времени, определяло самобытность и привлекательность

его личности. Но, выделяясь как личность, Державин по своим взглядам, по всей системе своих общественных понятий и симпатий оставался костью от кости и плотью от плоти дворянского общества. Когда уже в начале XIX века встал вопрос об освобождении крестьян, Державин резко выступил в защиту крепостничества.

И в литературной жизни Державин был связан с так называемыми «архаистами» (Шишковым и др.), боровшимися с новыми идеями и формами в литературе. У него собирались участники основанной в 1811 году «Беседы любителей русского слова», объединявшей архаистов.

Таким образом, по своим взглядам Державин был представителем крепостнической дворянской знати.

Читая стихи Державина, мы должны помнить, что это стихи человека, для которого деление людей на полновластных хозяев и во всем покорных им слуг еще было вечной истиной, не подлежащей никакому сомнению. «Двор резвыми кишит рабами», «рабы служить к столу бегут», «не смеют слуги идохнуть» — эти строки, брошенные им мимоходом, заставляют нас ощутить бесконечно чуждую эпоху, когда люди делились на рабов и господ, которые могли их продавать и делать с рабами все что угодно.

Поэтому вполне понятно, что Державин был поэтом дворянской мощи, поэтом, который славил победы, придворные празднества, монархов и полководцев.

Почему же стихи Державина сохраняют свою поэтичность для нас спустя более чем полтора столетия, почему его деятельность в целом сыграла положительную роль в развитии русской литературы, почему революционер Радищев именно Державину послал экземпляр своего «Путешествия», когда он только что вышел из печати, почему революционер Рылеев посвятил Державину свою «Думу»? Это бессмертие Державина обусловлено богатством содержания его поэзии: в ней отражены и такие стороны жизни, которые были важны для дальнейшего развития русского общества, которые были ценны для передовых его представителей.

Державин сумел уловить существенные особенности исторической обстановки, в которой ему пришлось жить, и это определило значительность содержания его творчества и богатство его формы.

В стихах Державина перед нами живая и разносторонняя человеческая личность, которая далеко выходила за рамки дворянской сословности. Черты этой личности во многом отвечали передовым тенденциям развития, которые наметились в русском обществе. Тому человеческому образу, который приносил в поэзию Державин, были присущи демократические

черты, и в этом было его подлинное новаторство.

Пафос живой человеческой личности в поэзии Державина выражался в стремлении поэта к естественности и простоте в изображении человека.

Человек вступает в лирику Державина со всем окружающим его вещным и природным миром, с характерной для него речью, впитывающей в себя черты житейского просторечия. Природа Державина — настоящая русская природа с ее национальным колоритом. Бытовые картины его — это опять-таки картины простого русского быта. Живое просторечие Державина было подготовкой той решающей реформы русского поэтического языка, которая была осуществлена Пушкиным. Тот мужик, которого, по словам враждебных Пушкину дворянских критиков, он привел в Благородное собрание, впервые стал проникать в поэзию именно благодаря просторечию Державина.

Это изображение человека в житейской обстановке, воспроизводившее национальные черты русской жизни, русской природы, русского языка, быта, фольклора, определяло своеобразие державинской поэзии.

Демократизм поэзии Державина и со стороны ее содержания, и со стороны ее формы опирался на демократические элементы русской национальной культуры, и поэтому он перерастал рамки дворянской сословности, с которой Державин как человек был тесно связан.

Вопрос о смысле жизни, о смерти, грозящей человеку, религиозные темы глубоко интересуют Державина. Ода «На смерть князя Мещерского» с огромной поэтической силой передает ощущение грозящей человеку гибели, которое Державин чувствует тем полнее, чем острее в его поэзии выражена необычайная жажда жить всеми земными радостями.

Эти философские размышления не отвлекли Державина от больших проблем окружавшей его социальной действительности. Он дал образцы и политической лирики. Особенно значительны его стихотворения, посвященные прославлению русского оружия. Здесь опять-таки Державин выступает как поэт широкого национального размаха, рисующий героические подвиги русского солдата, русского народа. Сам солдат, он смог в картинах сражений, которые он изображал, увидеть героические черты русского национального характера, подняться на вершину подлинного патриотического воодушевления.

Державин — крупнейший русский военный лирик, откликавшийся на все основные события военной жизни России XVIII века. Его стихотворения, посвященные таким замечательным успехам русского оружия, как взятие Измаила, переход Суворова через Альпы, разгром Наполеона (не говоря о ряде других), являются образцами русской военной

лирики.

О том, с каким подъемом, с какой своеобразной интонацией гордости, удали и веселья умел Державин передавать воинское воодушевление, говорит его исключительно своеобразная застольная воинская песнь «Заздравный орел», написанная в честь Румянцева и Суворова:

*По северу, по югу  
С Москвы орел парит;  
Всему земному кругу  
Полет его звучит.*

*О! исполать, ребята,  
Вам, русские солдаты,  
Что вы неустрашимы,  
Никем не победимы!*

*За здоровье ваше пьем!., и т. д.*

Патриотизм Державина не закрывал, однако, от него и мрачных сторон русской жизни. Сын своего времени, он искренне выразил свои монархические чувства в оде «Фелица», где прославил Екатерину II как образец «просвещенного монарха». Но когда Екатерина приблизила Державина ко двору и сделала своим секретарем в надежде, что он станет ее постоянным придворным певцом и восхвалителем, в нем снова сказался его демократизм, который отличал его в юности. Картины придворной жизни, полной продажности и лицемерия, вызвали в Державине чувство живого протеста, и в его лирике обнаружилась новая черта — острая сатира, в основе которой опять-таки лежало отражение тех демократических тенденций русской жизни, о которых мы уже говорили.

Державин как-то сам сказал о себе, что он «горяч и в правде черт». Эта борьба за правду и лежит в основе его сатиры, в таких, например, крупных его произведениях, как «Вельможа», «Властителям и судиям». Рисуя картины человеческих унижений и страданий, Державин обращается со словами, полными негодования, к вельможе, который «несчастных голосу не внемлет».

Политическая, философская, военная, бытовая, интимная лирика в целом создавала благородный облик лирического героя поэзии Державина. Вступая на путь демократизации поэтического творчества, высоко подняв



патриотическое начало своей поэзии, открыв доступ в поэзию новым поэтическим формам, Державин рисовал облик человека-гражданина, живущего одной жизнью со своей родиной и в то же время широко и полно проявляющего себя как личность. Пафос личности и вместе с тем пафос родины — основное содержание лирики Державина.

Но борьба за человеческую личность, патриотический пафос и сатира Державина при всей значительности идейного содержания его творчества оставляли в стороне наиболее существенное противоречие эпохи — крепостное право.

Выступив в русском литературном процессе как художник, который выводил искусство на пути к жизненной правде, Державин в то же время как бы разбивал это искусство на два потока. Один из них вел действительно к жизненной правде в изображении человека, был полон той заботы об общественном благе, которая так привлекала к Державину Рылеева:

*Он пел и славил Русь святую!  
Он выше всех на свете благ  
Общественное благо ставил  
И в огненных своих стихах  
Святую добродетель славил.* [\[2\]](#)

Здесь выразились наиболее прогрессивные, демократические черты творчества Державина.

Но в то же время Державину еще не хватает необходимой для подлинного художника-реалиста социальной зоркости в понимании явлений жизни. Вот эта двойственность Державина и делала его, с одной стороны, близким Рылееву, а с другой — реакционером из «Беседы любителей русского слова».

Державин выступил в острый, переходный момент общественного развития, и самое творчество его тоже имело в значительной мере двойственный и переходный характер.

Богатая и пестрая событиями биография Державина, кажется, представляет собой готовый сюжет для романа. Непрестанная цепь взлетов и падений, драматические повороты судьбы, конфликтные столкновения с вельможами и даже монархами — все это создает благодарную канву для беллетризации, хотя сам по себе такой подход и несет, несомненно, оттенок дискуссионности.

Автор книги о Державине, О. Михайлов, пошел по тому же пути, что и, например, эстонский писатель Я. Кросс в повести «Имматрикуляция Михельсона» (об активном участнике подавления пугачевского восстания) или В. Пикуль в своих исторических романах из эпохи XVIII века. Он как бы предоставляет говорить о себе самому времени, самим участникам давних событий и, конечно, прежде всего Державину. Однако в отличие от этих исторических беллетристов О. Михайлов придерживается в своем повествовании строгой документальности: в его книге нет ни одного вымышленного лица. Можно сказать, что элемент вымысла вынесен здесь на бытовую периферию.

Задача автора облегчалась тем, что к его услугам были не только многочисленные мемуарные свидетельства, не только монументальная биография Державина, созданная Я. Гротом, и переписка поэта с современниками, но и подробные «Записки», в которых Державин сам рассказал о своем жизненном пути («Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина»).

Однако это же обстоятельство ставило перед ним и новую трудную задачу: выбор повествовательной манеры, которая и не вступала бы в резкое противоречие с языком эпохи (ее документами, воспоминаниями современников и прежде всего самого Державина), и в то же время не переходила бы в нарочитую стилизацию.

В основном автор избрал план повествования, с которым следует согласиться: он в целом ориентируется на манеру речи современной эпохи, сохраняя все же за собой, так сказать, свободу речевого жеста в смысле включения — в случае стилевой необходимости, — и своего рода авторских отступлений, придающих языку повествования в целом не скованный одною только речевою мерой характер.

Конечно, большая или меньшая обоснованность этой смены, так сказать, авторских ключей повествования определяется в каждом данном случае общим характером повествовательного контекста, охватывающего столь обширную, сложную и противоречивую эпоху.

Перед читателем предстанет Державин в противоречиях его личности, в бедствиях необеспеченной юности и авантюрных попытках обогащения, в рискованных перипетиях борьбы с пугачевским восстанием (когда Державин едва не был захвачен восставшими крестьянами в плен и за голову его Пугачев объявил денежную награду в 10 тысяч рублей), в пору первых успехов в стихотворчестве и начавшегося возвышения по служебной лестнице, в борьбе с вельможами и отстаивании до конца своих

взглядов перед Екатериной, Павлом и Александром I, в ореоле славы первого поэта России. Одновременно читатель познакомится с современниками Державина — его друзьями-литераторами В. Капнистом, Н. Львовым, И. Хемницером, И. Дмитриевым, увидит колоритные фигуры екатерининских вельмож — Г. Потемкина, И. Шувалова, А. Вяземского, встретится с великим полководцем А. Суворовым. Романизированная биография «Державин» была напечатана в 1976 году в журнале «Волга» и отмечена премией года по художественной прозе.

Невыдуманный облик Державина, его жизнь, его судьба, переданная пером живым и ярким, помогут лучше узнать и полюбить одного из замечательных поэтов XVIII века, который, по определению Белинского, был «первым живым глаголом юной поэзии русской».

*Член-корреспондент АН СССР Л. И. ТИМОФЕЕВ*

# Глава первая

## КАРТЕЖ



*Позволю я тебе и в карты поиграть,  
Когда ты в те игры умеешь подбирать:  
И видь игру без хитрости ты мертву,  
Не принеси другим себя, играя, в жертву!  
А этого, мой сын, не позабудь:  
Играя, честен ты в игре вовек не будь!*

*А. Сумароков. Наставление сыну*

О, бедность, проклятая бедность!.. Когда ни семитки в кошельке и надеяться не на кого — ни боярина близкого, ни благодетеля какого нет. И вот сидит он, запершись в светелке, на хлебе и на воде, по несколько суток марают стихи, — при слабом свете полушечной сальной свечки или при

сиянии солнечном сквозь щели затворенных ставен. Перекладывает с немецкого вирши Фридриха Великого и сочиняет шутки всякие, хоть и па душе кошки скребут...

Ах, маменька, маменька, ненаглядная Фекла Андреевна! Ежели бы ведала ты, что понаделал-понатворил сынок твой, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Гаврило, сын Романов Державин! И наследственное именье, и купленную у господ Таптыковых небольшую деревенишку душ в тридцать — все как есть заложил, а деньги до трынки просадил в фараон! Да еще неизвестно, не разжалуют ли его в Санкт-Питербурхе в армейские солдаты за то, что он в сей распутной жизни, будучи послан с командой в Москву, полгода уже просрочил...

Державин отбросил в отчаянии гусиное перо, отодвинул табурет. Заколебалось пламя огарка, тень заметалась по стенам убогой горницы.

Что делать — надоумь, господь вседержитель! Завели его троюродный братец Блудов с господином подпоручиком Максимовым сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру. Откуда помощи ждать, кто будет спасителем погибающего мотарыги?..

Внизу хлопнула дверь: небось Стеша, дочь в соседстве живущего приходского дьякона. Хаживает тайком от родителей к Максиму, простодушна, нежна. Хаживает-то к Максиму, да поглядывает на Державина. Видать, приглянулся ей рослый гвардеец.

Державин снова прислушался.

Шум отодвигаемых столов, перебранка негромкая. Ба! Не иначе как Максимов с Блудовым новичка какого завели в фаро играть и обакулить — деньги из мошны вытряхнуть. Хитрость небольшая. Один садится банк метать, другой сказывается его противником. Если нужно, скажет «атанде»<sup>[3]</sup>. Если товарищ-банкомет забыл число прометанных абцугов<sup>[4]</sup>, ловко напомним ему об этом. А то еще и колоду подменит: у Максимова их во множестве...

Или самому спуститься попытать счастья?

Он вспомнил, как с отчаяния ездил день и ночь по трактирам искать игры, как спознакомился с игроками, вернее, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками, как научился у них подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Благодарение богу! Совесть или, лучше сказать, молитва матери никогда его до того не допускала, чтоб предался он в наглое воровство и коварное предательство кого-либо из приятелей, как другие делали. Нет, никуда он не пойдет: играй, братец, да не отыгрывайся!..

Державин снова взялся за перо, неровные строки запрыгали по листу

бумаги. Но тут же он перечеркнул написанное. Не то, не то. Обезжиленными выходили у него в перекладке стихи прусского короля.

Немецкий язык — единственный из иностранных, который спознал Державин в бедной своей юности. Он перенесся мыслью в далекие дни детства, вспомнил своего батюшку — премьер-майора Пензенского пехотного полка, пыльный Оренбург и свирепого учителя из каторжников пономаря Иосифа Роза, палкою наставлявшего несчастных своих цёглингов<sup>[5]</sup> тверждению вокаболов и списыванию оных. Вдруг стук в дверь, сильный и грубый, вывел его из забытья.

В горницу вкатился низенький офицер в расстегнутом зеленом мундире и без парика — глазки маленькие, хитрые, губы вывернутые и нос лапоточком. Подпоручик Сергей Максимов собственной персоной.

— Братец, душа моя, Гаврило, все пишешь? Великие мы с тобою дураки: у нас денег нет! — забормотал он. — Напиши, голубчик, стихи на Яковлева Димитрия, что внизу сидит. У того денег много. Какой умница он! А у кого денег нет — великий дурак! Ежели бы я имел их довольно, какой бы умница, достойный похвалы и добродетельный был человек! Всем и на тебя ссылаюсь, что я, право, ведь добрый человек, да карман мой — великий плут, мошенник и бездельник. Да и признаться, душенька, должен, что это правда. Черт знает, откуда зараза в людей вошла, что все уже нынче и в гошпиталях валяются, одержимые не болезнью, а только деньгами, деньгами, деньгами! Богатому, хотя и глупу, всяк дает место... Пойдем же, братец: богатый олух припожаловал!

— Что зря меня юрить, — отмахнулся Державин. — Хватит. Было ремесло, да хмелем поросло...

— Не играй, не играй! — согласился тотчас же Максимов. — Посиди только, душа моя, с нами, да погляди, как богат пришел в пир, а убог уйдет в мир...

Молча надел Державин потертый мундир с тремя сержантскими позументами на рукаве, молча спустился вслед за Максимовым в нижнюю горницу.

Знакомая но московскому житью картина. Пухнет и срывается банк. Щекастый Блудов в капитанском мундире наопашку, знай подгребает к себе кучки серебра от юноши, который то бледнеет на глазах, подобно мертвецу, восставшему из гроба, то алеет, уподобляясь необычайным румянцем своим ягоде клюкве.

Завидя Державина, Блудов вскочил, затряс щеками и кинулся чмокаться. Сержант насилиу отсторонил его, а потом и не помнил, как оказался за картами.



...Карты занесли в Россию в XVI веке литовские купцы, а затем, в смутную пору лихолетья, к ним приохотили немцы, во множестве наезжавшие в Московское государство в качестве купцов и кондотьеров, из которых набирались наемные войска на царской службе. После сожжения и разграбления Москвы в 1611 году поляки, бесчинствовавшие во время сидения в Кремле, проигрывали в карты детей, отнятых у русских купцов и именитых бояр.

Суровый Петр сам не терпел карточной игры как явной праздности, и его приближенные собирались за картами тайно. Картеж особенно процветал в Немецкой слободе, сбродные обитатели которой вели веселую и разгульную жизнь. Наиболее азартные игры — фараон (банк) и кинце (пятнадцать) получили особо широкое хождение, начиная с царствования Анны Иоанновны.

Играли все. Покойная государыня Елизавета Петровна со своими амантами и придворными. Екатерина II, будучи великою княгиней, — ночами, притворивши двери, с нелюбимыми фрейлинами и постылым мужем. Купцы, лакеи, гвардейские офицеры... Знаменитый московский вор Ванька Каин, служивший в полиции, ночами заманивал к себе в особливую «блинную избу» припозднившихся молодых дворян, обирая их за бильярдом, зернью и картами. Изобличенный в многочисленных преступлениях и посаженный в острог, он и там коротал скучные досуги в азартной и нечистой игре на деньги и вещи, так что пришлось сменить всю охранную команду.

Не играли только крестьяне, кормившие Россию.

Плутовство в картах почиталось в те поры за норму, изящно именуясь «неряшеством». Плутствовал претендент на руку Елизаветы в бытность ее принцессою принц Людвиг Гессен-Гомбургский, подавая пример придворным. За князем Одоевским подметили, что он однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал и в сенях отдавал своему слуге. Пойманный на подобной плутне у императора Петра Федоровича, сей Рюрикович потчеван был оплеухою и вытолкан вон пинками ног, что не помешало ему назавтра снова появиться за картами. По городам империи Российской развелось несчетно ремесленных игроков, среди коих наиболее славными почитались московские шулера, прозванные червонными валетами...

Обование игры захватило Державина. Он кричал: «Вины!» «Жлуди!» «Реет!», брал взятки, срывал банк, даже не думая о деньгах. Карты все еще чаровали его, кружили голову до боли в висках, когда попеременно то бил озноб восторга, то обдавало всего кипящим варом. Он очнулся от морока после тихого стука в окно.

Стук повторился. Державин прильнул к оконцу, в слюде отразилось его простое и доброе русское лицо: крупные черты, несколько толстые нос и губы. С трудом разглядел:

— Ба! Стеша...

Максимов просиял и выкатился из-за стола:

— Управляйтесь без меня, братцы, я скоро вернусь.

Щекастый Блудов снова взялся за карты:

— Давай, дружок, на вексель какой банчок раскинем.

Державину давно уже открыты были все хитрые шильничества, в зерновых сборищах употребляемые, и он начал урезонивать ненасытного облупалу: хватит-де того, что почти сотню серебром выиграл, пора пожалеть парня. Но сам Яковлев просьбою прашивал игроков не бросать игру, вытащил из тощего кошелька бумаги — вексель в триста рублей, да еще купчую в пятьсот на пензенское имение отца. Чтобы пуще разжечь юношу, Блудов стал притворно соглашаться с Державиным. Тогда, страшась, что ему не дадут отыгаться, Дмитрий принялся кричать криком:

— Господа, нечестно! Не бросайте карты!

— Да что ты орешь, словно тебя колесуют! Никто не мешает тебе и векселя спустить! — скороговоркою бросил ему Державин, а Блудову только сказал, слегка прищепеливая от волнения: — Ну и сквернодей же ты, братец! Истинно обессрамылся ты, и обессрамылся вовсе!..

— Поймай, поймай, Гаврило! — ничуть не смутившись, отозвался Блудов, да еще подмигнул ему, точно своему дружку-обайщику. — Не мы, чать, карты выдумали, не нам их и обносить. Налей-кось лучше мне чарочку хлебного вина, да послухай... — и, закинув толстое лицо, зачистил:

*Бес проклятый дело нам затеял:  
Мысль картежну в сердца наши всеял, —  
Ту распространяйте, руки простирайте,  
С радостным плеском кричите: реет!*

*Дверь на трактирах Бахус отворяет,  
Полны чаши пуншем наливает:  
Тем дается радость, льется в уста сладость;  
Дайте нам карты: здесь олухи есть!..*

И появившийся в дверном проеме со Стешей, словно лицедей на

театре, согласно подхватил стихи Максимов:

*Постоянники все нас ругают:  
Авантажа в картах вить не знают.  
Портной и сапожник давно б был картежник,  
Бросил бы шилья и иглы в печь.  
Ни стыда, ни совести в нас нету —  
Олухам-то здешним в примету:  
Карты подрезные, крепом намазные,  
Делайте их разом и нечет и чет.*

Щекастый и облый Блудов опрокинул рюмку так, что она без бульканья пропала в его луженой глотке. Затем, размахивая пустой рюмкой, дочитал вирши, в то время как несчастный Яковлев с ужасом внимал ему:

*Мы в камзолах, хотя без кафтанов,  
Веселее посадских брюханов.  
Игру б где провести — сыщем мы обедать,  
Лишь бы попался нам в руки фатюй.  
Стройтесь стены в тюрьмах магистратских —  
Вам готовят дворян и посадских!  
Радуйся, подьячий, камень те горячий,  
Ты гложешь их кости после нас!  
Нам не страшны никакие бедства,  
Мы лишаем отцовска наследства:  
В тюрьмы запираем, как их обыграем,  
Пусть они плачут — нам весело жить!..*

— Вот, Гаврюша, какие вирши-то писать надобно, — наставительно сказал Блудов, хрупая промозглым огурцом.

— Ну, господа, за дело! — потирая короткопалые руки, воскликнул Максимов.

— Нет уж, с меня хватит. — Державин вышел из-за стола.

— Что ж, вольному воля, — согласился Максимов. — А ты, душа моя, — обратился он к Стеше, — полюбезничай уж с господином сержантом...

Девушка подняла глаза на Державина и залилась пунсовым румянцем. Картеж меж тем разгорелся с новою силой.

— Что ты стала редко ходить к нам, Стеша? — несмело спросил Державин, беря со стола распечатанную колоду и рассеянно перебирая в руках карты.

Она ответила не сразу. Нежно, но настойчиво принялась отбирать у него карты, а затем, найдя нужную, положила перед сержантом: туза с алым сердечком.

— Не люб мне этот пузан... — и быстро отвернулась. — Ты мне пригож!

Эх! Мечтал в своей бедности Гаврила о знатных боярынях, быстро сыплющих французскою речью, шуршащих шелками и сладко пахнущих ароматическими притирками и заморской водой. А в жизни все попадались ему такие вот, как эта дьяконова дочка, доверчивые простухи. Но подняла Стеша на Державина серые свои глаза, и он невольно залюбовался ею: оклад у личика мягкий, носик вздернутый, губки пухлые, стан прямой. До чего же пригожа!

Гаврила отобрал в колоде бубнового короля и даму, а когда Стеша взяла эти две карты, задержал ее маленькую горячую ручку в своей:

*Я страстию к тебе пылаю,  
Твои оковы я ношу,  
Тебя люблю и обожаю  
И сердце в жертву приношу...*

— Это кто ж сочинил столь складно? — удивилась Стеша.

— Неужто понравилось? Мои вирши...

— А не вракаешь ты, Гаврюша? Не верю я чегой-то. Он ответил стихами:

*А ты, владея сердцем страстным,  
Не хочешь сжалиться с несчастным  
И вздохи томны прекратить;  
Моей смягченна быть тоскою;  
Не хочешь дать ты мне покою,  
И жар любовью заплатить...*

Яковлев уже расстался с векселем и теперь поставил на кон купчую, когда слышались явно дальние крики и брань.

— Никак стряслось что! — громко сказал Державин, отвлекаясь от маленьких знаков нежности.

Однако увлеченные игрой Максимов с Блудовым отмахнулись: мол, почудилось, а Яковлев так даже и ухом не повел — не до того.

— Я пойду, пожалуй, — встала, поправив ситцевый расстегайчик, Стеша и тише: — Гаврило, дружок, проводи меня...

Державин с готовностью поднялся, хотел было первым выйти из горницы и едва не расшиб лба о низкую ободверину. Дверь распахнулась, и на пороге предстал дворовый Блудова — рожа расквашена, рубаха из посконины изодрана в лоскуты:

— Беда, батюшка барин!

— Да что там такое за передрыга? В чем дело? — враз подскочили Блудов с Максимовым.

— Вышла у нас драка с бутошниками...

— Откуда же они взялись? — побледнел Максимов, поглядывая на Стешу с Державиным.

— Увидели мы, батюшка, что бутошники заугольно кого-то поджидают... — обстоятельно начал дворовый, утирая юшку. — Спросили их. Они отвечали грубо, и вышла брань. А как со двора на подмогу сбежалось обедов твоих, осударь, боле, нежели подзорщиков было, то мы их и поколотили...

— Ой, мамочка родная! — всплеснула руками Стеша. — Не мои ли то родители бутошников подговорили? Крут мой батюшка... И подозревал меня сегодня быть у вас в гостях. Надо мне итить...

— Вот и хорошо, душа моя, — быстро согласился Максимов. — А Гаврила тебя проводит. Не подыматься же мне от карт.

Вся Поварская улица во мрак погружена — хоть глаз коли. Стеша жметя к рослому сержанту, тот ласково успокаивает ее. Вон и церковь святых Бориса и Глеба. Пошли вдоль ограды, заросшей густою, в рост человека крапивою.

— Кто там, Гаврило! — только крикнула девушка.

Из крапивы высыпало с десятков молодцов, мигом подхватили Стешу, а Державина так саданули по зубам свинчаткой, что он, уже поверженный, мог только слушать удаляющийся низкий рык дьякона:

— Небось под плетями все расскажешь!.. До всего дознаемся!..

Державин поднялся, почесал обстрекавшиеся ноги, сплюнул кровь и побрел восвояси..

Блудов с Максимовым делили за столом выигрыш, меж тем как вконец обессиленный, упившийся вином Яковлев спал на лавке.

Вышло чудно. Не Державин утешал Максимова, а Максимов его:

— Эх, душа моя! Женский быт, всегда он бит. Не тужи понапрасну. Как старики-то говорят — ждала сова галку, да выждала палку. Найдем себе другую грацию. А ты, душа моя, не гнушайся, выпей-ка за карточную нашу викторию да махнем в кабак, на Балчуг!

Державин не токмо вина, но и пива и меду не пил, так пригубливал. Но тут сам потянулся к рюмке. Вместе с добрым глотком он почувствовал необычайную легкость в теле и какой-то тонкий звон, словно весь сделался стеклянным. Он уже не слушался рассудка, не помнил ни о своих, ни о Стешиных бедах и с радостью снова наполнил рюмку хлебным вином. Хмель сильнее отурил его, и, напрягшись всем своим сильным молодым телом, Державин выскочил на середину горницы:

— В кабак, братцы! Его ведь ни днем ни ночью не затворяют! Вы же у меня истинно художники, ибо худо или зло творите! Да зато с вами, право, не соскучишься!

— Вот это, братец, по-нашему! — подкатился к Державину толстомордый Блудов. — Едем! А как раб божий Митька Яковлев проспится, вытолкать его взащей!

## 2

Сколь дивна пресветлая и преславная Москва, древняя столица России! И хоть правит империей Питербурх, ее холодный и беспощадный разум, живым, горячим и пульсирующим сердцем страны остается Москва. Со всех концов естественным током стекается в нее новый люд, словно приливает свежая кровь. Из далекой южной украины, от самой Астрахани шел сюда пешком, без гроша в кармане дьячков сын Василий Тредиаковский. А с Крайнего Севера, из Архангельска, за обозом с мороженой рыбой прошагал до Москвы черносоломенный мужик Михайло Ломоносов. Все здесь русскому любо: древние храмы, выдавшие Дмитрия Донского, да Ивана Калиту, да Ивана Грозного, да нижегородского мещанина Кузьму Минина-Сухорукого, и новые, на французский и италийский манер дворцы в ожерелках пышных садов. И милое московское «аканье», воспетое Ломоносовым: «Великая Москва в языке толь нежна, что А произносить за О велит она...». Вольготно и просто — не то, что щепетный Питербурх — раскинулась и первопрестольная на семи своих холмах.

И под стать ей жители — весельчаки и чудесники.



Взять хотя бы знаменитого заводчика Прокофия Акинфиевича Демидова. Никогда не позабудет Державин виденного им небывалого чуда: в одно погожее июльское утро на трехверстной аллее, соединявшей подмосковное имение сего богатея с почтовым трактом, словно снега белые легли. А это Демидов вздумал прокатиться средь лета красного в санях; велел для того скупить на Москве всю соль, да и покрыть ею дорогу. То-то было радости бедному люду, сбжавшему с бадейками и полотняными кисами. Дорогая соль по его проезду делалась их бесплатным достоянием.

Но хоть Москва, сей Вавилон новый, и тянет его неодолимо к себе, подобно горе магнитной, сам Державин все ж любит больше поглазеть на чужое веселие, чем участвовать в оном. Особливо если соединяется оно с забиячеством и непростительными шалостями.

Карета, запряженная четвертней, пронеслась Арбатскими воротами и, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, повернула в сторону Тверской улицы.

Державину вспомнилось, как определен он был в ямские подставы надзирать исправность наряженных лошадей для шествия в Москву императрицы и всего ее двора. Начальником же его назначили подпоручика Лутовинова, который, как и его брат, капитан-поручик, оказался умным и очень расторопным в своей должности, но весьма и весьма развращенных нравов.

Сии офицеры гвардейские постоянно упражнялись в пьянстве, карточной игре и в обхождении с непотребными ямскими девками в известном по распутству селе Валдаях. Там проводили они иногда целые ночи в кабаке, наезжая с пряниками-жмычками, цареградскими стрючками, калеными орехами, маковой избоиной и другими вкусными заедками и никого посторонних, кроме девок, не впуская. И хотя целую зиму с ноября по последние числа марта в таком распутстве провели, однако самого Державина со всеми принуждениями до того довести не могли, чтоб он их жизнь делил. Только в карты мало-помалу играть начал. Хотя бы в памфил [\[6\]](#), но нет — в самые разорительное фаро и кинце...

И если время позволяло, продолжал свое кропание стихов. Тихонько от товарищей читывал книги, глотал все подряд — Клейста, Гагедорна, Гелларта, Гадлера, Клопштока, а из отечественных — «Способ к сложению российских стихов» господина Тредиаковского, легкие вирши Сумарокова и, конечно, оды великого Ломоносова.

В обществе Гаврила стеснялся себя — говорил некрасно, и все срыву, часто пришепеливал. Но сейчас хмель непривычно туманил голову, и,

откинувшись на сиденье, Державин в пылком своем воображении представил, как произносит речь о Ломоносове в рассуждении его великолепия и громкого слова, всегдашнего сладкогласия и вкуса.

«Ломоносов! с кем сравнить, кому уподобить его безмерный и могучий талант? Воистину лишь с деяниями общего нашего отца Петра Великого. Что Петр Первый совершил в отношении государства Российского, то сделал Ломоносов для нашей литературы. Он взошел на российский Парнас не тяжело ползущим парением, но дорогой прямой и открытой. Пламенные творения его полны мыслей, накопление которых, подобно стеснившейся при запруде воде, вдруг прорывается и с шумом начинает свое стремление. Дрожи от восторга, понятливый читатель, внимай высокому беспорядку в ломоносовских стихах. Сей беспорядок происходит оттого, что восторженный разум поэта не поспевает стройно расположить быстротекущую мысль. Взгляни же, сколько тут ума и красот! Какое многообразие величественных, ужасных и приятных картин, звуков, чувств и изветий!

*О, ты, что в горести напрасно  
На бога ропщешь, человек!  
Внимай, коль в ревности ужасно  
Он к Иову из тучи рек!  
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая  
И гласом грома прорывая,  
Словами небо колебал,  
И так его на распрю звал:  
Где был ты, как передо мною  
Бесчисленны тьмы новых звезд  
Моей возженных вдруг рукою  
В обширности безмерных мест  
Мое величество вещали!..*

Словно и впрямь само небо заговорило! В слоге своих од и гимнов — твердом и благородном — слов площадных или простонародных он никогда себе не позволяет и средь вышнего полета, словно задумавшись, вдруг обращается к чему-то занимательному, чтобы придать стихам еще более блеска, жизни и величия. Как научиться следовать за ним, как разгадать тайну его смелого пера?..»

Державин не сдержал улыбки: смеху достойно тщание Сумарокова

уничтожить ныне сатирою первого российского пиита!

Сам Державин не сразу постиг мощь и глубину ломоносовских стихов. Всего же более нравился ему по легкости слога князь Федор Алексеевич Козловский, приятный стихотворец и автор комедии «Одолжавший любовник». Упражняясь по примеру его, научился он цезуре или разделению александрийского ямбического стиха на две половины. С Козловским и спознакомился Державин в Москве, да только как!

Сержант наклонился к опускающему окну кареты: не дом ли Василья Ивановича Майкова на Тверской проезжаем? Подлинно, он.

По долгу своему хаживал Державин частенько с приказами вечером или даже ночью с Никитской, где рота стояла, на Тверскую, Арбат, Ордынку, что за Москвою-рекою, а раз так чуть не потонул в снегу на Пресне и едва отбился тесаком от бродячих собак. Так вот, велено было ему доставить приказ князю Козловскому, состоявшему в третьей роте прапорщиком и остановившемуся на Тверской, в доме славного стихотворца Майкова, написавшего ирои-комическую поэму «Игрок ломбера».

Помнится, вошедъ в залу, чтобы передать князю приказ, увидел он собрание гостей, которым Козловский читал сочиненную им трагедию. Приходом вестового чтение прервалось. Державин вручил приказ и остановился у дверей, желая послушать трагедию. На что из этого произошло? Приметя, что он не идет вон, Козловский сказал: «Поди-ка, братец служивый с богом, что тебе попусту зевать, ведь ты ничего в этом не смыслишь». И молодой стихотворец принужден был выйти.

Да и кому ведомо, что он стихотворец? Женкам солдатским, которым Державин писал грамотки к родственникам их? Товарищам по полку — Неклюдовым, из коих один был унтер-офицер, а другой сержант, расхвалившим его стансы солдатской дочери Наташе? Некоторым офицерам-преображенцам, случайно прочитавшим его сатирические и непристойные стихи про одного капрала, жену которого любил полковой секретарь?

Соленые его двустушия или билеты насчет каждого гвардейского полка повторяет каждый солдат, но площадные сии побаски разошлись безымянно. А шестистопные ямбы Державина об императрице Екатерине II так никому и не известны...

— Ты что, Гаврюша, никак заснул? — тронул его Блудов. — Приехали, чать, братец... — и первым выкатился из кареты.

Середь Москвы, во тьму погруженной, бессонно горят окна питейного дома на Балчуге, о коем в те поры шла в народе громкая молва. Сюда

наезжали из Питербурха знаменитые Орловы, весельчаки, красавцы, богатыри, как на подбор, бывшие в большой силе при дворе и вызывавшие к себе всеобщую любовь своей добротой, удастью и мягкосердечием. Здесь Григорий Орлов с братьями — Иваном, Алексеем, Федором и Владимиром — любил слушать простые русские песни, до которых был превеликий охотник, или вызывал доброхотов из народа подраться с ним на кулачках.

Хозяин — редкая борода опомелком, глаза воровские, цыгановатые — провел гостей грязными горницами, где шумно гуляла случайная сволочь, на второй этаж в особливую и обширную залу. Она была пуста — лишь в дальнем конце у окна неизвестная Державину компания упражнялась за бильярдом.

— Что прикажут господа благородные? — блеснув медным единцом в ухе, спросил хозяин. — Зернь? Карты? Или бильярд желают? Так вон тем честным людям как раз недостает одного...

— Или впрямь пойти спознакомиться с ними да партийку разыграть? — предложил благодушный и уже слегка хмельной Блудов.

— Обожди, душа моя, — остановил его Максимов, — разговор есть, и серьезный. А господ тех честных — валетов червонных я знаю, и знаю довольно... Давай уж, — оборотился он к хозяину, — нам выпить и закусить чего...

Тот молча поклонился, вышел и воротился мигом, расставив на столе: четвероугольную бутылъ зеленого стекла с коротким горлом, посудыны — одну с горячими коровьими рубцами, другую с крошеным и рассольным лосьим осердьем, затем принес квашенины, солений грибных, стаканцы да оржаную ковригу.

— Хорошо гуляем, братцы! — воскликнул Блудов, ототкнув бутылъ и разливая вино по стаканцам. — Ей-богу, почаше бы так собираться да рассуждать! Истинно, Гаврило, люблю я сладкую и веселую жизнь. Не то что братец мой двоюродный Максимов. Он только о кармане своем мошенничьем думает — чем бы его еще набить. Я же, что ни выиграю, тотчас спущу, лишь бы поесть и попить сладко и особливо люблю это вино хлебное. — С этими словами Блудов опрокинул стаканец. — А вы что не пьете? Ну-ко, Гаврило, прочти тот билет, который ты давеча сочинил насчет меня и так искусно!

Державин усмехнулся — как же позабыл он еще об одном благодарном читателе! — и охотно откликнулся на просьбицу:

*Одна рука в меду, а в патоке другая;  
Счастлива будет жизнь в весь век тебе такая...*

— Нет, ты никак не ниже того пиита, который наш картеж воспел! Выпьем теперь за то, что ты мне написал!..

— Невелика мудрость кошелек растрясти, — сказал Максимов, на этот раз не прикоснувшийся к вину. — Что пьяный! Сказывает: решето денег имеет, а проспится, ан и пустого решета купить не на что. Ты меня послухай, коли всамделе хочешь, чтобы жизнь твоя в меду да в патоке текла.

— В чем дело-то?

— Ведом тебе, душа моя, — понизив голос и наклонившись над столом, заговорил Максимов, — сосед мой по имению села Малыковки экономический крестьянин Иван Серебряков?

— Тот, что в сыскном приказе содержится и ономедни под присмотром отпросился к тебе в гости? — вставил Державин.

Максимов посмотрел на него как на лишнего.

— Он самый... Попал в колодники за лихоимство. Сам предложил прожект о населении пустопорожних мест по реке Иргиз выходящими из Польши раскольниками, да во зло его и употребил. Но суть не в том...

— Да не томи, дружок, скажи прямо! — заерзал на лавке Блутов.

— Вместе с ним содержится, — продолжая тайничать, медленно рассказывал Максимов, даже слегка надувшись от важности, — некий человек, указавший Серебрякову клад богатый...

— Не оплетало ли какой? — усумнился Блутов, даже переставший от волнения жевать соленое лосье легкое.

— Человек этот — атаман запорожских казаков Черняй...

— Ну? Какой с известным Железняком разорил турецкую слободу Балту?

— Вот-вот! Железняка сослали в Сибирь, а Черняй занемог или сказался больным и до выздоровления посажен в тот же сыскной приказ... Между разговорами открылся Черняй Серебрякову о награбленном его артелью богатстве: потайные ямы наполнили серебряною посудой, а в пушках схоронили червонцы и жемчуг...

Максимов наклонился к Блутову и перешел на шепот. До Державина доносилось только: «Без сообщников сильнейших нельзя...», «Высвободим через господ сенатских...», «Выпросим под свое поручительство...» Впрочем, он слушал Максимова вполуха и не потому, что тот не приглашал его никак участвовать в их умысле. Никогда в химерические сии прожекты обогащения Державин не верил.

Мало-помалу привлекли его препирания за бильярдом.

Оставив шепчущихся, Державин подошел к игрокам и стал следить за партией. Появившийся здесь богатырской стати поручик вскорости начал браниться, а затем с досады чуть не переломил кий. Вся его игра попусту шла, тогда как у ловких партнеров каждый шар ложился точно в лузу. Приметя сие, Державин не мог удержаться и тихонько сказал поручику с улыбкой в голосе:

— Задача трудная, ваше благородие. Право, каким же мастером искусным надобно быть, чтобы на поддельные шары да и выиграть! — и пошел назад.

— Спасибо, братец! — только пролепетал ему вслед офицер.

Видно, Блудов, у которого на сокровища запорожцев разгорелись зубы, изрядно успел налакаться. В ответ на все увещевания Максимова, он нес одну околесицу.

— Что, договорились, сроднички? — садясь за стол, с насмешкою спросил Державин.

— Как же, черта лысого договоришься с ним! — мрачно ответил Максимов. — Его пьяного переговорить что свинью перепердеть!..

Брань и крики донеслись с другого конца залы. Игроки подступили к поручику, требуя закончить партию. Но офицер оказался не из робких.

— С мошенниками не играю! А ну подходи, смажу! — добродушным, не соответствующим моменту басом рокотал он.

Прибежал хозяин и развел спорщиков.

Державин же с Максимовым подхватили Блудова подмышки, запихнули в карету и повезли на Поварскую.

Только подъезжая к знакомой церкви Бориса и Глеба, вспомнил сержант про Стешу: чем-то для бедняжки все кончилось? Покопался на Максимова — тот оттопырил губы и сопел, видно все обдумывая, как лучше завладеть кладом Черня.

Карета уже повернула к дому Блудова, когда вдруг ударили в темноте трещотки и чьи-то сильные руки подхватили лошадей под уздцы.

— Дворянский сын Гаврило Державин! — просунулось в карету усатое рыло в треуголке.

— Что надобно? — восторженно спросил сержант.

— Велено тебя взять под стражу и доставить немедленно в полицейскую часть!



Семые сутки сидит лейб-гвардии сержант в карауле вместе с татями да беглыми людьми, никакой, однако, вины за собою не зная.

Как вошел в камору — ошибло его смрадом. Лег он в уголку, прикрылся мундиром и все размышлял. Обьедя да помои, что давали, не ел, брезговал.

Когда на другой день после ареста привели его в судейскую, Державин с обычной для него горячностью сам подступился с вопросами: «За что ж вы меня, безвинного человека, схватили? К чему прицепились?» Но видавшие виды судейские крючки ухом не повели — сидели как болваны деревянные. А потом зачали спрашивать и домогаться, чтобы он признался в зазорном обхождении с дьяконовой дочкою и во искупление греха на ней женился. «Да вы что? Никак решили вовсе оболтать меня?» — дивясь безумству и наглости альгвазилов, одно и мог молвить изумленный Державин. «Никто на ты наговаривать не собирается, а отпирки твои не помогут. Звана уж и твоя обличительница, — невозмутимо ответствовал председательствующий. — Обвопилась под плетьюми, да потом и во всем и призналась». И верно, появилась вскорости Стеша, вся в пересадинах, и, не подымая отека от побоев и слез лица, все твердила, что сержант ее очреватил. «Ах, Стеша, Стеша! Что же ты грех такой на себя берешь! Где же правда на земле?» — сокрушенно сказал Державин и более ни на какие домогательства не поддавался.

А как свидетелей-очевидцев не оказалось, пришлось отправить его обратно в караул.

Знать, крючки судейские спокон веку жестокосерды были. Спомнилось ему, как, оставшись после смерти отца сиротою на двенадцатом году, терпел он с матерью и младшим братом всякие притеснения и лишения от соседей, отнявших у них лучшие земли, понастроивших там мельниц и потопивших их луга. А как входили они с ними в тяжбу, то в приказах сильная рука всегда перемогала. Да бедному везде бедно! Чтоб хоть какое-нибудь отыскать правосудие, должна была мать с малыми своими сыновьями по несколько часов простаивать в передних у судей. Но те, выходя, не хотели ее даже порядочно выслушать, а с холодной безжалостностию проходили мимо. Нет, никогда не изгладятся в его памяти слезы и страдания матери от сего кривосудия!..

Так все-таки где правда, где вышний суд и воздаяние? До какой подлости и худобы доведен самый род его! А ведь Державины не самые худые дворяне на Руси! Предок его — мурза Багрим выехал служить из Большой Орды при державе великого князя Василья Васильевича, который самолично и окрестил его в православную христианскую веру. Вотчин у

него было не счесть — во Владимире, в Суздале, в Переяславле, в Юрьеве Польском, в Новгороде, в Нижнем... От Багрима, окрещенного Ильей, пошли дети — Дмитрий Парбек, Акинф, Юрья, Тегль, а от Дмитрия Ильина сына Нарбекова — Назарий, Алексей, Держава. Этот последний и был родоначальником их фамилии.

Что ж с того богатства осталось?

Дед Державина, Девята Иванов, пока силы были, служил верой и правдой России и Петру Великому, ходил в Крымские походы: в первом с боярином Долгоруковым, во втором — с Шереметьевым, был и против башкирцев, и против донских казаков, нес исправно службу в Казани, о чем «безо всякого закрытия и фальши» сообщал императору Петру Алексеевичу в 722-м году. Четверо его сыновей, а среди них и отец Гаврилы, состояли в российской армии: Иван в Преображенском полку в солдатах с 713-го году, да Иван меньшей в морском флоте с 715-го году мичманом, да Роман, коей определен в полк в солдаты с 722-го году, а потом пришел черед и четвертого — Василия.

Но жаловался государю Девята Державин: «А когда я стал стар и дряхл и глазами худо вижу и скорбен главною и внутреннею болезнью, то впал в бедность. Оклада на мне денежного не положено. Сын Потап 8 лет в доме увечен, глух и дряхл. Жительство имею в Казанском уезде в деревне Кармачах».

Истинно, молвить стыдно — имел в ней Девята Иванович только свой двор, да крестьян три двора, а людей семь душ: в том числе два недоросля, да бобыльский один двор, и у помещика жили за скудостью сын крестьянский да два недоросля... Нет, до бога высоко, до царя далеко!..

Сбродный люд в каморе меж тем болтал разное: беглые все больше сетовали на тяжкие подати, на лютующих помещиков и старост, на нестерпимую голодуху.

— С весны починаем в мучицу пелы да солому подмешивать, а иные едят лист липовый и кору березовую толченую, отчего происходят многие болезни, даже до умертвия, — обыденно рассказывал мужичонка с всклокоченной бородой.

В другом углу гнусаво гудел густобородый верзила в донельзя драгом чекмене:

— ...Потому как покушался довести до сведения нашей матушки царицы о беззакониях, творимых у нас на Яике... Жалованье повсеместно удерживают и всяко самовольничают: старые права и обычаи рыбной ловли уничтожают. В багренье, да в севрюжье рыболовство, да в осеннюю плавню половину улова забирают себе. Нам то не любо...

— Так тебе, ослопина, и надо! — насмешливо отозвался кто-то из темноты. — Глядишь, скоро все отымут: ни севрюжки, ни женки собственной не попробуешь — будешь холоп холопом!

— ...Генерал Черепов с командой многих побил, а иных повесил, прочих же сек нещадным или простым кнутом, — продолжал уныло гудеть казак. — Им веселие, а нам отягощение и разорение...

— Эх вы, а еще вольными казаками прозываетесь, — снова послышался насмешливый голос. — Что же тогда нам, подъяремным, делать прикажешь?

*Ах, когда бы нам, братцы, учинилась воля,  
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,  
Пошли б, братцы, в солдатскую службу.  
И сделали б между собою дружбу.  
Всякую неправду стали бы выводить  
И злых господ корень переводить...*

— В Шацком уезде, — бормотал мужичонка, — холопы ночью, в самое первосоние усадьбу да и запалили с четырех концов. Так боярин, сказывают, со страху постель свою опрудил. А от усадьбы богатой да ото всех служб остался один прах...

Державин в сии подлые разговоры не вступал, лежал себе да помалкивал. Только подумал: «Нет, эта болезнь нам еще отрыгнется...»

— Ах! Безвинно меня оболтали!.. — с воплем вверзился в камору щеголь в новехоньком шелковом камзоле, отороченном кружевными пелепелами.

«Ишь, шаркун паркетный, чать, много полов перешаркал, попробуй и энтого!» — с неприязнью подумалось Державину, но тут же сержант поспешил подняться. Щеголь пал оземь в омрак с дерготою, корчами и кривлянием.

Державин подошел, опрыскал его водою, и щеголь очнулся. Назвался дворянским сыном Бурсовым Борисом. Поведал, что обвиняют его в подделывании векселей на крупную сумму денег, тогда как он ни сном ни духом неповинен. Показалось Державину, что видел он сего щеголя в нечистых компаниях за зернью да картами, но по свойственному ему простодушью сержант тут же отогнал от себя подозрения.

— Ничего не поделаешь, братец, терпи... Видно, одного мы с тобою поля ягоды — оба напрасно страдаем... — сказал он Бурсову. —

Переждем-перетерпим, да после споминать будем и смеяться!..

А как было ему теперь не до смеху, то снова лег в своем уголку. Стал думать о себе, о своей судьбе-судьбинушке злой.

Всю юность в трудах провел, да что толку? Трудиться барану вечор и порану! Прилежен был, учась три коротких года в Казанской гимназии под началом известного автора и переводчика Михаила Ивановича Веревкина. Скромностью и рвением выделялся среди солдат-дворян в Преображенском полку, где не токмо понужден был по бедности пойти на хлеба к семейному солдату, с коим жил в одной связи, но и наравне с крестьянскими детьми ходил за провiantом, чистил каналы, разгребал снег около съезжей, усыпал песком учебную площадку...

Как боготворил он молодую императрицу Екатерину Алексеевну! В памятный день переворота, в ту самую минуту, когда она отправилась в Питербурх для свершения отважного дела, стоял на часах в Петергофском дворце, но позже никакой милости не удостоился. Осьмой уж год в Преображенском полку, а офицерского чина все не получил, тогда как другие вона уж как далеко прыгнули!

Будучи в ямской подставе, написал славословие государыне Екатерине Алексеевне в ожидаемом от нее благодеении и покровительстве:

*Таков твой суд есть милосердый,  
Ты как к нам сердобольна мать...  
Грозишь закона нам стрелою;  
Но жизнь преступных ты блюдешь,  
Нас матерной казнишь рукою —  
И крови нашей ты не льешь...*

Но мелькнуло в пышном царском поезде и пропало ее лицо. Где же, где же наконец вышний суд? Или истинно 32 то, что добродетель цветет только в надутых трагедиях господина Сумарокова? А в свете сем, верно, скромность и честность почета не имут... Матушка государыня! все тебе ведомо! Воззри же на верного слугу твоего, что в позоре да мучениях безвинно дни влачит! Явись, явись как столп светел и огнесиянен!..

Свеча внезапно облистала мрачную камору: судейский с бельмом, за ним караульный солдат.

— Господин лейб-гвардии сержант! По отводу суд обезвиняет тебя, можешь итить домой. Однако обо всем сообщено в твою московскую канцелярию...

С ослышки на радостях Державин не сразу понял, что его выпускают. Вскочил, позабыв про несчастного Бурсова, чуть не поверг на пол плюгавого бельмастого судейского, толкнул вонявшего чесноком солдата и выбежал на волю.

От Земляного вала, где помещалась полицейская часть, до Поварской пеший путь долог.

Не хотелось ворочаться ему к Блудову и Максимову, да что поделать! Кроме них, у него в Москве лишь малая, двоюродная тетка и мать-тетка Фекла Савична — скарёдная и пустоголовая старица.

Возле Покровских ворот, перед домом, выстроенным в модном, классическом вкусе антиков, Державин остановился передохнуть. Сюда хаживал он во время коронации матушки государыни к графу Ивану Ивановичу Шувалову, большому меценату, охотнику до наук и покровителю великого Ломоносова. Угнал он, что главный куратор Московского университета, а также и Казанской гимназии, намерен отправиться в чужие края. Тотчас написал письмо с просьбою взять его с собою и был принят вельможею со всей ласковостию и одобрением.

Все бы ничего, да восстала тетушка Фекла Савична, крича, что Шувалов сей фармазон и богохульник, преданный антихристу.

— Не веришь? — кричала она, доставая из-за божницы измятый листок. — Так вот на тебе! Читай!

Это были вирши, ходившие по Москве:

*Появились недавно на Руси франк-масоны  
И творят почти явно демонически законы,  
Нудятся коварно плестъ различны манеры,  
Чтоб к антихристу привести от христианской веры.  
К начальнику своего общества привозят,  
Потом в темны от него покои завозят,  
Где хотяй в сей секте быть терпит разны страсти,  
От которых, говорят, есть не без напасти.  
Выбегают отовсюду, рвут тело щипцами,  
Дробят его все уды шпаги и ножами,  
Встают из гробов, зубами скрежещут,  
Мурины, видя сей улов, все руками плещут.*

*А из сего собора в яму весьма темну  
Приводят их, в камору уже подземну,  
Где солнечного света не видно ни мало,  
Вся трауром одета, как мертвым пристало.  
Там свечи зажженные страха умножают,  
В гробе положенные кости представляют.  
Встая из гробов, кости берут нож рукою  
И стакан, полный злости, приемлют другою.  
Проколов сердце, мертвец стакан представляет,  
Наполняя кровью, как жрец, до дна выпивает...*

Державин смутно слышал о фраймауэрах<sup>[7]</sup>, организовавших тайные ложи в Питербурхе и Москве, где иногда собирались и явно. Но в суть сего таинственного учения но молодости не вникал и франкмасонов сторонился.

— Полно, тетушка, да масон ли он?

— Да уж не перечь! Опасным волшебством занят и за несколько тысяч верст неприятелей своих ворожбою умерщвляет. Да почти до конца!

Молва утверждала, что выход из масонства был делом крайне опасным: в обществе остается портрет каждого члена, благодаря чему орден распоряжается жизнью отступника:

*Многие к тому примеру, говорят, бывали,  
Которые от себя веры отстать пожелали,  
Но из оных в живых нет на свете;  
Вить стоит смерть в его живом портрете,  
Который лишь поранят пулей из пистолета,  
В тот час увянет и лишится света...*

В Семилетнюю войну против пруссаков масоны, как сказывали, передавали военные секреты через великого князя Петра Федоровича Фридриху II. Поговаривали, что масоны уже проникли повсюду, что в ложах сих состоят знатнейшие бояре: Апраксины, Долгорукие, Куракины, Трубецкие, Репнины, Чернышове, Панины, Шуваловы. Тайна, которую масон клялся никому и ни под каким видом не открывать, не бывала открыта и ему. Для каждой новой ступени посвященного масона следующая оставалась секретом — мрак лишь сгущался...

Державин спомнил, что после переворота Екатерины II велено было

взять под стражу их Преображенского полка протопопа Андрея, «яко масона и явного злодея церкви», который во время учений в Петров пост, «явно ругая предания святых отцов, раздreshал во все пости мясо исть».

Сам сержант чурался чужебесия, хранил верность добрым православным заветам и особого страха перед франкмасонами не испытывал. Однако под угрозой сообщить обо всем матушке Фекла Савична строго-настрого наказала племяннику не встречаться более с Шуваловым.

Да что там! Если податься к тетушке, то никакого житья не будет!..

Пришедь на Поварскую, Державин с горячностью набросился на Максимова:

— Что же ты, негодь этакая, за меня даже не заступился, хоть сам кругом виноват! И это при твоих-то приятелях, значущих чиновных людях из господ сенатских и магистрата!

— Ах, душа моя! — нимало не смутившись, отвечивал Максимов. — Жаль тебя, да не как себя... Не серчай, мне теперь и вовсе недосуг.

И впрямь он был захвачен планом во что бы то ни стало отыскать клад запорожцев и почасту разговаривал о том, затворившись в своих комнатах с Иваном Серебряковым, рябым хитроvanом, которого выпросил-таки из сыского приказа под свое поручительство.

Державина же ожидал в доме Блудова пакет с вызовом в канцелярию Преображенского полка. Думал, какая нахлобучка ему следует, ан вышла неожиданная радость. Отправлявший в Питере, в гвардейском полку, уже секретарскую должность приятель его Неклюдов прослышал, что Державин в Москве вовсе замотался. Сжалился он над ним и безо всякой его просьбицы написал, чтобы причислили сержанта к московской команде. А известию, присланному насчет Державина из суда, в канцелярии все только дивились и смеялись.

Велено было сержанту ходить как сочинителю или секретарю в Депутатскую комиссию, открытую в Москве государынею еще в 767-м году.

В Кремле собраны были со всей империи разные народы и сословия для подачи своих голосов и составления нового Уложения, или Свода российских законов, кои не пересматривались со времен царя Алексея Михайловича. На Большом собрании в Грановитой палате обсуждали Наказ, написанный самой императрицей в подражание трактату «Дух законов» известного французского вольно-любца и философа Монтескье, депутаты — от дворян, городов российских, казачьих войск, а также от пахотных солдат, черносошных крестьян и однодворцев.

Не допущены были в Комиссию лишь помещичьи крестьяне, хотя само учреждение ее было вызвано непрерывными возмущениями крепостных, сотрясавшими империю.

...Парадная палата древних русских царей отделана снаружи гранеными белыми плитками известняка, отчего и именуется Грановитой. А внутри стены обиты красным сукном, крестовые своды изукрашены народными мастерами и окантованы блестящей бронзой. Против главного входа, на возвышении, место председателя или маршала заседаний Алексея Ильича Бибикова. Рядом с ним — генерал-прокурор сената Александра Алексеевича Вяземского и директора Комиссии Шувалова. Глаза разбегаются от золотого шитья на богатых кафтанах и мундирах, разноцветных лент, лучистых звезд, от пестрых красок халатов. В петлице у каждого депутата золотой овальный знак: на одной стороне вензель государыни, на другой — надпись: «Блаженство каждого и всех». Возле депутатских скамей высокие налои, за которыми трудятся секретари — ведут протоколы заседаний и принимают письменные заявления для передачи маршалу.

В огромной зале духота. Державин уже устал слушать депутатов и с недоумением, даже с некоторой завистью, поглядывает на соседа, двадцатитрехлетнего секретаря Комиссии Николая Новикова. Тот бойко строчит гусиным пером, изредка поглядывая внимательно и чуть-чуть насмешливо на говорящего: надменного князя Щербатова. Депутат от дворян Ярославского уезда и известный писатель-историограф пылко защищает неколебимость сословных привилегий.

Впрочем, и большинство депутатов из дворян осуждало любые послабления холопам, резко нападая на их заступников — пахотного солдата Жеребцова, да однодворца Маслова, да сотника Падурова, да казака Олейникова, и промежду собою побранивало за вольнодумство екатерининский Наказ, который был даже запрещен во Франции. Но и среди дворян нашлись такие, как майор Козельский и дворянский сын Коробьев, кои не только призывали к человеколюбивому обращению с крепостными, а в дерзких мыслях своих шли много дальше отвлеченных мечтаний государыни.

Признаться, Державин работою себя не перемучивал и в дела не шибко вникал, хоть и удостоился затем за труды похвального аттестата: за бумагами не засиживался, предпочитая казенным заботам по-прежнему гульбу да кропание стихов. С Максимовым он виделся редко, зато частехонько ездил по трактирам да игорным домам с Блудовым.



— Пойдем, братец, в компанию, — предложил раз Блудов. — Спознакомлю тебя с прекрасной иностранкой, краше которой ты небось никого и не видывал.

— Мне, право, стыдно, — усумнился Державин. — Ведь пересмены платья какой не имею... Вон гляди, — он показал на мундир в штопках и на латаные сапоги, — перекропки ношу да в отопках хожу...

— Ничего, братец! Во всяком платье ты пригож! Все тебе личит. Собирайся...

Дом оказался богатый, о двух этажах — с многими развлечениями и играми, как-то: камер-обскур, ящиком рокамбольной игры, канарейным органом, шашками, домино, гадательными картами и ломберными столами. Навстречу гостям, словно с картинки, сошла вниз черноокая красавица, полногрудая, в дорогом жемчужном ожерелье, очень уж откровенно поводя голыми плечами. А как из-за карточных столов поднялся хозяин, то и огорошил Державина возгласом:

— Гаврила! Старых друзей не признаешь?

— Бурсов? Вишь, где свиделись! — искренне обрадовался сержант и тут же увидел за столами еще одного знакомого — Дмитрия Яковлева. Видать, проигрыш давешнего состояния его не расстроил.

Красавица меж тем повела Державина знакомиться с прочими гостями и оставила около пары — матери с дочкою, жеманною московской девицей на выданье. Обе они были наряжены со старомодным кокетством в преобширнейшие фишбейны и с убранством на голове, поднимавшимся перпендикулярно более аршина и походящим на оживотворенные башни.

— Ах, читали вы, — залепетала девица, поглядывая на маменьку, — «Приключения маркиза Глаголя»? Вот прелесть одна! Мы даже дворню по именам сего романа переименовали: у нас каретником мосье Жан, а ключницу Хавронью нарекли мадамкой Антуанеттой...

Раздосадованный пустою болтовней, Державин неучтиво молчал.

— Но, маменька, почему наши российские кавалеры, — продолжала девица, бросая на сержанта уже злобные взгляды, — вовсе на маркиза Глаголя непохожи? Ах, Париж, мечта моя! Я, кажется, пешком бы до него добралась, чтобы только с сим благородным кавалером спознакомиться и загадочную его душу понять!..

«Тело мое родилось в России, а дух принадлежит короне французской», — вспомнил Державин едкую фразу из ходившей в списках

комедии «Бригадир» нового драматурга — господина Фонвизина.

По счастью, появился Бурсов, и сержант поспешил откланяться:

— Прошу простить, сударыни, меня хозяин ожидает.

Они прошлись, разговаривая, по комнатам, и Державин нашел, что Бурсов порядочно знаком со словесностью, а еще более сведущ в литературных сплетнях. Речь шла о знатной слезной комедии «Лондонский купец, или Приключения Георга Варневаля», а также о питербурхском журнале «Всякая всячина», в коем якобы участвовала сама государыня.

В одной из комнат, в уголку за кустом китайской розы, сержант с немалым удивлением приметил Яковлева. Юноша, зардевшись, пылко говорил что-то — и кому! — прекрасной иностранке, которая в ответ тихо смеялась и перебирала белой ручкой его волосы.

«Скуреха непотребная! — ахнул Державин. — Увенчать голову супруга своего нескромным украшением, да еще в его же дому!» И вдруг уловил меж женою и мужем явные перемиги.

— Да что же все это значит? Выходит, ты ее обещник тайный? — не удержался он простодушно, но его вопросы сразу же произвели между ними остуду.

Хозяин дал знак жене и молча удалился с ней во внутренние покои.

Найдя Блудова за игрой, сержант просил его тотчас же с ним уехать.

— И, братец, пустое! — благодушно отозвался тот, даже не подымая толстощекого лица от карт. — Пол-Москвы знает, что красавица сия с ведома и согласия мужа торгует своими прелестями и молодых дворян обирает...

— Так я побегу к Яковлеву и обо всем его предупрежу! — скороговоркою бросил Державин. — Ведь он совсем еще птенец-оперыш, только из родительского гнезда вылетел. Бурсов же великое поганство в доме своем развел!

За объяснением с Яковлевым и застал его хозяин, но подошел ласково, распространил руки для объятия:

— Ну, Гаврило! Всех ты нас перепудрил! И поделом, коли поверить мог, что я на такие пакости способен. Да я на тебя зла не держу! И вот весь мой сказ: приходи, дружище, ко мне завтра в обед. Я тебе кучу новых виршей покажу и самых наших знаменитых стихотворцев — Сумарокова, Петрова, Майкова... А ты, юнец мокрогубый, — оборотился он к Яковлеву, — слюни-те подбери и на чужих жен не зарься, не то прикажу лакеям бить тебя жестоко...

«Пес его знает, может, и вправду Блудов спьяну обнос на него возвел?» — подумал Державин и сказал:

— Если ты беспритворно говоришь, не присуседиваешься, отчего ж не притить, приду...

Назавтра сержант в довольно веселом расположении духа подошел к дому Бурсова и, войдя в него, нашел первый этаж пустым. А когда поднялся на второй, то увидел хозяина слегка хмельного, сидящим около расшитых шелками ширм за богатым столом. Неподалеку от него, на кушетке, лежал краснолицый поручик наполевых войск, сжимая в кулаке здоровенную орясину.

— Здравствуй, голубчик Гаврило! Садись, сударка, ино потолкуем по душам, — с притворной томностью в голосе приветствовал его Бурсов. — Как ты меня, однако, вчера знатно отщелкал!..

«Эхма, брат! — сказал себе Державин. — Попался ты на простоватости своей. Вона как Бурсов тебя обалахтал!»

— Жену мою подстегой непотребной представил, — продолжал хозяин, чистя ногти батистовым платочком, — а меня гадким обирохою!..

При сих словах зашевелился кто-то за ширмами.

— Неправда, сударь! — отрывисто возразил сержант. — Говорил я тебе вчера только о том, что видал. А видал я, как твоя жена с прапорщиком Яковлевым любезничала, и явно... Ты же небось позлыдарить решил да со мной свести счеты! Теперь-то я вижу, кто ты есть!

— Ах плутяга! — вышел из-за стола Бурсов. — Кто же я? Ну-кась назови!

Державин уже не мог сдержать природной своей горячности и в запалке крикнул:

— Волк, вот ты кто! Только волк овчеобразный!

— Хватить врать! — Бурсов сделал знак лежащему офицеру. — А ну-ка, дружок, дай ему для начала доброго подживотника!

Ширмы пали, и два мордастых лакея загородили Державину путь к двери.

— Нет, брат, он прав, а ты виноват! — подымаясь с кушетки, спокойно пробасил офицер. — И ежели кто из вас тронет его волосом, то я за него вступлюсь и переломаю вам руки и ноги...

Хозяин и его соумышленники попятились.

Только теперь признал Державин в офицере того самого поручика, которого в трактире едва не обыграли на поддельные шары.

— Пойдем отсель, — басил поручик, поигрывая дубиною, — а сунется кто, так смажу, что окакаетесь...

Но в перетруске сильной никто их удерживать не посмел.

На улице поручик протянул Державину руку:

— Петр Гасвицкий, землемер из Саратова... Ты уж прости, едва не поотколол тебе бока. Бурсов, повируха, передо мной обнести тебя хотел. Да, вишь, у лжи-то ноги коротки оказались.

— Спасибо, братец! — с чувством пожал его сильную руку Державин. — Выручил ты меня, и крепко. С природным дворянином повалтузиться еще куда ни шло — не впервой. А вот когда тебе лакеи могут палками спину понагреть — и вовсе поносно...

Переулком, мимо Селезневских бань, вышли на Царицыну площадь, где клубилась толпа перед обширным деревянным театром. У входа в театр с высокого помоста пестро размалеванный человек в высоком шутовском колпаке выкрикивал, ломая слова:

— Высокопочтенный господа доброжелатель! Мы имель честь показать вам наш удивительный действии, а вы, нас похваляя, дариль нам денег по возможности, за что мы покорно благодарствуем! Но как насталь время наш отъезд, то я, Паячи, не могу отъехать без того, чтобы наперед не проститься и почтеннейший публикум еще не повеселить. Итак, я имею честь пригласить вас на пантомим и буду стараться представить все наилучшим образом. Но Паячи покорно вас просит, чтобы вас был побольше, — дабы я побольше собрал денег. Вам же ведомо, как бедный Паячи дрожит на веревке и чувствует со страху то жар, то холод...

— Сие Брамбилла, кунстберейтер из Италии, — пояснил Гасвицкому Державин. — Сам балансирует на двух проволоках и бьет в барабан приятную слуху шотландскую тревогу. Потом берет в рот рюмку, ставит на нее шпагу, а другой актер, прозванный за небольшой росточек маленьким англичанином, балансирует на ее эфесе... Может, зайдем?

— По сие время Паячи не излечиль своей болезни! — выкрикивал Брамбилла. — Поныне она становится чувствительною. И вот причина в чем, что Паячи стал забавлять себя вином для прогнания болезнь. За ваше здоровье, почтенный публикум, выпью еще несколько полных рюмок и при всякой новой капле буду желаль вам полного благополучия...

В это время от Селезневских бань громыхнул выстрел, и народ, словно спугнутые галки, побежал из переулка на площадь.

— Эй, полубарыня! — остановил Гасвицкий старуху, одетую, несмотря на теплынь, в плисовый салоп. — Что за шум, а драки нет?..

Она оборотила к ним передряблое лицо.

— И-и, батюшка! Колодника отпустили в баню... Под надзиранием караульного солдата. А его незнаемые люди и отбили... Сказывают, разбойник великий... Какой-то Черный...

Державин приметил, как появилась и тотчас же скрылась в толпе рябая рожа Ивана Серебрякова.

Сумароков доживал свои последние годы, мучимый острожелчием, чувствуя, что его талант так и не нашел у соотечественников должного почтения и признательности. Кто, как не он, способный ко всему, населил российский Парнас элегиями, эпистолами, притчами или баснями, сатирами, любовными песнями, одами, хорами, куплетами, мадригалами, загадками!.. Но самая великая его заслуга, конечно, в ином: он лучший драматург России, коему великие французы — Расин в трагедии и Мольер в комедии служили образцами, — и директор первого Российского театра. Сколь умно его перо, о том и по худым переводам все ученейшие мужи в Европе знают. И вот: ему, происходящему от знатных предков и имеющему чин бригадира и орден святыя Анны, грозила теперь нищета. А любление к стихотворчеству да словесным наукам ни денег, ни имений не принесло.

«Какая нужда мне в уме, коль только сухари таскаю я в суме?..»

Его ли, северного Расина и Мольера, равнять с прочими пиитами? Спору нет, Ломоносов покойный был в науках отменно сведущ и знаменит, сочинял и знатные оды, хотя все они напыщенностью грешат, особливо последняя — «Петр Великий». Право, несусветная дерзость! Ломоносов тщился свою оду до Гомеровою «Илиады» раздуть, ан что вышло? Сумел написать лишь две песни, старался, тужился, да и преставился. Пускай по Москве лают, что Сумароков зол и несправедлив, но в сатире своей на автора «Петра Великого» он только истинною был озабочен:

*Под камнем сим лежит Фире Фирсович Гомер,  
Который, вознесясь ученьем выше мер,  
Великого воспеть монарха устремился,  
Отважился, дерзнул, запел и осрамился:  
Дела он обещал воспеть велика мужа;  
Он к морю вел чтеца, а вылилася лужа...*

И ведь надо же, нашелся писака безымянный, обративший против Сумарокова тупое свое перо! Нападает беззастенчиво и на самого автора, и на его комедии, в том числе на лучшую из них — «Опекуна»!

Издевательски именует его новым Терентием — римским комедиографом Теренцием! Как там у пачкуна сказано?

Сумароков вскочил с кресел, поправил на лысеющей рыжеи голове сползший парик и выдернул из шкапа связку бумаг. Стал нервно листать. Где, где она? Вот — «Вывеска»:

*Терентий здесь живет Облаевич Цербер,  
Который обругал подъячих выше мер,  
Кошунствовать своим Опекуном стремился,  
Отважился, дерзнул, зевнул — и подавился:  
Хулил он наконец дела почтенна мужа,  
Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа.*

Темно, коряво, а, главное, как несправедливо! Впрочем, какую справедливость можно по Москве искать, когда здесь Сумарокова ни в грош не ставят все, начиная от московского главнокомандующего Петра Семеновича Салтыкова и кончая актриской вольного театра Бельмонтия этой выскочкой Лизкой. Обходятся с ним точно с мертвым! Два письма отправил он императрице Екатерине Алексеевне, моля ее о заступничестве, но никакого ответа не получил.

Противу его договоренности с Бельмонтием Салтыков повелел разыграть на театре трагедию «Синав и Трувор». Зачем? Кто оценит теперь высокие страсти его пьесы, написанной двадцать лет назад! Актеры? Да они разучить как следует ее не пожелали. Зрители? Им нынче подавай пакостную слезливую «Евгению» какого-то Бомарше, переведенную, сказывают, московским подъячим! Как же, публика в восторге: все перемешано — смех и слезы, высокое с подлым. Но возможно ли, чтоб на тулово скорбящей Мельпомены да голова смешашей Талии насажена была? Истинно, только подъяческий вкус таковое допустить способен. Нет, не безмозглым московским кукушкам понять дано смысл и слог его «Синава и Трувора»: «В победах, под венец, во славе, в торжестве спастися от любви нет силы в существе...»

А может, и его хулителю — какой-нибудь подлый приказный? «Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа...» Ах, когда подьячие начинают о литературе судить, конечно, скоро преставление света настанет...

Старый слуга, тайный соучастник в горестном его ку-ликовании, вошел в кабинет с подносом. Письмо из Питербурха? Наконец-то! Может, государыня отменит сей позорный спектакль. Торопливо разодрал

украшенный императорскою монограммою конверт, трясущимися руками развернул бумагу с водяными знаками.

«Александр Петрович! Письмо ваше от 25-го января удивило меня, а от 1-го февраля еще более. Оба, понимаю я, содержат жалобу на Бельмонтя, который виноват только в том, что исполнил приказание графа Салтыкова. Фельдмаршал желал видеть представление вашей трагедии: это делает вам честь. Вам должно бы согласиться с желаниями особы, по месту своему первой в Москве... Я думаю, что вы лучше других знаете, какого почтения достойны люди, служившие со славою и украшенные сединою, а потому советую вам впредь избегать подобных ссор. Таким образом сохраните вы спокойствие духа, нужное вам для ваших трудов, а мне всегда приятнее будет видеть изображение страстей в ваших драмах, нежели читать их в ваших письмах. Впрочем остаюсь вам доброжелательная.

*Екатерина».*

Сумароков сжал бумагу в кулаке.

— Принеси, Прокоп, анисовой, да чтобы штоф был поболее...

Так-то ценят его в России и при дворе. Он вспомнил недавнее послание Вольтеру и любезный ответ сего знаменитого француза с осуждением самоновейших, «незаконнорожденных» пьес, затем свою громкую славу при покойной монархине Елизавете Петровне. И вот письмо здравствующей императрицы! Куда как далеко этой хитрой и двуличной немке до дочери великого Петра!

Побежал к налою, попробовал пальцем очин у перьев: какое повострее. Строчки, несущие его боль, его муку, словно сами собой полились на бумгу:

*Все меры превзошла теперь моя досада:  
Ступайте, фурии, ступайте все из ада,  
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою!  
В сей час, в который я терзаюсь, вопию,  
В сей час среди Москвы Синава представляют,  
И вот как автора достойно представляют;  
«Играйте, — говорят, — во мзду его уму,  
Играйте пакостно за труд на зло ему».  
Сбираются ругать меня враги и други;  
Сие ли за мои, Россия, мне услуги!  
От стран чужих во мзду имею не сие:  
Слезам я кроплю, Вольтер, письмо твое.  
Лишенный муз, лишуся я и света;*

*Екатерину зрю... проснись, Елизавета!..*

Бесшумно вошел старый слуга.

— Садись ужо, Прокоп... — Сумароков сам разместил па поставце штоф и рюмки.

Слуга был одновременно и его тестем: наперекор молве и материнской воле Сумароков женился вторым браком на собственной крепостной.

— Батюшка, Александр Петрович! Только не пей много, чтоб, избави бог, опять не понауслаться... — с жалости к своему барину-зятю сказал Прокоп. — Вечером велено тебе быть непременно в киятре...

Еще гимназистом, в Казани Державин играл в поставленной Веревкиным комедии Мольера «Школа мужей». А пристрастился к драматическим зрелищам в Питербурхе, где не было еще вольного, по существовал придворный театр, в самом дворце. Места в ложах и партере назначались в нем по чинам, в райке же дозволялось быть всем прочим зрителям, исключая носящих ливрею. Приставленные к дверям придворные служители не возбраняли входа и гвардейским унтер-офицерам, лишь бы они были во французских кафтанах, в кошельке и при шпаге. Зрители за места ничего не платили, не то что в вольном театре Бельмэнтя. Кабы при деньгах, а то последний двугривенный отдавать приходится...

Сержант сидел на своем любимом месте — у самого оркестра, где собирались порицатели вкуса и строгие судьи. Иные из них уже одобряли его как начинающего пиита, особенно после недавней эпиграммы на Сумарокова. Театр гудел, словно растревоженный улей, зрители шикали, топали ногами, выкрикивали бранные слова. Разозленная колкими выпадами Сумарокова, публика освистала его «Синава и Трувора».

— Гляди-ко, твой крестник бежит — Терентий Облаевич! — оборотился к Державину длинный как жердь секретарь известного вельможи Елагина и драматург Лукин.

Сумароков в крайнем раздражении размахивал руками, увеличивая восторг жестокосердых зрителей.

— Сколь мне его легкие вирши приятны, столь трагедии кажутся надутыми и пустыми, — отрывисто отвечал Державин. — А уж наветы его на Ломоносова и вовсе смешны!

Сумароков не помнил, как выскочил из театра, как добрался до дому. О позор! О ужас! Что это? Освистать трагедию, написанную им по вечным законам возвышенного...



С великого горя всю-то ночь пьянствовал Сумароков со своим верным Прокопом, а наутро появились две его новые эпиграммы на москвичей и разлетелись по первопрестольной...

— Слышь, Петр! Вторая эпиграмма, чать, больше удалась нашему Облаевичу. — Державин, сидя с Гасвицким в кабаке, громко прочел:

*На месте соловья кукушки здесь кукуют,  
И гневом милости Дианы толкуют.  
Хотя разносится кукушечья молва:  
Кукушкам ли понять богинины слова?..*

Гасвицкий смущенно махнул ручищей:

— Эх, милаша! Я в этих ваших виршах смыслю, ей-ей, что порос в цветах...

— Все очень просто, дружище. Сумароков не хочет смириться с тем, что славный фельдмаршал Салтыков, словно орел, облетел его перед царицей. Вот соловушка наш и закручинился и на московских кукушек осерчал.

— Ишь ты! Тебе-то все тут понятно. А мне? — Гасвицкий оглушительно захохотал. — Кто я в сравнении с тобою? Охреян охреяном! Мне бы погулять еще немножко в Москве, да и дернуть назад к женке в Саратов... Чать, заждалась! — И он потянулся, захрустев своим могучим телом.

— Если на Москве жители кукушки, — в раздумье продолжал Державин, — то сам Сумароков к старости, видно, умом опростел и стрекочет словно пустая сорока... Надо бы еще разок отдарить его. Эй, хозяин! Неси-ка очиненных перьев да бумаги отдирок...

— Это дело! — Гасвицкий положил ему ручищу на плечо... — А то вовсе ты отбился: стихи свои позабросил, да и дома тебя не застанешь. Я как знал, сюда ехал, что ты с Блудовым тут околачиваешься. Полюбил я тебя, сударка, за то, что ты правдуха и горяч как черт. И вот тебе мой совет: довольно ты в Москве помызгал...

Державин и сам был согласен с новым другом — здесь ему делать больше было нечего. В 1768 году началась война с Оттоманской Портою, и

Екатерина II повелела распустить Депутатскую комиссию, так и не составившую Уложения. В Москве становилось все тревожнее: уже объявились по городу первые знаки грозного поветрия — моровой язвы.

Между тем прибывшая в первопрестольную мать прапорщика Яковлева обвинила Державина и Сергея Максимова в том, что они, презрев указ императрицы от 766-го года о запрете особо азартных игр и уничтожении карточных долгов, ее сына обобрали. Послан был солдат для отыскания этих господ, завертелось новое судебное дело. Гаврила пропадал в кабаках и игорных местах, но и в карты ему не везло, и последняя копейка шла у него ребром...

— Вот послушай: «На сороку в защищение кукушек...» — Державин оторвался от бумаги и тут же умолк.

В кабак ворвался Сумароков. Он был пьян, почти безумен. Верный Прокоп едва удерживал его. Хватаясь беспрестанно за эфес путавшейся в ногах шпажонки, Сумароков левою рукой обвел сидящих за столами:

*В дубраве сей поют безмозглые кукушки,  
Которых песни все не стоят ни полушки;  
Одна лишь закричит кукушка на суку,  
Другие все за ней кричат: куку, куку...*

Не обращая никакого внимания на поднявшийся шум и гам, стихотворец уселся за свободный стол и тотчас потребовал себе водки.

— Слышь, Петруха! Я ему сейчас свою новую эпиграмму отошлю, пусть почитает, — ухмыльнулся Державин.

— Да ты что? Скандала хочешь? — неодобрительно пробасил Гасвицкий. — Посылай, братец, токмо без подписи...

— Нет, я подпишусь, но одними инициалами — Глаголь и Добро...

Вместе со штофом хлебного вина на стол Сумарокову лег листок со стихами. Тот взял листок, побледнел и откинулся на лавку. Поднявшийся из-за соседнего стола офицер с видимым наслаждением вслух прочел через его плечо:

*Не будучи Орлом Сорока здесь, довольна,  
Кукушками всех птиц поносит своевольно;  
Щекочет и кричит: чики-чики-чики,  
В дубраве будто сей все птицы дураки.  
Но мужество Орла Диана почитает,*

*И весь пернатый свет его заслуги знает.*

Разноголосый гул прокатился по зале. Пожалуй, все поняли, кого считать Сорокой, а кого — Орлом, памятуя о славном военном прошлом победителя Фридриха II при Кунерсдорфе фельдмаршала Салтыкова.

— Назови автора сих стихов! — крикнул из дальнего угла, как всегда, хмельной Блудов.

— Мне неведомо. — Офицер бесцеремонно взял со стола листок. — Писано тут только: «Г» и «Д».

— «Глаголь» и «Добро»! — в бешенстве повторил Сумароков. — А! Я знаю, узнал, что за Добро сие глаголит! Сей поддевало непотребный — известный мне подьячий! Сейчас он попробует моей шпаги! Только бить его я буду плашмя — фухтелем! — и пулей вылетел из трактира.

Державин уже раскаивался в своей злой шутке. Не открывшись в авторстве возбужденным гулякам, он решил еще разок попытать счастья в игре и обратился за помощью к Гасвицкому.

— Нет, Гаврила, на игру у меня денег нет и не будет!..

Но упросил его Державин дать ему червонец и снова кинулся за карточные столы. Он нашел Блудова в кружку куликовавших с ним дружков горланящим стихи известного Баркова:

*«Ударьте в бубны, в барабаны,  
Удалы, добры молодцы!  
В тарелки, ложки и стаканы,  
Фабричны славные певцы!..»*

*Хмельную рожу, забияку,  
Драча всесветна, пройдака,  
Борца, бойца пою, пиваку,  
Широкоплеча бурлака!..*

Под чтение сих виршей Державин быстро попался на подборе карт, весь жалкий свой капиталец просвистел и снова предстал перед Гасвицким.

— Друг, Петруша, не могу так больше! — понуро пробормотал он скороговоркою. — И как дальше быть, не знаю...

— Хватит пить, пора ум копить! — с назиданием в голосе отвечал тог. — Поналытался без дела и уноси отсель ноги, покуда не поздно.

— Так ведь даже доехать до Питербурха не на что!

— Коли, братец, не на игру, то я тебе хоть сколько ссужу. Хочешь сотню? — И добрый поручик потянулся за кошельком.

— Довольно будет мне и пятидесяти целковых.

Державин обнял Гасвицкого, полетел на Поварскую, покидал в сундучок бумаги, бросился опростеть в сани и без оглядки поскакал в Питербурх.

Прощай, Москва со своими трактирами и ремесленными игроками! Прощай, выпивоха Блудов и плутяга Максимов! Прощайте, пригожайки московские и ты, бедная Стеша! Прощай, добрый друг Гасвицкий!

Но почему «прощайте»? До свидания! Мы еще свидимся, свидимся с вами, только вот с кем — это одной судьбе ведомо!

Мартовский вечер был тих, снег падал охлопьями. За столпами Тверской заставы в смутной пелене потянулись ближние барские усадьбы, мелькнул охотничий домик Петра Великого под высокою зеленой голландской крышей. После Благовещенья наступило оттепие, но Державина знобило. Накрывшись повылезшей волчьей полостью, он снова и снова повторял написанные им опомнись строки о непотребном своем московском житье, шевеля пересмятыми губами:

*Повеса, мот, буян, картежник очутился  
И, вместо чтоб талант мой в пользу обратил,  
Порочной жизнью его я погубил...*

## Глава вторая НА РОДИНЕ



*О колыбель моих первоначальных дней!  
Невинности моей и юности обитель!  
Когда я освещусь опять твоей зарей,  
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?  
Когда наследственны стада я буду зреть,  
Вас, дубы Камские, от времени почтенны!  
По Волге между сел на парусах лететь,  
И гробы обнимать родителей свящанны?  
Звучи, о арфа! ты все о Казани мне...*

*Державин. Арфа*

В Андреев день, 30 ноября 1773 года, в Зимнем ее величества дворце имел быть по обыкновению пышный бал, на который приглашались «все дворяне обоего пола, исключая лиц моложе тринадцати лет». Под громы музыки дамы в робах, вышитых шелками, с длинными, в полтора аршина хвостами, и кавалеры в цветном платье плясали и вертелись в веселом

хороводе, длинной вереницею разбегались по высокому беломраморному залу, залитому светом тысяч свечей в больших хрустальных люстрах. Начался англез — пантомима любви и ухаживанья. Женщина — набеленная, наруганная, с насурмленными бровями, в мушках из черной тафты величиною с гривенник, с перьями в прическе, — то убегала и уклонялась от ухаживанья кавалера, который ее преследовал, то опять поддразнивала и кокетничала с ним в обольстительной позе, будто отдаваясь ему, но, когда он приближался, мгновенно ускользала.

Не верилось, что на южных окраинах России четвертый год шла кровопролитная война с Оттоманскою Портой, — так беззаботно звучали на хорах скрипицы, флейтузы и гобои, так безмятежно-счастливо танцевала молодежь, такой приятной важностию светились лица пожилой знати. В углу, за колонною гвардейский прапорщик-преображенец, наряженный во внутренний караул, жадно глядел на пеструю толпу и одними губами шептал:

— Дела, дела! Душа так и рвется из груди, ан дела не находит. Живу словно пес одинокий — ни кола ни двора, некуда и головушку пришатить. Нет уж, довольно прозябать, надеяться, ждать счастливого случая! Не на стихи же, в самом деле, уповать! Что стихи! Какой, право, с них прок?..

Прапорщик горько усмехнулся, спомнив, как, возвращаясь в Питербурх, проиграл в пути все бывшие с ним деньги приятелю, как занял у везшего из Астрахани виноград садового ученика еще полста, просадил и их в новгородском трактире, как наткнулся в Ижоре на карантинную заставу, учрежденную противу моровой язвы, и в ответ на объявление, что его задержат на две педели, в присутствии караульных, не задумываясь, сжег свой багаж (причину задержки) — сундучок, где хранились все доселе написанные им стихи, начиная с времен Казанской гимназии.

За прошедшие три с лишним года Державин заметно исхудал. Пропала юношеская округлость и мягкость в чертах его доброго лица, и само оно стало жестче, мужественнее. Бедность, преследовавшая его, сделалась причиною многих зол и представлялась тридцатилетнему офицеру чуть не пороком. Она едва не принудила Державина выйти из гвардии. К новому, 772-му году собрание ротных командиров и прочих офицеров Преображенского полка нашло наконец его достойным производства в прапорщики, однако невзлюбивший Державина полковой адъютант предложил за бедностию выпустить его в армейские офицеры.

Бедность и впрямь была в те годы великим препятствием носить с пристойностию гвардейское звание. А когда друзья-преображенцы все же добились для него офицерскою чином, то он обмундировался с грехом

пополам: ссудюю из полка, в счет жалованья добыл себе сукна, позументу и прочих вещей, а затем кое-как исправился остальным нужным — продал сержантский мундир и заняв немного денег, купил английские сапоги, взял в долг у своих питербурхских друзей Окуневых небольшую ветхую каретишку и поселился на Литейной, в маленьких деревянных покойниках.

Он жаждал быть замеченным, выделиться. Но куда там, если блеск богатства и знатность безусловно предпочитались скромным достоинствам и ревности к службе. Рвался быть употреблен в каком-либо отличном поручении или в войне. Однако гвардию обыкновенным порядком, как прочие армейские полки, в войне не употребляли, кроме экспедиций на флоте, а ехать в действующую армию волонтером он не имел достатку.

Думая о сем, Державин повергался временами в меланхолию, завидовал успехам всех воевавших, даже посмертной славе поручика и стихотворца князя Козловского, вместе с фрегатом взлетевшего на воздух в знаменитом Чесменском сражении, мечтал отличиться и пробиться наверх. Молодому человеку кружили голову примеры временщиков; ночами, внезапно проснувшись, он думал о тех, кто с самого низу взошел и стал близ трона. Вот почему так жадно разглядывал он теперь великих бояр и вельмож — в разноцветных кафтанах, атласных кюлотах и туфлях с красными каблуками.

Ах, какие люди собрались здесь! Всех их можно бы назвать *случайными*, хотя, если разобраться, каждого не токмо слепой случай вывел наверх и помог там удержаться. Вон тот, чуть сутуловатый, седой и плотный красавец, опирающийся на трость, выточенную целиком из огромного агата и усыпанную алмазами и рубинами, — давний кумир гвардии, заступник солдатам и малоимущим офицерам Кирилл Разумовский. Простой казак и брат фаворита покойной Елизаветы Петровны, Кирилл Григорьевич в восемнадцать лет стал президентом Российской академии наук, а затем — гетманом Малороссии. По своему приятельству с Петром Федоровичем он был отодвинут поначалу Екатериною II, отрешен от гетманства, но затем вновь приближен и назначен председательствующим в чрезвычайном совете при дворе, где ценили его меткий украинский юмор и побаивались колкого, независимого ума...

А круг него! Внимающие его островам, произносимым с характерным малороссийским выговором, толпились вельможи один богаче и могущественнее другого. Вот этот великан с портретом государыни в петлице — сердцевидном медальоне, усыпанном бриллиантами, — Григорий Орлов. В пору многолетнего пребывания своего в фаворитах у

Екатерины II он, внук солдата, был осыпан без меры наградами и чинами: директора корпуса инженеров, начальника конной гвардии и артиллерии, президента иностранного колонизационного бюро, главного директора фортификаций, князя и генерал-аншефа. А рядом — носящий за победу над турками имя Чесменского — его брат Алексей, лицо которого во всю щеку пересек страшный сабельный шрам, полученный в кабаке на двадцатом году жизни. Дальше обер-гофмейстер и с недавней поры фельдмаршал граф Никита Иванович Панин. Президент Военной коллегии Захар Григорьевич Чернышов и его брат Иван Григорьевич, вице-президент адмиралтейс-коллегии. Известный Державину по Москве генерал-аншеф Алексей Ильич Бибииков, попавший вследствие дворцовых интриг в опалу и получивший несколько дней назад повеление императрицы из главнокомандующего в Польше стать простым корпусным генералом на турецком фронте, да еще под началом не расположенного к нему фельдмаршала Румянцева. И неприменимый участник всех балов и церемоний, длиннолицый, с дряблыми щеками оберштаб-майстер Лев Александрович Нарышкин, хлебосол и арлекин, вечно прихехекивающий и паясничавший шут государыни, прозванный при дворе «шпынем»...

Оркестр грянул польский, но танцующие остановились и, расступившись, образовали широкий проход. Вниз до беломраморной лестнице шла императрица в голубом с зеленою епанчой (цветов ордена святого Андрея Первозванного) роброне. Волосы ее были слегка припудрены, голубой роброн оттенял белизну полуоткрытой груди и ниспадал пышным колоколом.

Чуть сзади Екатерины II держался ее фаворит Васильчиков, нежнолицый и ничтожный, сменивший всесильного Орлова. Улыбка на его кукольном лице казалась приклеенной: ходили слухи, что недолгому возвышению Васильчикова приходит конец.

Державин видел, как Григорий Орлов сделал несколько крупных шагов навстречу царице, но Екатерина мягким движением руки остановила его и прошла мимо. Васильчиков поймал на себе напряженный и насмешливый взгляд своего предшественника и зарделся вишневым румянцем. Императрица рассеянно отвечала на приветствия и словно искала кого-то. Внезапно она решительно — как в воду — вошла в толпу придворных и взяла за руку Бибиикова. Державин весь напрягся, чтобы расслышать ее слова.

— Голубчик, Алексей Ильич! — в наступившей тишине зазвучал ее грудной голос. — Видно, не придется тебе к туркам ехать. Нашлись дела и поважнее...



Бибииков, склонившийся в полупоклоне, поднял удивленные глаза.

— Чай, слышал ты, — продолжала царица с чуть заметным акцентом, — открылось возмущение на Яике. Боюсь, генералы мои вовсе обленились и разучились мышей ловить, раз какой-то беглый казак взял по Яику несколько городов, осадил Оренбург и разбил армию Кара... Бери-ко, голубчик, всю власть, да и наведи уж там порядок!

Бибииков был добродушен, хладнокровен, прекрасно владел собою, но склонность к веселости, смелой шутке одержала верх над его обычной сдержанностью. Он отвесил еще один полупоклон и вместо ответа тихо, но явственно пропел тенорком куплет старой народной песни:

*Сарафан ли мой, дорогой сарафан!  
Везде ты, сарафан, пригожаешься;  
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь...*

Императрица внимательно поглядела в его карие глаза и улыбнулась:

— Что ж, ты прав, Алексей Ильич! Сей дорогой сарафан нам теперь надобен... Только спомнишь мои слова. Не под лавку бросать, а на все пуговики застегнуть его теперь придется. Итак, — зная свою власть не только самодержицы, но еще и красивой женщины, она придала лицу выражение величия и мягкости, — собирайся, голубчик, поскорей, да и отправляйся прямо в Казань!

Вот она, редкостная возможность поймать удачу! О волнениях на Яике шушукались по гостинным, открыто говорили в кабаках, хотя полиция и хватала болтунов. Слухи были противоречивы и вздорны — о будто бы воскресшем императоре Петре Федоровиче... Но все равно куда, все равно зачем, — только бы покончить с унижением бедности! Державин отступил за колонну и прижался к мрамору пылающим лбом. Он вовсе не был известей Бибиикову, однако порешил, не откладывая, завтра же порану ехать прямо к нему и упросить взять с собой.

Поутру Державин так спешил, что позабыл даже продеть голову в пудреник: стал порошить волосы мукою — и кафтан весь запудрил. Кое-как почистившись, прикатил он в своей каретишке к дому генерал-аншефа и сенатора Бибиикова на Гороховой улице, запрыгал по деревянным мосткам, метя мимо проступавшей топи, и сразу попал на прием к хозяину.

— Слышал я, ваше высокопревосходительство, по народному слуху, — начал Державин, представившись, — о поездке вашей с секретной миссией в Казань. А как я в сем городе родился и ту сторону довольно знаю, то не

могу ли быть с пользою в сем деле употребленным?..

Бибиков нахмурил продолговатое, с высоким лбом лицо. Кто этот безумный прапорщик, что без протекции и даже рекомендательного письма решился на такой дерзкий шаг? Дурак или наглец? Нет, сию развязь надобно пресечь!

— Очень сожалею, друг мой, — сказал он наконец. — Но я уже выбрал себе гвардии офицеров — людей, лично мне известных.

Оставалось раскланяться и уехать, но Державин не торопился. Он внезапно почувствовал в себе тот особенный прилив сил, какой всегда наступал у него в поворотные минуты судьбы.

— Любопытствую я, ваше высокопревосходительство, касательно ваших литературных опытов...

— Вот как? Каких же?

Державин понял, что сказал сие впопад.

— Ведомо мне, что переложили вы на русский язык поэму Фридриха Великого о военном искусстве...

— Это так, братец. А ты что, сам тоже к изящной словесности склонность имеешь?

— Признаюсь в сем грехе. И вирши Фридриховы переводил, и сам писать пробовал: складывал и легкие песенки, и торжественные оды в подражание великому Ломоносову.

— Любопытно, друг мой. Расскажи-ка о себе коротко...

Державин уехал, пробыв у Бибикова около часу, ощутил приязнь и ласку вельможи, но так и не дождался от него никакого обещания.

Огорченный, зашел он ввечеру в полковую канцелярию, которая помещалась неподалеку от его покойников на Литейной, и встретил у ворот шестнадцатилетнего капрала Василья Капниста, недавно переведенного из Измайловского полка в Преображенский. Он успел уже полюбить этого живого, остроумного и образованного полтавчанина, отец которого, выходец из греков, в год рождения сына пал в битве при Гросс-Егерсдорфе. Быть может, юный Капнист заполнял ту пустоту, какая образовалась в душе Державина после кончины его младшего брата Андрея, таявшего в Питербурхе от чахотки и осенью 1770 года почившего в Казани на руках у матушки.

— Гаврило Романович, дорогой, что невесел? Ай журба какая напала? — стремливо обнял Державина тоненький живоглазый и горбоносый капрал.

— Не везет мне, дружок! — махнул тот рукой. — В кои-то веки понадеялся на фортуна! Да рази ее ухватишь, когда у этой капризной

грации затылок голый! Просился в команду генерал-аншефа Бибикова, но, видать, не судьба...

— Прймай свою судьбу без ропота, — не по-детски серьезно сказал Капнист. — Постой, постой! Разгони хмару — ведь тебя в канцелярии ожидает какой-то приказ.

Гаврила опрометью бросился в полковую избу.

«Лейб-гвардии прапорщику Державину велено явиться на завтра к его высокопревосходительству и российских орденов кавалеру господину Бибикову...»

Генерал-аншеф при новом свидании говорил мало:

— Через три дни быть готовым к отъезду в Казань!

## 2

Как обрадовалась, расцвела и даже помолодела матушка Фекла Андреевна! Не знала, куда усадить, чем потчевать дорогого гостя, и не могла на него наглядеться.

— Не обессудь за недостаточностью моей, сам знаешь, все нынче кверху тормашками пошло! — Фекла Андреевна сокрушенно махнула рукою. — Из имениц в этакую смуту ничего не дождешься!

Но стол был обилен домашнею снедью: на оловянных блюдах и талерках соленые огурцы и соленые сливы, капуста топаная, подовые пироги кислые с сыром и с груздями, копченое мясо, приготовленное с деревянным маслом, чесноком и луком, караси с бараниной, душистый мед (место, где стояла Казань, издавна было пчелисто), в кувшинах — полпиво, квас, сбитень...

— Ты что, подлец, подстылое принес! — внезапно крикнула Фекла Андреевна дворовому подростку, привычно награждая его крепким подзатыльником. Тот поглядел на барыню злобным волчонком и молча скрылся в поварню, унося блюдо пилава с бараниной.

— Вот, возьми их! — вздохнула Фекла Андреевна. — Почитай, вся дворня от рук отбимшись ходит, только и норовят господ обмануть, да все о какой-то воле промеж собой толкуют. Дался им Пугач! Да это непременно и не имя, а прозвище — дворян *пугает*. А имя... — Фекла Андреевна оглянулась, хотя в низкой горнице, кроме них, никого не было, и зашептала сыну на ухо: — Отписала из Москвы сестрица моя Фекла Савична, что Пугач этот есть на самом деле беглый казак Черняй...

— Эти ростобары я в Москве уже слышал, — хмуро ответил

Державин. — Ты Расскажи лучше, что делается в городе.

— Что деется? Ворота боишься отворить! Вона и куры-те взаперти переглохли! Понаехало к нам в Казань гостей со всех волостей — деревеньки свои оставили, сидят трясутся. Это вот сейчас духом чуть воспряли, как государыня назначила сюда главнокомандующим господина Бибикова. Наши дворяне, чать, помнят, как он удачно и без лишних жестокостей усмирил бунт на уральских заводах. Сказывали тогда, сослал всего двадцать заводских крестьян...

Она ходила за ним и все говорила, рассказывала, рассказывала — о людях, им позабытых или вовсе неизвестных, о пустяках, что запали в душу.

«Отвык я от матери», — подумал Державин, сам казня себя за эту кощунственную мысль. А она-то все старалась угодить, услужить ему — и все не попад.

— Постой, матушка! Никак стучит кто в ворота! — перебил он Феклу Андреевну.

— Да это небось гвардейские офицеры куролесят, что приехали до тебя в Казань от господина Бибикова.

— Лунин с дружками?

— Да кто их имена знает! Чуть не силком заняли, веришь, духовную семинарию, потеснили самого архимандрита Любарского, да и предались удовольствию святок. — Она перекрестила толстое свое лицо. — Истинно ни стыда ни совести...

По-утиному переваливаясь, Фекла Андреевна засемила к двери, на ходу надевая пуховый оренбургский платок, и почти тотчас же вернулась в сопровождении занесенного снегом до самых бровей здорового мужика в хорошем тулупе.

— До вашей, барин, милости... — густым басом сказал мужик, сымая заячий трех.

Державин признал в нем Ивана Серебрякова.

— А, старый знакомый!.. Добро ли поживаешь?

— Что тебе, ваше благородие, сказать... — опустил Серебряков глаза в пол. — Попам да клопам жить добро...

— Ну, раздевайся, садись к столу, гостем будешь.

С полчаса прапорщик наблюдал, как насыщался Серебряков, подметая все подряд — пироги, мясо, плав... Наконец прожора утер седую, с причернью, бороду, испустил ртом воздух из желудка и, отдуваясь, нагло сказал Фекле Андреевне:

— Пиво-то у тебя, хозяйка, с прокиселью, да и квас перестоялый...

«Вот пролаза!» — с некоторым даже восхищением подумал Державин и остановил возмущенную Феклу Андреевну:

— Не мешай нам, матушка. Пойди-ка лучше по хозяйству...

Оставшись в горнице вдвоем, оба некоторое время испытующе глядели друг на друга, словно проверяя, кто чего стоит. Рябое лицо Серебрякова оставалось невозмутимым даже тогда, когда Державин спросил:

— Ну как, отыскиали запорожские сокровища?

— Куда там! Отыскал осетр дождя в поле лежа... — загудел Серебряков. — Отправились мы, не хуже, втроем на Днестр за кладом, да товарищи мои больно робки оказались. Вишь ты, рак не рыба, нетопырь не птица, а пес не скот. Как стретились нам войски турецкого фронта, так господин Максимов в труску ударился: искать-де больно опасно, повернем назад. Вот мы с Максимовым и вернулись ко своим дворам в Малыковку. Он, чать, податься в Москву убоился...

— А Черняй? — привстал Державин.

— Эх, барин! Да что с ним делать, с Черняем-то? Разбойник, не хуже, живой покойник! Отпустили Черняя, — блеснув недобрым взором, неохотно пробурчал Серебряков.

«Как же! Жди! — подумалось офицеру. — Ты-то отпустишь. Скорее всего пырь ножом, да и концы в воду. Только кто же тогда Пугач, если не Черняй?»

Словно отгадав его мысли, Серебряков придвинулся к прапорщику и загудел тише:

— Як тебе, барин, по самому секретному делу... Насчет его глупского величества — господина Пугачева!

Скрывая волнение, Державин поднялся с лавки.

— Давай-ка прикажу самоварец подать. А ты пока по-наковырай себе меду, да и обсудим за чаем все...

Фекла Андреевна не раз порывалась войти в горницу. Тишина. Уж не пристукнул ли ее Гаврюшу рябой разбойник? Но, заглянув в скважинку, успокаивалась: сын мирно беседовал со страшным мужиком, правда вовсе позабыв про чай. Наконец она притомилась и ушла спать.

Серебряков меж тем поведаль:

— Ты ведь знаешь, барин, что подрядился я беглых раскольников переселять из Польши... На пустующие земли левого берега Волги...

— Еще бы! — не удержался Державин. — И на плутовстве своем окаянном попался! Пришлось твоему земляку Максиму тебя выручать...

— Рыба рыбою сыта, а человек — человеком, — заиграл словами

Серебряков. — Или еще говорят: рука руку моет, а обе белы быть хотят. Так вот, среди переселенцев было много дезертиров и прочих подозрительных смутителей. Споминаю, в декабре 772-го года рассказал мне вот о чем экономический крестьянин Иван Фадеев. Бывши на Иргизе, в раскольничьей Мечетной слободе для покупки рыбы, слышал он в доме жителя той слободы Степана Косого от какого-то приезжего человека такие речи: «Яицкие-де казаки согласились идти с ним в турецкие земли, только-де, не побив в Яике всех военных людей, не выйдут». Ин ладно! Будучи сам болен, призвал я надежного себе приятеля дворцового крестьянина Трофима Герасимова и просил съездить в Мечетную слободу и у друзей разведать, от кого произносились такие речи? Потому Герасимов ездил и о том проезжем человеке расспрашивал. А по приязни ему той же слободы житель Семен Филиппов сказал, что тот приезжий чело Век — вышедший из Польши раскольник Емельян Иванов сын Пугачев...

Державин прикрыл глаза. Пугачев! Схватить самого Пугачева! Переворот в жизни, ордена, деревни, чины... Слава! Он, прапорщик Державин, спаситель дворянства, он приближен ко двору и трону. Но нет! Слишком смело, слишком несбыточно...

— Прибыл он на Иргиз, — гудел Серебряков, — из белорусского местечка Ветки и по позволению дворцового малыковского управителя глядел и осматривал здесь для селитьбы своей место. Герасимов счел за нужное того подозрительного пришельца сыскать. А как по известиям поехал он в село Малыковку на базар, то Герасимов, бросившись туда, нашел его на квартире у экономического крестьянина Максима Васильева и велел за ним присматривать, а сам объявил о нем смотрителю той же волости. Как опосля уже узнали, в слободе Мечетной, где раскольнический монастырь, стретился Пугачев с ихним игуменом Филаретом. Заметь хорошенько, барин: с раскольниками сими, живущими по Узеню в скитах, у него большая дружба. Пугачева арестовали. Я предложил в извозчики надежного человека, дворцового крестьянина Попова. А дале тебе самому все ведомо: Пугачева под стражею увезли в Казань, отколь он и бежал...

Глядя прямо в продувные глаза Серебрякова, Державин отрывисто выпалил:

— Больно складно говоришь! Может, попусту мне пешки точишь? Уж не обморочить меня захотел? Мотри, парень, с секретной комиссией шутки плохи!

— Э, ваше благородие! — махнул своей лапищей Серебряков. — Пытки не будет, а кнута не миновать! И вот тебе мой сказ... — Он неожиданно мягко, по-кошачьи вскочил и в два прыжка оказался у двери.

Распахнул: никого. — Дело сие великой тайны требует...

Так до утра и просидели Державин с Серебряковым, подробно обсуждая государево дело.

### 3

Бибииков не спал несколько суток, изыскивая, какими путями пресечь возмущение пугачевцев. Успехи восставших день ото дня все более тревожили его.

Правда, сам Пугачев, объявивший себя чудом спасшимся императором Петром III, терял время, осаждая Оренбург и Яицкий городок, зато его отряды разливались все выше по Волге, присоединяя к себе крепостных и разоряя помещичьи усадьбы. Восставшие башкиры окружили Уфу и захватили многие заводы. Уже вся восточная окраина империи была объята волнениями. Меж тем войска подходили к Казани крайне медленно, и покамест ни о каких решительных действиях говорить не приходилось.

Главкомандующий задумался, глядя мимо листка. Болела от недосыпу голова, жгло и давило в синие под левой лопаткой. Он превозмог тупую усталость и дописал: «День и ночь работаю, как каторжный, рвусь, надсаждаюсь и горю, как в огне адском...» Вложил письмо в конверт с каллиграфической надписью: «Ее императорскому величеству самодержице Всероссийской Екатерине II», приложил к печати перстень с монограммой и вызвал секретаря:

— Все ли в сборе?

— Генералитет, штабы и члены секретной комиссии ожидают вас, ваше высокопревосходительство!

Бибииков вышел в соседнюю залу, заполненную военным народом. Отдельно стояли гвардейские офицеры секретной комиссии — капитан-поручик Семеновского полка Савва Маврин, подпоручики Семеновского полка Сабакин и Лунин, прапорщик Преображенского полка Гаврила Державин. Этот последний своей деловитостью, неутомимостью и исполнительностью оказался настоящей находкой.

Оглядев собравшихся, генерал-аншеф начал напряженным тенорком:

— Итак, господа, смута усиливается! Здесь, в Казани, с моим приездом все, видно, впали в нелепое благодушие. Вона и архимандрит Платон Любарский в канун рождества Христова воспекает несостоявшиеся победы. Что же на самом деле? На самом деле мы в осаде, господа! Гарнизоны никуда носа не смеют показать. Страм сказать, сидят на местах,

как сурки, и только что рапорты страшные присылают. — Продолговатое, с высоким лбом лицо Бибикова потемнело от гнева. — Сил нужных по сию пору нет! А в столицах тем временем попрекают нас за бездействие! По гостиним видимо-невидимо развелось вредных пустоболтов. Его сиятельство граф Петр Иванович Панин, сказывают, до того доехал, что уже открыто по Москве вещает: в правительстве-де никто ни на что не способен и что сам он готов вооружить крестьян своих и идти с ними на Пугачева...

— Разбегутся! — не удержался Державин. — Ежели все не перейдут поголовно к самозванцу!..

— Матушка государыня наша, — продолжал Бибиков, — назвала графа Панина за безответственные сии речи предерзким болтуном. Но довольно об этом! — Генерал-аншеф перешел к столу с картой огромной Казанской губернии, которая на север простиралась до Перми, а на юг до Астрахани и включала в себя Вятку, Пермь, Симбирск, Пензу, Саратов. — По выработанной диспозиции войски отовсюду — из Тобольска, Малороссии, Польши, Питербурха — сходятся к Казани. Под моим началом армия двинется затем к Оренбургу. Нам никак не можно дать самозванцу и его толпам проникнуть ни во внутренние губернии — на правый берег Волги, ни в северо-восточные — к заводским крестьянам и башкирам...

— Ваше высокопревосходительство! Ожидать без конца войск тоже нельзя! Вокруг Казани верстах в шестидесяти уже разъезжают толпы вооруженных татар. Пора действовать!

Кто это? Опять неугомонный прапорщик Державин? Эх, нетерпеливая головушка! Бибиков уже с досадою возразил:

— Знаю! Но что прикажешь делать? Войски еще не пришли... Я уже говорил об сем с губернатором фон Брандтом.

— И все же, — упрямо повторил Державин, — есть ли, нет войска, надобно действовать!

Бибиков отшвырнул в сердцах карту, схватил прапорщика за руку и, ни слова не говоря, повел в кабинет. Сунул ему под нос бумагу.

Это был рапорт о падении Самары. Восставшие под предводительством атамана Арапова вошли в город и были встречены жителями хлебом с солью, а духовенством — с крестами и колокольным звоном.

Генерал ходил по кабинету, словно позабыв, что его ожидают в соседней зале. Потом подошел к прапорщику и, пристально глядя ему в глаза, сказал:



— Вы отправляетесь в Самару. Возьмите сей час в канцелярии бумаги и ступайте!

Державин выдержал его взгляд. «Неужели он посылает меня прямо в руки к злодеям!» — пронеслось у него в голове, но он ответил:

— Я готов.

Проходя через прихожую, где в лужах талого снега дремали, не снимая тулупов, кучера и лакеи, Державин бросил ожидавшему его Серебрякову:

— Опять о нашем деле поговорить не удалось! Не до того! Собирайся...

Не спрашивая, куда и зачем, Серебряков покорно нахлобучил треух.

Кучер был вялый и непроторенный малый из дворовых Феклы Андреевны. Все люди Державина, скачучи из Питербурха, поотбивали себе ноги и занемогли.

— Ты сядешь на облук! — залезая в повозку, приказал Серебрякову прапорщик, а кучера определил стать на запятки.

Подробности поручения были изложены в двух запечатанных и надписанных «по секрету» пакетах, которые надлежало открыть, удалившись от Казани не ближе тридцати верст. Пока ехали через Кремль, повозку все заносило, и Державин крикнул:

— Что это, лошади с придурью?

— Нет, — не оборачиваясь, прогудел Серебряков. — Частые ездоки, вишь, поугладили путь.

Но вот ползкая дорога кончилась, и через Тайницкие ворота повозка шибко побежала к спуску на замерзшую и широкую здесь Казанку. Белокаменный Кремль таял, сваливался за горизонт, едущих обнимала ширь степей. Державин, придерживая голубую форменную шляпу, огляделся: родные сердцу просторы. Странствия по этим степям в юности дали ему поболее, нежели науки, отозвались много позже в его душе широтою и смелостию поэтических суждений. Величие степей, их безмерность и малость человека заставляли позабыть о подстерегающих опасностях, рождая мысли о вечности и творце, о тщете и гордыне... Неясные еще строки лепились смутно, рождались высокопарные, надутые образы. Но, ощущая это, он чувствовал, что стихотворчество, казалось бы прочно забытое, властно просилось наружу, — то неожиданным уподоблением, то мольбой о чем-то, то смелой, все подчиняющей мыслью:

*Небесный дар, краса веков,  
К тебе, великость лучезарна,  
Когда средь сих моих стихов*

*Восходит мысль высокопарна,  
Поддай и сердцу столько сил,  
Чтоб я тобой одной был явен,  
Тобой в несчастьи, в счастья равен,  
Одну бы добродетель чтил...*

Повозка пересекла Волгу. Строки цеплялись одна за другую, саднили в голове огненными занозами, вторили в такт стуку копыт по мерзлой дороге. Стихи набегали, толпились, тесня образами, обращались к небу и трону, прося, требуя. Чего? У кого?

*Велик напастьми человек!  
В горниле злато как разжжено  
От праха зрится очищенно,  
Так наш, бедами бранный век.  
Услышьте, все земны владыки,  
И все державные главы!  
Еще совсем вы не велики,  
Коль бед не претерпели вы!..*

Внезапно лошади остановились на всем расскоке.

— Падалище на дороге, барин.

Это был пропнутый стрелой солдат. Поодаль лежал еще один. Повев ветра донес переклик не переклик, не то вой, не то голос.

— Едем тише, Иван! — отрывисто попросил прапорщик, вынимая из чехлов два пистолета.

— Едем, ваше благородие, — спокойно отозвался Серебряков. — Ишь, ржет конь к печали, ногою топает к погонке...

С полверсты лошади шли ступою. Теперь уже явственно слышался жалобный псинный скулеж.

— Ишь ты! — сказал Державин. — Собака-то не к добру развылась...

За поворотом открылось свежее пепелище: кучи праха, остовы изб. У одночельной печи, странно белевшей посреди золы и углей, завозилась куча тряпья и обернулась старухой. Шамкая беззубым ртом, она трясла восковым кулачком, грозя повозке. Когда путники поравнялись с ней, старуха внезапно вскинулась с криком:

— Ахфицер! Душегуб! Пусть на тебя нападут все двенадцать сестер-

лихорадок!..

— Молчи, старая псовка! — замахнулся кнутовищем Серебряков.

А вослед им неся дребезжащий голос:

— Трясея, огня, ледея, гнетя, грынуша, глухая, ломея, пухнея, желтея, коркуша, глядея, огнястра!..

Некоторое время Державин со своим подзираем молчали. Затем Серебряков прогудел:

— Думаю-подумаю... Раздумьеце возьмет. А что, барин, ежели самозванец, не хуже, и победит?

— И этот переметнуться может! — с ужасом прошептал прапорщик и отвернулся.

Зимний день короток, незаметно навалился вечер. Попримучив лошадей, путники остановились в разоренной деревеньке. Державин приказал старостихе затопить печь. В поддымки в черной избе быть несносно. Прапорщик вышел в сенцы, запалил огонь и вскрыл пакеты. В первом ордере ему предписывалось ехать в Симбирск, присоединиться к подполковнику Гриневу и идти с ним на Самару; во втором — по занятии Самары отыскать злоумышленников и уговорителей народа и, заковав их, отправить к Бибикову. Прочих виновных для страха на площади наказывать плетьюми.

Державин позвал старосту:

— Лошадей, и живо!

— Не будет лошадей! — отрезал староста, мужик с покляпым носом и злыми глазами. — Всех ужо забрали военные команды...

— Ты отлыжки-те свои брось! — повысил прапорщик голос.

— Да что, я тебе рожу лошадей?! — закричал староста.

Державин щелкнул курком и приставил к его горлу пистолет:

— Будут лошади?

— Слышь, Марья, — сиплым голосом позвал тот старостиху, с откровенной ненавистью глядя на офицера. — Слышь, выведи барину из подклетья меринка чалого да кобылу гнедую...

Державин все более укреплялся в той мысли, что весь народ — не токмо крестьянство, но и ремесленники, мелкие купцы, низы духовенства, — поддерживает Пугачева и отвергает дворянскую власть.

В России кипела, клокотала, ширилась, полыхала настоящая гражданская война, и не на живот, а на смерть. Антинародный режим Екатерины II довел угнетенные сословия до последней черты терпения; восстание против ненавистного дворянства было, если брать низы, почти всеобщим, всеохватным. Именем царицы восставших распяливали на

петлях, удавливали осилом, подвешивали на глаголях за ребро, резали языки и рвали ноздри; крестьяне, казаки, башкиры вешали и жгли помещиков, офицеров, чиновников, истребляли самый род их, вплоть до малого потомства. В числе лиц, подлежащих казни по взятии Пугачевым Яицкого городка, значились не только его комендант подполковник Симонов и капитан Андрей Крылов, но и шестилетний сын последнего Иван. В указе от 1 декабря 773-го года Пугачев призывал всех «помещиков и вотчинников как сущих преступников закона и общего покоя, злодеев и противников лишать всей жизни, то есть казнить смертию».

Лишь редкие участники этой войны отличались человеколюбием и стремились действовать без пролития крови; Державин к ним не принадлежал. Офицер секретной комиссии, он для пресечения смуты готов был на любые, самые жестокие меры.

Весь вечер, меняя лошадей, гнал он повозку и остановился в десятом часу пополудни верстах в пяти от Симбирска. Надобно было выяснить, не заняли ли город пугачевцы. Навстречу медленно катили праздные розвальни поселянина, возвращавшегося по продаже продуктов.

— Эй, парень! — позвал Державин малого, стоящего на запятках. — Как поравняемся с санями — хватай мужика за шиворот, да и тащи в повозку!

— Не сумею я, барин... Озяб дюже... — подал тот робкий голос.

— Эх, разгильдяй! Ну-ка ложись тогда на мое место! Державин вскочил на запятки, притворился дремлющим и, когда сани оказались рядом — швырк мужика на снег. Еще мгновение, и Серебряков уже крутил пленнику руки.

— Кто в городе?

— Военные! Военные, ваша милость! — лепетал обезумевший от страха обыватель.

— Да какие военные? Государыни или злодеи?

— Знать не знаю, ведать не ведаю! Видел лишь, что собирали они по<sup>1</sup> городу шубы...

— Одеты как? В мундирах?

— Нет, в русском обыкновенном платье... Только ружья у всех со штыками.

Последняя подробность проясняла картину: у пугачевцев ружья не имели штыков. Отпустив мужика, Державин смело въехал в Симбирск, Воевода объявил ему, что подполковник Гринев с командой часа с два как выступил из города по Самарской дороге для соединения с отрядом майора Муфеля. Гвардии прапорщик нагнал Гринева, а Самару они уже нашли

занятой Муфелем.

Образ мыслей народа, городского совета, самого бургомистра, протопопа и первостатейных людей ужаснул его: все они участвовали в торжественной встрече Арапова безо всякого на то принуждения, а самарские священники служили в честь Пугачева благодарственные молебны. Бибиков предписал важнейших преступников казнить, «а других пересечь, ибо всех казнить будет много».

Недолго пробыв в Самаре, Державин вслед за Гриневым отправился вниз по Волге.

Это была пора, о которой сам Державин вспоминал впоследствии как о «неприятной комиссии», — день и ночь испытывал он наедине преступников и безо всякого письмоводителя или писца собирал их показания, «в которых они многие непристойные речи изрыгали на высочайшую власть».

Между тем решительными усилиями Бибикова положение переменялось. Если вначале разъезды Пугачева, забравшего одну за другой крепости на Общем Сырту от Яицкого городка до Оренбурга, появлялись по всей левой стороне Волги и правительственные войска не имели вовсе успеха, Карр бежал от страха, полковник Чернышов убит, Фрейман терпел неудачи, то теперь генерал-майор Мансуров твердо стоял на самарской линии, а генерал князь П. М. Голицын запирали дорогу от Казани к Оренбургу. Появилась возможность вернуться к тайному делу, которое так занимало Державина.

По его докладу ночью в кабинет Бибикова был приведен Иван Серебряков.

При виде вельможи в голубой кавалерии и звездах плут с воплем пал перед ним на колена.

— Батюшка наш! Кормилец! Не оставь! — И по его рябому лицу потекла мутная слеза.

Бибиков сузил умные карие глаза:

— Хватит скоморошничать. Этого я, братец, право, не люблю.

Серебряков тут же просох лицом и деловито сказал:

— Ну так вот, ваше высокопревосходительство. Я к вам с собственным важным доношением и бумагою от малыковского помещика подпоручика Максимова...

Повторив все, что он рассказал Державину, бродяга закончил:

— Прежде невода рыбы не ловят. Но как ныне войски для истребления сего изверга пришли, то толпа его будет разбита, а ему придется искать себе убежища тайно. Где же ему лучше найти можно, как не на Иргизе

или Узенях? У его друзей раскольников! Тут-то мы, не хуже, его и сцапаем! Только для сего надобно будет немало средств. Да и людей, тот край знающих. И допреж всех Герасимова и подпоручика Максимова, которым очюнно хорошо ведомы народы тамошнего склонности.

Бибииков быстро пробежал поданные Серебряковым бумаги и коротко приказал:

— Обожди в соседней комнате.

Когда тот вышел, генерал-аншеф оборотился к молчавшему до тех пор Державину:

— Это птица залетная и говорит много дельного... Однако ты его представил, ты с ним и возись. А Максиму его я ни на грош не верю.

Бибииков подошел к карте. Тонкий палец с блистающим бриллиантом заскользил по голубой змеящейся Волге:

— Казань... Симбирск... Самара... Сызрань... Малыковка... Саратов... Отсель на восток очаг мятежников. Иргиз... Малыковка... Узени... — гнездо раскольников сарыни. Здесь мы растянем сети. Итак, друг мой, готовься отъехать в Саратов и там стеречь Пугачева!

Он положил прапорщику руку на плечо:

— В помощники себе возмешь Серебрякова и Герасимова, но рассуждение здравое и твой ум да будут тебе лучшим руководителем. Верю в твои способности, усердие и ловкость, но опасаясь горячности и запальчивости твоей. Памятуй: для снискания и привлечения от тамошних людей доверенности ласковое и скромное с ними обращение всего более успеху нашего дела способствовать будет!..

7 марта 1774 года Державин выехал из Казани. С ним были слуга — гусар из польских конфедератов Андрей Карпицкий и Иван Серебряков. На подорожной стояла печать Бибиикова с девизом: «Vigil et audax» — «Бдителен и смел».

Девиз этот подходил всего более самому гвардии прапорщику.

Постарел, обтрепался и рожею обрюзг недавний непоседа и искатель приключений Максимов. Еще хорохорится, предлагает новые пустые прожекты, да кой в них прок?

Державин сам наметил последовательный план действий: перво-наперво наказал Серебрякову отыскать человека, годного для подсылки к Пугачеву. С этой целью отправлен был на Иргиз дворцовый крестьянин

Дюпин, взявшийся привезти в Малыковку раскольничьего старца Иова, который знал Пугачева в лицо по давней с ним встрече у игумена Мечетной слободы Филарета. На старца возлагалась важная миссия: отвезти в Яицкий городок одобрительное письмо коменданту Симонову, а затем остаться в толпе восставших. Державин научил его рассказать, что прислан он к Пугачеву Филаретом, схваченным и увезенным в Казань. Иову вместе с Дюпиным велено было разузнать, сколько у Пугачева под Оренбургом людей, артиллерии, пороху, снарядов и провизии; ежели его разобьют, куда он намерен бежать; какое у него согласие с башкирцами, киргизами, калмыками и нет ли переписки с какими ни то отечеству неприятелями? Затем разведать, нельзя ли его куда заманить с малым числом людей, дабы его живого схватить можно было? Ежели его живого достать не можно, то убить. Как народ его почитает — за действительного ли покойного государя или знает, что он подлинно Пугачев? Какие действия производят ее величества манифесты и победы на толпу?..

«В случае же их, лазутчиков, неверности, — писал Державин секретной цифирью донесение Бибикову, — чтоб и в этом виде были полезны, наказал я им, что приехал в Малыковку для встречи четырех полков гусар, идущих из Астрахани... Сие велел разглашать с намерением, которого никому не открывал, чтоб в случае предприятия злодейского устремиться к Иргизу и Волге, где никаких войск не было, удержать их впадение во внутренность империи...»

Рыластый Максимов просунулся в горницу:

— Гаврило, душа моя! Тут до тебя Серебряков с Герасимовым...

— Зови, а сам нам не мешай!

За хмурым, точно невыспавшимся, рябым Серебряковым вскользнул Герасимов: мордочка лисья, умильная, глазки масляные, борода красно-желтая.

Державин поднялся. Гвардейский рост мешал ему в низкой горнице.

— Будьте неотлучно на Иргизе и Узенях, чтоб предупреждать сообщение с Пугачевым и ловить его лазутчиков. Выставьте особых надсмотрщиков на дорогах и перевозах. В случае же ожидаемого поражения Пугачева примечайте, не появится ли он между жителями. Все понятно?

— Премного благодарны, ваше благородие! — высунулся Герасимов.  
— Желательно только денег на дачу подлазчикам поболее...

— Денег дал, сколь казна отпустила. — Державин еще раз оглядел своих подзираев: истинно — волк с лисою. Но все равно надежнее, чем старец Иов. Ох этот старец! Раскуси-ка его попробуй! Впрочем, и эти

хороши. Предать не предадут, а карманы свои набить краденым да грабленным постараются... Нахмурившись, добавил строго: — Словом сказать, чтобы уши ваши и глаза были везде, дабы через нерадение не упустить того, чего смотреть должно. Исполнять же сие так, чтоб никаких на вас жалоб не было. Нигде ничего не брать, ибо должность ваша оказать свое усердие состоит токмо в пронырливых с ласкою поступках, и то весьма скрытных, а не явным образом.

— Да куда нам с им кого обидеть... — потупил рожу Серебряков. — Разиня растяпе в рот, не хуже, заехал... Небось, барин, ничего худого не сотворим! Чай, не первый день знакомы...

— Знаю я тебя, пролаза! — оборвал его Державин. — И еще заруби себе на носу: нигде жителей никак не стращать, но еще послаблять им их язык, дабы изведать их сокровенные мысли. Уговаривать, чтоб они ничего не боялись и оставались бы на своих местах. А ежели можно, то подавать еще искусным образом и повод, чтоб они привлекали к себе желанное нами. Поступайте так, чтобы вам, как казалось, ни до чего нет дела, в противном случае вы принудите о себе мыслить и догадываться, что вы не просто разъезжаете... Ну, с богом!..

В Малыковке Державина беспокоило многое: стоявший на Иргизе капитан Лодыгин нехоти пугал народ казнями и виселицами, мог только разогнать жителей и все напортить. Прапорщик жаловался Бибикову: «Не прикажете ли ему остаться в своем доме и помолчать? А если он надобен, то, по крайней мере, сообщали бы мне, что он намерен делать». Бибиков без промедления отвечал своему любимцу: «Капитана Лодыгина не терпите. Я к нему посылаю при сем ордер, чтоб он или в доме своем остался и жил бы спокойно, или ехал бы в Казань. Ежели же он не поедет, то имеете отправить его под присмотром». Серебряков с Герасимовым донесли вскорости о том, что Пугачев, желая привлечь себе в помощь киргизцев, обнародовал манифест, обещая им за то Яицкую степь до Волги. Ожидалось, что они начнут набеги на приволжские поселения. Державин тотчас же решил отправиться в Саратов, где стояла сильная воинская команда, имея на руках письмо Бибикова о чинении ему помощи.

В исходе 773-го года в Саратов был назначен новый начальник — брат известного вельможи, деятельный, строгий и жестокий Петр Никитич Кречетников. Лейб-гвардии прапорщик намеревался попросить у него военной подмоги для ограждения Малыковки.

Ехали в Саратов верхами вдоль Волги с Андреем Карпицким, небольшим, ладным, в гусарском долмане, усы щеточкой. На льду уже повсюду показались прососы, а кое-где вода даже перепрыскивала через



льдины.

Деревянный дом губернатора снаружи не охранялся. Лейб-гвардии прапорщик вошел, кинул в угол шляпу, велел о себе доложить. Его встретили в зале дородный вельможа в генеральском мундире и полковник с огромным носом и усами.

Кречетников наотрез отказался выполнить просьбу Державина:

— У нас свои страхи! Нам ли кидаться солдатами невесть зачем! Верно я говорю, комендант?

Полковник согласно закивал своим страшным, точно отлакированным, носом.

— Вот письмо его высокопревосходительства генерал-аншефа и российских орденов кавалера господина Бибикова... — начал было прапорщик.

По холеному лицу вельможи прошла тень:

— Мне Алексей Ильич не указ!

— Ах даже так! — Державин заносчиво повысил голос: — Смотрите, ваше превосходительство, как бы вам это не зачлось!

— А я вот возьму да прикажу сейчас полковнику Бошняку, — надулся до красноты вельможа, — и он за предерзостные сии речи отправит вас, прапорщик, в холодную!

— Я гвардейский офицер! — отрывисто отпарировал Державин. — И при таком намерении готов лишить вашего коменданта его пышного украшения. Но, извините, побрею его не бритвою, а шпагой! Честь имею!

Черные усищи Бошняка поползли вверх. Державин круто повернулся, сгоряча вылетел на улицу без шляпы. Карпицкий ожидал его перед губернаторским домом:

— Где пан думает остановиться?

— Поедем-ка, Андрей, назад в Малыковку! Здесь нам, видать, делать нечего!..

Страшный удар между лопаток едва не повалил его. Он обернулся, чтоб хватить обидчика кулаком, и... увидел такое знакомое и такое добродушное красное лицо.

— Петруха, черт!

Гасвицкий оглушительно захохотал:

— Гаврила! Братуха!

Они долго давили друг друга в объятиях.

— Повздорил я с вашим новым губернатором, — снова помрачнел прапорщик. — А мне позарез нужен хоть небольшой отряд...

— Да, это преизрядный задавала. И комендант не лучше, — своим

добрым толстым голосом пророкотал Гасвицкий. — Я его в магистрате тут чуть не смазал... А не пойти ль тебе в контору опекунов? Начальник ее, бригадир Лодыженский, — добрый мой приятель...

Коллегия опекунов иностранных, учрежденная в 762-м году для устройства немецких и прочих колонистов, подчинялась непосредственно Питербурху, точнее, ее президенту графу Григорию Орлову.

— Это дельно! — воспрял духом Державин. — Мой благодетель господин Бибилов и об этом в письме помянул. Да, вишь, стычка с вашим индюком из меня всю память вышибла...

— А после разговору с бригадиром заходи ко мне. Гляди — четвертый от угла дом. Городок наш небольшой, всего восемь тысяч жителей, не то что Москва. Так что не заблудишься...

Державин вернулся в Мальковку, получив согласие Лодыженского выделить для его нужд фузелерную роту. Обстановка меж тем непрестанно менялась на всем обширном театре. 31 марта прапорщик получил весьма благоволительный ордер Бибилова с известием: «Злодей генералом Голицыным под Татищевой совершенно разбит...» Это был поворот во всей войне 1773–1774 годов.

Князь Петр Михайлович Голицын, сын знаменитого петровского генерал-адмирала, участвовал под началом Бибилова в польской кампании 1769–1772 годов, а затем в русско-турецкой войне. Когда 22 июня 1773 года в разгар сражения под Кучук-Кайнарджи погиб знаменитый генерал Вейсман, Голицын принял на себя командование и довел битву до полного разгрома корпуса Нуман-паши.

Возглавивший Крестьянскую войну Пугачев заставил дворянскую империю считаться с собой как с грозной силой. Против него были двинуты лучшие боевые генералы: Бибилов, Голицын, а позднее и сам Суворов.

11 марта 1774 года Голицын соединился с Мансуровым на Самарской линии и пошел к Оренбургу, путь на который запирала крепость Татищевая. Собрав до 8 тысяч повстанцев при 36 пушках, Пугачев решил дать здесь 22 марта бой главным карательным силам. Сражение, отличавшееся необычайным упорством, длилось более шести часов. Удивленный Голицын доносил Бибилову: «Дело столь важно было, что он не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть побежденные бунтовщики». Потеряв всю артиллерию, до 2500 убитыми и 3 тысяч пленными, Пугачев бежал за реку Сакмару, где Голицын настиг его и разбил вторично. С несколькими сотнями повстанцев крестьянский царь ушел на уральские заводы.

Шестимесячная осада с Оренбурга была снята...

— Ни на час не откладывая, итить освобождать Яицкий городок! Комендант Симонов с командой, как ведомо мне, едва живы от голоду и не имеют уже вовсе снарядов... — Державин обвел взглядом сидевших в горнице: капитан Елагин, прибывший от Лодыженского с двумя сотнями солдат и двумя пушками; храбрый до дерзости Андрей Карпицкий; готовый ввязаться в любое прибыльное дело плутяга Максимов. — Ты, братец, — обратился к нему Державин, — обеспечишь нас на первый случай провизантом. Рыльце-то у тебя еще со времен Черня в пушку. — Максимов при сих словах сделал на всякий случай удивленные глаза. — И ежели сейчас пожертвуешь казне хоть сто четвертей муки, сие на твоей судьбе сказаться не замедлит!..

На другой день маленькое войско начало трудную переправу через разлившуюся Волгу. Державин вооружил полторы сотни малыковских крестьян и, кроме того, полагал присоединить на Иргизе донских казаков конторы опекунов.

С высокого левого берега прапорщик следил, как перевозят в лодках кули с максимовской мукой. К нему подскочил на мохнатой казачьей лошадке Карпицкий.

— Гаврила Романыч, объявился Иов... С письмом генерала Мансурова...

Старец — борода с прозеленью, взгляд уклончивый — поклонился в пояс, подал пакет.

Прочитав ордер, Державин с сожалением сказал Карпицкому:

— Вели, Андрей, моим именем переправляться назад. Его превосходительство Мансуров сам уже Яик освободил... — и оборотился к Иову: — Ну, старец, сказывай, почто от тебя вестей никаких столь долго не было?

— Под стражею, батюшка, под стражею у злодеев находился... — запричитал Иов, зорко поглядывая на офицера. — Чего только не натерпелся — одному господу ведомо. А Дюпина с моим тебе письмом пугачевцы по дороге умертвили... Меня-то самого едва еeneral Мансуров из челюстей смерти вырвал...

Рассказ Иова о его похождениях был сбивчив и путан. Прапорщик не верил ни единому его слову. «Как он раскольник, — размышлял Державин, — а они все подозреваются в доброжелательстве злодею, то не было ли от него вместо услуги каких пакостей?»

— Ладно! — порешил он. — Останешься покамест при мне, а там я тебе дело найду...

В Малыковке Державина ожидало сразу два известия. Одно было до крайности приятным: он был произведен за усердие и храбрость в гвардии поручики. Однако второе повергло его в печаль. Только теперь он узнал, что еще 9 апреля в Бугульме скончался Бибиков.

«Он был крайне болен, — предварял сообщение о смерти генерал-аншефа адъютант его штаба Бушуев, — и вчерашний вечер мы были в крайнем смущении о его жизни, но сегодня смог он подписать все мои бумаги с великим трудом. Он приказал о сем таить, однако ж я, по преданности моей к вам, не могу от вас того скрыть». Бибиков сам прекрасно понимал свое положение и за два дня до кончины писал по-французски Екатерине II: «Если бы при мне был хоть один искусный человек, он спас бы меня; но, увы, я умираю вдали от вас...»

Сквозь слезы на лице глядел Державин на грозное, клубящееся дымными горами весеннее небо. Он привязался к Бибикову, полюбил его как отца — за мужество, твердый нрав и доброе сердце, за благоприветливость и безмерную заботу о подчиненных. Не стихи, а слова признательности приходили нестройною толпою:

*Не показать мое искусство,  
Я днесь теперь пишу стихи,  
И рифм в печальном слоге нет здесь;  
Но вздох, но знак, но чувство лишь  
Того тебе благодаренья,  
В моем что неуместимо сердце,  
Я здесь изобразить хочу.  
Пускай о том и все узнают:  
Я сделал мавзолей сим вечный  
Из горьких слез моих тебе.*

После поражения под Татищевой Пугачев бросился через Общий Сырт к селениям и заводам на реке Белой, но подполковник И. И. Михельсон понудил его вернуться к Пику. Тогда, овладев крепостью Магнитной, крестьянский царь перешел через Уральские горы в киргизскую степь и взял несколько укреплений по Уйской линии. Однако 21 мая под крепостью Троицкая увеличившаяся до 11–12 тысяч человек при 30 пушках

пугачевская армия была наголову разбита генералом де Колонгом. Как сообщал де Колонг, «сколько сам злодей ни усиливал свои отчаянные силы, разъезжая на подобие ветра, удержать и удерживать, однако, остался рассыпанным так, что вся толпа его раздробилась на малые партии и в разные дороги принуждена обратиться в бег». Потеряв до четырех тысяч только убитыми, три тысячи пленными и лишившись 28 пушек, Пугачев на следующий день был настигнут Михельсоном и снова потерпел поражение. Он ушел лишь с осмью казаками и пропал из виду.

Принявший после кончины Бибикова воинскую команду и казанскую секретную комиссию, князь Щербатов ожидал, что теперь-то Пугачев кинется к Узеням, и торопил Державина укрепить пикеты по обеим сторонам Волги, составить от Иргиза до Яика цепь из фузелерных рот и донских казаков. Снова тревожно стало на Средней Волге. После занятия Мансуровым Яицкого городка казаки, ушедшие в степи, подняли восстание среди оренбургских и ставропольских калмыков. Теперь уже Кречетников, недавно еще издевавшийся над Державиным, посылал ему из Саратова одно письмо за другим, взывая о помощи.

Каратели расправлялись с захваченными повстанцами. В Оренбурге скопилось так много колодников, что из Казани выехала специальная комиссия во главе с Луниным и Мавриным. В Малыковке Державин с утра до ночи разбирал дела плененных пугачевцев. Серебряков привез с Иргиза очередную партию несчастных. Иные облыгали друг друга, но большинство держалось твердо, удивляя гвардии поручика силою духа.

Серебряков ввел очередного пленника — яицкого казака, заросшего до самых глаз черным волосом.

— Переветник его глупского величества... — тяжело глядя на пугачевца, доложил он. — Допрошен на Иргизе. Очюнно врёт и сам не ведаёт что... Будешь говорить правду?

Охрак кровию был ему ответом.

— Это мелкая сошка... Распетлять и высечь простым кнутом. Кто там ещё?

— Злодей Мамаев. Был приближен к самому Пугачеву и творил с ним неслыханные дела.

Мамаев, тощий, борода с сивизной, был уже так замучен допросами, что совсем запутался в показаниях. Он еле держался на ногах, и от побоев в горнице его сгадило. Сперва он признался Державину, что служил у Пугачева кабинетным секретарем, что вместе с ним они бежали из Казани и по дороге заезжали к игумену Филарету, что посылали в Санкт-Петербург двух яицких казаков, желая известить императрицу и великого

князя, а других — в Казань, чтоб отравить Бибикова...

— Вот, барин, какого я тебе изверга-то доставил... — улыбнулся всем своим страшным рябым лицом Серебряков. — Небось и меня за то, не хуже, наградой не обнесут.

Но, поняв, что бить его не будут, Мамаев тут же начал во всем отпираться.

— Ах, кровопивец! — завопил Серебряков. — Тебе сухим из воды все одно не выйтить! Признавайся ино по-хорошему!

Державин поглядел на Мамаева, который был весь в синевах от побоев, ничего не сказал Серебрякову и вышел в соседнюю горницу. Там под стражею сидел старец Иов. Поручик уже дознался, что со своим товарищем Дюпиным он сам пришел к бывшей под Яицким городком жене Пугачева Устинье, объявил о своем поручении и открыл письмо к Симонову.

— Что, скитник, сибирки ожидаешь? Иди-ко замаливать грехи.

Вернувшись с Иовом, поручик грозно подступился к пленнику:

— Ну вот, ты показываешь, будто бы все наврал на себя напрасно. А ведь вот это старец Филарет. Он сам говорит, что ты с Пугачевым к нему приезжал. Так для чего ты меня обманываешь?

— Нет, я его не знаю!

— Как! Так вы не приезжали ко мне? — уставил на Мамаева хитрые свои очеса Иов. — Побойся бога! Лучше, дурак, скажи правду, так тебе ничего не будет.

— Виноват перед богом! — повалился в ноги Державину Мамаев. — Так и было! Мы с Пугачевым приезжали к нему.

— Ну так врешь, дурак! — рассмеялся поручик. — Теперь я вижу, что ты все тут перепутал. А ведь я чуть не послал твоего вранья в Питербурх, а самого тебя не отправил в колодках в Казань! Сказывай, кем же ты был на самом деле в пугачевской толпе?

— Писарем... — тихо выдавил Мамаев.

— Эх, Серебряков, плачет по тебе каторга! — отрывисто проговорил Державин. — Мало того, что ты грабительски народ грабил, так еще пытку понудил сего писаря на себя поклеп возвести!

— Делал токмо то, что все, барин, делают, не боле, — мрачно прогудел Серебряков, поняв, что проиграл. — А ты погляди-ко лучше, как ваш брат над народом изголяется. Истинно, кому насрано, а вам маслено!

Державин не ответил на дерзость. Он сорвал зло на Серебрякове, но оттого только, что чувствовал себя беспомощным вблизи другого, великого зла и несправедливости.

Вечером он писал казанскому губернатору фон Брандту: «Надобно остановить грабительство или, чтоб сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей. В секретной инструкции, данной мне покойным Алексеем Ильичом, было между прочим предписано разузнавать образ мыслей населения. Сколько я мог приметить, это лихоимство производит наиболее ропота в жителях, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает легковверную и неразумную чернь недовольною и, если сметь говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая свирепствует в нашем отечестве».

Державин томился в бездействии, просил назначения у нового начальника, Павла Потемкина, родственника фаворита. Тот ласково ободрял его: «За лишнее почитаю подтверждать вас, что труд ваш будет иметь должное воздаяние, вы известны, что ее императорское величество прозорлива и милостива, а по мере и важности дел ваших, будучи посредником дел, не упущу я ничего предоставлять ее величеству с достойной справедливостью». Так же благосклонны к поручику были князь Щербатов, генералы Голицын и Мансуров.

Меж тем события приняли внезапно совершенно неожиданный оборот: сызранский воевода Иванов сообщил Державину о разорении Казани. Пугачев, разбитый, исчезнувший, вновь усилившись, устремился с уральских заводов к Каме и ворвался в Казань.

«Что с матушкой? — захолонуло сердце у Державина. — Жива ли? Не изведена ли собственной дворней?» Он только что получил из Саратова письмо Гасвицкого, который извещал между прочим о произошедшем в соседней с его имением деревне Пополутовой: после приезда туда двух казаков здешняя помещица по жалобе крестьян была высечена плетью, причем «крестьяне все ее били же», а затем казнили; троих ее малолетних дочерей крестьяне забрали «на воспитание», а скот и пожитки поделили. Державин не мог знать того, что Фекла Андреевна попала к Пугачеву в плен, пробыла короткое время в многотысячной толпе, которую он великим протяжением влек за собой, и была спасена Михельсоном, поспевшим к Казани. Не только ее городской дом, но и имения, как казанские, так и оренбургские, были разорены.

С объявлением Пугачева под Казанью стеречь его на Иргизе и Узеньях было вовсе бессмысленно. Решение пришло само — собой. 13 июля 774-го года жестокий пожар истребил Малыковку. Оставив с небольшою командою Серебрякова и Герасимова, Державин отъехал в Саратов.

В городском магистрате для обсуждения создавшегося положения собралось начальство штаб- и обер-офицеры и прочие значущие чины Саратова.

За отсутствием Кречетникова, отсиживавшегося в Астрахани, спор за главноначалие разгорелся между управляющим конторою колонистов статским советником Лодыженским и полковником Бошняком. Лодыженский носил чин бригадира и звание главного судьи опекунской конторы, то есть был выше коменданта. Но упрямый Бошняк, сын приехавшего при Петре Великом с князем Кантемиром грека, почитал его за человека сугубо штатского, в огневых делах несведущего и подчиняться ему не желал.

Державин, напомнив, что Пугачев перешел уже на правый берег Волги, выразил свою тревогу:

— Народ в городе от казанского несчастья в страшном колебании. Должно сказать, если в страну сию пойдет злодей, то нет надежды никак за верность жителей поручиться...

— Саратову опасности быть не может! — отрезал Бошняк.

Гвардии поручик, пришепеливая от волнения, повысил голос:

— По тайному слуху все саратовцы ждут чаемого ими Петра Федоровича! Ни разум, ни проповедь о милосердии всемилостивейшей нашей государыни, — ничто не может извлечь укоренившегося грубого и невежественного мнения. Нужно нескольких преступников в сей край прислать для казни. Авось невиданное здесь и страшное позорище даст несколько иные мысли...

— Перестаньте нас стращать! — Бошняк тронул свой пышный ус, взглянул на Державина и, вспомнив угрозу побрить его, еще более сердито заговорил: — Я получил бумагу от князя Щербатова, что Пугачев Михельсоном совершенно разбит и так стремительно бежит к Курмышу, что почти всех своих оставляет на дороге, а сам убирается на перекладных лошадях!

Степенный, медлительный Лодыженский поднялся с лавки:

— Опасность не только не миновала, но еще умножилась. Офицер из Пензы сегодня известил меня, что самозванец с огромною толпою уже в пятидесяти верстах от Алатыря. А оттоль до Саратова менее четырехсот верст...

— Ну и что ж? — крикнул комендант, прозванный в городе



«пречестные усы». — Возобновим городской вал и будем на месте ожидать злодея...

Державин перебил его:

— В столь короткое время Саратов по его обширности укрепить не можно! Необходимо регулярным частям выйти навстречу Пугачеву, а казенные деньги и жителей укрыть в земляном укреплении, план коего составил господин бригадир Лодыженский.

— Не могу оставить города, церквей, острогов и складов вина на расхищение злодеям! — упрямо твердил Бошняк.

Проспорив весь день, чины разошлись ни с чем. Державин срочно поскакал в Малыковку: вооружить крестьян для встречи Пугачева или поимки в случае его разбития. Его нагнало письмо Гасвицкого: «Все здешние господа медлители состоят в той же нерешительности, а пречестные усы в бытность мою вчера в конторе благоволили обеззаботить всех нас своим упрямством, причем некоторые с пристойностию помолчали, некоторые пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойного сна, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх: авось подействуют всего лучше ваши слова и тем успокоятся жители...»

Пугачев приближался к Саратову, и силы его сказочно росли. В смятении Павел Потемкин доносил Екатерине II: «Слабости правителей и мест суть виною, что злодей, будучи разбит, бежал как отчаянный и мог вновь сделаться сильным. В Кокшайске он перебрался через Волгу с 50-ю человек, в Цыvilьске он был только во 150; в Алатыре в 500; в Саранске около 1200, где достал пушки и порох; а в Пензе и в Саранске набрал более 1000 человек и умножил артиллерию и припасы. Таким образом из беглеца делается сильным и ужасает народ».

Державин поспешно воротился в Саратов, где не нашел никакой готовности к отражению Пугачева. По настоянию поручика было проведено новое собрание в магистрате, на которое Бошняка не пригласили.

— Комендант явным делается развратителем народа и посеивает в сердце их интригами недоброхотство! — заявил Державин. — Я требую безотлагательно от магистрата строить укрепления и приготовиться к защите до последней капли крови! Кто обнаружит недостаточное усердие, будет объявлен изменником и отослан, скованный, в секретную комиссию!

Гасвицкий прочел составленное офицерами города определение против Бошняка:

— «Как комендант, с 24 июля продолжая почти всякий день

непонятные отговорки, поныне ни на чем не утвердился и потому к безопасности города никакого начала не сделано и время почти упущено, то все нижеподписавшиеся согласно определили: несмотря на несогласие коменданта, по вышеписанным учреждениям господина бригадира Лодыженского делать непрерывное исполнение...»

У магистратской избы остановилась повозка, доверху забитая детьми, старухами и скарбом. Из-под этой кучи малы выкатился и вбежал в горницу небольшой господин в старомодном, елисаветинском камзоле. Это был Зилинский — воевода Петровска.

— Самозванец во главе скопища развратных людей идет на Петровск! — пробормотал он, взмахнул коротенькими ручками и снова зарылся в кучу старух и детей. Повозка укатила по Астраханской дороге.

При общем молчании Державин поднялся:

— Надо срочно послать в Петровск казаков. Упредить Пугачева, чтоб он имеющимися в сем городе пушками и порохом не овладел.

Никто из собравшихся к тому своею охотою не вызвался. Тогда гвардии поручик снова нарушил молчание:

— Казаков поведу я!

Он взглянул нечаянно в боковое маленькое оконце и содрогнулся: из окна вдруг выставилась белая, как бы составленная из тумана, адамова голова, которая, казалось, таращила пустые глазницы и хлопала зубами. Державин поприжамурил и открыл глаза — видение исчезло. «К худу», — подумалось ему. Никому не рассказав о привидевшемся скелете, он начал готовиться к опасному походу: выпросил из опекунской конторы сотню донских казаков во главе с есаулом Фоминым, послал команду вперед, а поутру выехал за ней в кибитке с Карпицким и Гасвицким.

На ровной, как стол, степи они еще издали заметили скачущего навстречу солдата: то был курьер Бошняка, сообщивший, что Пугачев уже в пятидесяти верстах от Петровска и намерен в нем ночевать. Державин еще надеялся поспеть хотя бы заклепать пушки и затопить порох. Проехав еще верст пять, стретил он одинокого мужика и учинил ему допрос.

— Отторженец от любезной родины, я скитаюсь по здешней безлюдной пустыне... — уклончиво отвечал путник.

Державин вытащил пистолет:

— Поедешь с нами, и если впереди пугачевская застава, порешу на месте!

Мужик тотчас торопливо заговорил:

— Пугачев, ваше благородие, уже в городе. А до разъездов его и вовсе рукою подать!

Делать было нечего. Державин думал послать имевшегося у него в ординарцах казака, чтоб воротить команду, но ему отсоветовал Гасвицкий:

— Как бы казаки в конвое не перенюхались и не стакнулись, чтоб переметнуться к злодею. Дозволь, Гаврила, поеду я?

Он быстро нагнал сотню и отрядил четверых казаков для разведки в Петровск. Долго они пропадали, потом вернулись и сознались Гасвицкому, что были у Пугачева.

— Господин есаул! — подступился один из них к Фомину. — Мы все воротимся к природному нашему государю!

— Точно! Чай, батюшка Петр Федорович простит нас! — нестройно загалдела сотня.

Гасвицкий понял, что так и будет и что его самого они сейчас намерены схватить, и поскакал прочь. Есаул, маленький, с профилем ястребка, крикнул притворно казакам:

— Ну, ребята! Когда вы меня не слушаетесь, то и я с вами! Только дайте мне попридержать или заколоть офицеров!

Он кинулся в седло и полетел за Гасвицким. А от Петровска уже накатывалась конная толпа, впереди которой крутил над головой саблю широкоплечий и худощавый казак в богатом тафтяном кафтане:

— И-ээх! Детушки мои! Родимые!

Пугачев самолично повел казаков в погору.

Гасвицкий с есаулом во весь дух скакали к кибитке, где сидели Державин и Карпицкий, крича на ходу:

— Казаки — изменники! Спасайтесь!

Державин едва успел вскочить на коня, Карпицкий замешкался. Обернувшись, гвардии поручик увидел, как конная толпа окружила кибитку, и пришпорил шерстистую киргизскую лошадку. Ему было доверено поймать самого Пугачева; судьбе было угодно иное — приходилось напрягать все силы, чтоб не быть схваченным Пугачевым. Позади слышался конский топ и молодецкий казачий посвист. Пугачев гнался за Державиным десять верст, но по прыткости лошадей офицеры начали мало-помалу уходить. В четвертом часу пополуночи Державин с Гасвицким Московской дорогой вернулись в Саратов.

Слева от Соколовой горы, господствующей над всем городом, поперек дороги стояло около двухсот солдат, вооруженных одними кольями. Ими командовали майоры Бутыркин и Зоргер.

— Что сей сон значит? — удивился Державин. — Никак это ратует на Тамерлана некий древний воевода!

— Приказ господина коменданта! — махнул перчаткою Зоргер. — Мы

объясняли ему, что с Соколовой горы нас расстреляют батареи, что место здесь ровистое и удобное для укрытия неприятелю, да что толку!

— А где наши пушки?

— Из двенадцати только четыре исправные, — вмешался майор Бутыркин. — На остальных посбиты зрячки для прицеливания. Дак и то мы дознались, что четыре энти пушки заколочены ядрами. Кинулись за птичьим языком, коим вынимается залежалый заряд, ан и его нет! Ежели бы сие не усмотрели, представляешь, что было бы со всеми нами?

Гвардии поручик ужаснулся и отправился к Бошняку.

— Ваше высокоблагородие! В городе заговор! Вы слышали о происшествии с пушками?

— Это безделица, поручик! — отрезал Бошняк, топорща усы. — Шли учения, и пушкарі учинили то из шалости.

— Так что же вы медлите? — волнуясь и пришепеливая, надвигался на Бошняка Державин. — Необходимо безотлагательно со всею воинскою командою идти навстречу самозванцу! Хоть Пугачев и грубиян, но, как слышно, и он умеет пользоваться военными выгодами!

— Вам здесь делать нечего! — взорвался Бошняк, нагнув голову и словно готовясь проколоть его усами. — Отправляйтесь-ка лучше к себе на Иргиз!

— Как русский офицер не могу оставить город в минуту опасности! — с внезапно пришедшим спокойствием сказал Державин.

Он выпросил роту, не имевшую офицера, и стал с нею впереди вала, у рва, куда свозили со всего города всякий дрызг, рвань и битые глиняные черепы. В Саратове имелось 720 гарнизонных солдат, около 400 артиллеристов и 270 волжских казаков. Державин ожидал подхода собранных им в Малыковке верных полутора тысяч крестьян, которые были уже в пути. Но к середине паркового августовского дня гвардии» поручика разыскал осунувшийся Серебряков:

— Ополчение наше, будучи уже в Чардынске, услышало об измене казаков под Петровском и о неудаче вашей и отказалось идти дальше. Требуют, чтоб вы сами повели их. Не изволите ли поехать поспешнее сами и ободрить проклятую чернь собою? Недалеко от сего места село Усовка бунтует, да и все жительства ненадежны, и мы с ними хотели драться. Кричат по улицам во весь народ, что-де батюшка наш Петр Федорович близко и он-де вас всех перевешает. Боюсь, барин, чтоб и наши того ж не затеяли. Извольте поспешить...

Державин размышлял недолго.

— Отправишься, Иван, навстречу генералу Мансурову, чтобы шел

спасать Саратов! Я поеду в Чардынск.

Гвардии поручик нашел свое ополчение в полном разброде, стал наводить порядок и понял, что идти с ними в Саратов невозможно. Он пробыл в Чардынске ночь, а поутру явился весь искровавленный, почерневший от пороховой гари, в изодранном мундире Гасвицкий:

— Пугачев вошел в Саратов! — На ватных ногах добрался до лавки, рухнул и заснул мертвецким сном.

Вечеру Державин вынул из дорожного погребца штоф водки, рюмки и пошел будить друга. За ужином Гасвицкий поведал о несчастном саратовском деле:

— Вот как было, братуха! По приказу полковника Бошняка построили мы воинский порядок на валу, по обе стороны Московской дороги, расположили имевшиеся пушки, а жителей и казаков, вооружив, чем могли, протянули от нашего левого фланга до буерака. Послали в разведку казаков, но вернулся лишь Фомин, заколов двух преследователей. Пугачев уже приближался с десятью тысячами казаков, крестьян, башкир, калмыков и татар. Казаки подъезжали к валу, стали переговариваться с жителями. Тогда, братуха, бывший бургомистр купец Протопопов посоветовал послать к Пугачеву купца же первой гильдии Кобякова о сдаче города. Бошняк велел мне дать выстрел из пушки картечью. Окружавшие меня останавливали, когда же я выстрелил, закричали, что я сгубил Кобякова. Особенно буйствовали саратовские казаки, стащили с лошади есаула Фомина, так что он упал замертво, и покидались с вала в толпу Пугачева. Воротился Кобяков с запечатанным письмом. Комендант наш разорвал письмо, не вскрывая, и растоптал. Жители громко роптали. Пугачевцы начали огонь из восьми пушек. После десяти выстрелов часть обывателей перебежала к злодею, купечество бросилось в город. Оборону продолжали только артиллеристы и батальонные солдаты, окинувшись рогатками. Вдруг с криком мятежники поскакали вниз с Соколовой горы, поставили против нас пушки, и началась пальба. Перепальный огонь стих. И веришь, братуха, тут вся артиллерийская команда с офицерами, поднявшись, ушла в толпу! Едва успели мы вывезти два орудия, сомкнулись с оставшимися при знаменах солдатами и вышли из укрепления — новая измена! Секунд-майор Салманов, которому было приказано идти с половиною строя в каре, внезапно поворотил со всеми бывшими с ним и тоже ушел к Пугачеву. Нас осталось шестьдесят человек. Под выстрелами, отстреливаясь из ружей, продолжали мы с Бошняком отступление верст шесть, пока не стемнело...

Гасвицкий выпил рюмицу водки, тотчас налил и выпил еще.

— Да передавали мне, Гаврила, что, подзирая твоего Ивана

Серебрякова, пугачевцы перехватили и вместе с его сыном прикончили...

В конце октября 774-го года гвардии поручик ехал в Симбирск к находившемуся там главнокомандующему всеми войсками Казанской губернии графу Петру Ивановичу Панину.

К тому времени народное восстание было потоплено в крови, сам Пугачев схвачен казачьей верхушкой и выдан карателям. Те места, где недавно крестьяне, казаки, башкиры и киргизы оружием хотели добыть себе волю, стали свидетелями жестоких казней. По приказу Панина во всех непокорных селениях были поставлены (с запрещением снимать до указа) по одной виселице, по одному колесу для четвертования и по одному глаголу для вешания за ребро.

Но Державин, проезжая мимо страшных сих сооружений с останками несчастных, не замечал ничего, думая о своем.

Печальные причины понудили маленького офицера на свой страх и риск отправиться к гордому и полномочному начальнику, назначенному Екатериною II на место Бибикова. Недоброжелатели Державина — Кречетников и Бошняк так изобразили его поведение в саратовском деле, что Панин повелел учинить пристрастное расследование.

Обиднее всего было то, что Державин понужден был оправдываться, когда в действительности выказал отчаянную храбрость и усердие, тем самым завоевав признательность покойного Бибикова, Павла Потемкина и Петра Голицына. В сентябре 774-го года он с горсткой гусар отбил у тысячной толпы киргизцев 811 плененных ими немцев-колонистов. «По всему свету эхо пойдет», — отзывался об этом деле Голицын, а прибывший на Волгу генерал-поручик Александр Суворов откликнулся одобрительным ордером: «О усердии и службе ее императорскому величеству вашего благородия я уже много известен; тож и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений...»

Крики, и лай, и грохот, и ржанье, и щелканье бичей на дороге вывели поручика из глубокой задумчивости.

Навстречу ему приближался роскошный поезд: пристяжные соловые лошади с широкими проточинами и гривами по колено, коренные, могучие, как львы; кучера в пудре на облуках остекленных карет, гусары и егеря на

запятках; гончие и борзые, прыгающие на сворах; широкие сани с полостями из тигровых шкур, фореиторы в треуголках, с косами. Его сиятельство граф Панин выехал на охоту.

Поскольку Державин поверх мундира был в простом тулупе и не хотел в сем беспорядке показываться вельможе, то съехал с дороги и пропустил поезд и свиту.

Генерал Голицын был до крайности удивлен смелости его появления:

— Как? Вы здесь? Зачем?

— Еду по предписанию Потемкина в Казань, но рассудил засвидетельствовать свое почтение главнокомандующему.

Красивое, с точеными чертами лицо Голицына побледнело:

— Да знаете ли вы, что граф недели с две публично за столом говорил, что дожидается повеления от государыни повесить вас вместе с Пугачевым!

От такой несправедливой журьбы у Державина дрогнули подколенки, но он отрывисто возразил:

— Ежели я виноват, то от царского гнева нигде уйти не можно.

— Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к Панину являться. Поезжайте-ка в Казань к Потемкину и ищите его покровительства.

— Нет, я хочу видеть графа, — повторил гвардии поручик.

Пришло известие, что Панин вернулся с охоты, и Державин отправился в главную квартиру. На крыльце не счесть пудренных голов, красных камзолов, гусарских, казачьих и польских платьев. Поручик просил доложить о себе. Встретивший его вельможа смотрел сентябрем.

— Видел ли ты Пугачева? — внезапно с гордостью спросил он у Державина.

— Видел, ваше сиятельство! На коне под Петровском, — с почтением ответил гвардии поручик.

Панин позвал Михельсона и повелел привести Пугачева. Державин понял, что граф тем самым хотел как бы укорить его за то, что он со всеми своими усилиями и ревностью не поймал самозванца.

Через несколько минут ввели Пугачева, в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, черные, склокоченные, глаза большие, черные же на соловом лазуре, как на бельмах.

— Здоров ли, Емелька? — подступился к нему Панин.

— Ночи не сплю, батюшка, ваше графское сиятельство, — глухо ответил пленник.

— Надеемся на милосердие государыни! — важно сказал Панин, оттопырив полные губы, и повелел отправить пленника обратно.

Как бы позабыв про Державина, граф повернулся к нему спиною и ушел за столы ужинать. «Ишь, сердит-ка, — подумалось поручику, — но ведь я гвардии офицер и имел счастье бывать за столом с императрицею». С этой мыслию он без особого приглашения вместе с прочими штаб-и обер-офицерами прошел в залу и сел за столы.

Почти в самом начале ужина Панин кинул взором сидящих, увидел и Державина, нахмурился и, по своей привычке часто заморгав, поспешливо встал из-за столов, сказав, что позабыл отправить курьера к государыне. Поручик сие принял за грозный знак, но сдаваться не хотел.

На другой день до рассвету Державин снова явился на квартиру главнокомандующего и просил камердинера доложить о приходе своем его сиятельству. В приемной галерее мало-помалу собирался генералитет и офицеры. Наконец, по прошествии нескольких часов, около обеда, Панин вышел из кабинета. Он был в сероватом атласном, широком шлафроке, французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами, глядел скося, маленький пухлый рот был гордо поджат.

Когда Панин проходил мимо него, Державин с почтением взял его за руку и сказал:

— Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовольственный ордер. Беру смелость объяснить!

Граф удивленно поглядел на него серыми проницательными глазами и велел идти за собой. Проходя анфиладою комнат в кабинет, Панин гневно бранил гвардии поручика за его действия в Саратове и неуважительное обхождение с комендантом Бошняком.

— Это все правда, ваше сиятельство! — переждав окрики, отвечивал с твердостью Державин, чувствуя, как прихлынули к нему в решительный миг силы. Ах! Ведь правду о себе и других в сем свете высказать можно только в виде самой грубой лести! — Я виноват пылким моим характером, но не ревностной службою. Кто бы стал обвинять вас, ваше сиятельство, что, быв в отставке, на покое, из особенной любви к отечеству приняли вы на себя в толь опасное время предводить войсками, не щадя своей жизни! Так и я, когда все погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.

Что-то дрогнуло в лице вельможи, и внезапно слеза пролилась из его глаз.

— Садись, мой друг, — сказал поручику Панин. — Я твой покровитель!



Камердинер доложил, что генералитет и штаб-офицеры желают его видеть. Отворились двери, и в кабинет вошли князь Голицын, генералы Огарев, Чорба, полковник Михельсон. Голицын вскинул на него темные с поволокою глаза, желая понять, что произошло; Державин с веселым видом отвечивал, что гроза миновала. За обедом Панин показал ему место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая про прусскую Семилетнюю войну, потом про турецкую и более всего о взятии под его предводительством Бендер в 770-м году, чем он весьма превозносился.

После обеда перешли за карточные столы. Панин сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и секретарем своим, в коем поручик узнал прежнего директора Казанской гимназии Веревкина. Он уже приметил сильное любочестие и непомерное тщеславие сего вельможи, но его слабостию не умел или не хотел воспользоваться. Державину уже казалось, что опасного обороту никакого быть не может, а как он не желал тут попусту зевать, то подошел к графу и спросил его:

— Ваше сиятельство! Не будет ли каких приказаний? Я сейчас еду в Казань, к генералу Потемкину...

Панин переменялся в лице.

— Нет, — холодно сказал он и отворотился от поручика.

Всю осень 774-го года Державин провел на Иргизе, в тамошних скитах для сыску раскольничьего старца Филарета. Там поручик по неосторожности простудился и получил сильную горячку, от которой едва не умер. По выздоровлении он не был допущен, как прочие его сотоварищи, гвардейские офицеры, в Москву и весну и часть лета 775-го года провел в немецких колониях праздно. Наконец прибыл ордер, повелевающий явиться и Державину в первопрестольную. В дороге ему передали лестное приглашение от герольдмейстера князя Михайлы Михайловича Щербатова, получившего от государыни державинские реляции для сохранения в архиве с прочими бумагами текущего века.

При свидании с ним князь сказал:

— Вы несчастливы, поручик! Граф Петр Иванович Панин — страшный ваш гонитель! При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя дерзким и коварным...

Как громом пораженный, Державин только и мог молвить:

— Когда ваше сиятельство столь ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оногo в мыслях всемилостивейшей государыни!

— Нет, сударь! — отвечивал Щербатов. — Я не в силах подать вам какой-либо помощи. Граф Панин ныне при дворе в великой силе, что я противоборствовать ему никак не могу...

— Что ж мне делать?

— Что вам угодно, — потупился князь. — Я только вам искренний доброжелатель.

Приехав на квартиру и размыслив неприязнь к себе сильных людей, Державин пролил горькие слезы.

Итак, надобно было все начинать сызнова. Бедность вновь стучалась к нему в двери. И даже не бедность — разорение. Перед отъездом в Казань поручик по простодушию своему поручился за знакомого гвардейского офицера, который не только не расплатился с долгами, но в уклонении от платежа бежал невесть куда. Банковское взыскание было обращено на Державина, а материнское имение взято под присмотр правительства. Военная карьера была оборвана. Державин, который мог своими сообщениями двигать корпусами генералов, посылать лазутчиков, казнить смертью, допустил строевую оплошность, командуя ротой, наряженной на дворцовый караул. Сам Румянцев, великий полководец, но в отношении ученья и щегольства солдат великий педант, наблюдая из окна, любопытствовал, что за растяпа отдает толь неверные команды.

За это несчастное для себя время Державин только и успел сделать, что написал тощую рукопись под названием «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читала-Гае 1774 года».

## Глава третья ВОСХОЖДЕНИЕ



*Как сон, как сладкая мечта,  
Исчезла и моя уж младость:  
Не сильно нежит красота,  
Не столько восхищает радость,  
Не столько легкомыслен ум,  
Не столько я благополучен:  
Желанием честей размучен;  
Зовет, я слышу, славы шум.*

*Державин. Ода на смерть князя Мещерского*

У Хераскова, на Моховой, в его огромной московской квартире при университете собрался весь литературный Питербурх: еще не отшумели

празднества в первопрестольной по случаю мира с турками. Здесь были секретарь Никиты Панина, чиновник коллегии иностранных дел Денис Иванович Фонвизин; библиотекарь и личный чтец императрицы Василий Петрович Петров, только что вернувшийся из Англии, где он переводил «Потерянный рай» Мильтона; питомец Московского университета и ученик Хераскова Ипполит Федорович Богданович, выпустивший недавно том изящных виршей «Лира». И вельможа, известный двору и литературе, управляющий российскими театрами Иван Перфильевич Елагин, насмешник, волокита, гастроном, секретный доверенный государыни по амурным делам и фанатик-масон. Впрочем, масонами были чуть не все. Московская знать — Голицын, Трубецкие, Лопухины, Щербатовы, сам директор университета Херасков и его ученики.

Перед обедом гостей увеселяли песенками, среди коих наибольший успех достался написанной Богдановичем: «Пятнадцать мне минуло лет...»

За столом разговор вертелся вокруг поэзии, воспевавшей триумф русского оружия. Завладевший вниманием Елагин (который при этом не забывал, почавкивая, уничтожать одно блюдо за другим) громко бранил современных стихотворцев:

— Сколько грому, и треску, и пустого вздору у нас в торжественных одах! — Он с прищурью поглядел на Петрова. — Не буду хулить некоторые вирши, хотя и мог бы сказать кое-что о «Хвалебной оде на войну с турками». Впрочем, это сделал за меня эпитафист...

Послышались смехи. По Москве ходила злая эпитаграмма на Петрова — Василья Майкова: «Довольно из твоих мы грома слышим уст. Шумишь, как барабан, но так же ты и пуст». Маленький росточком Петров, сам назвавший себя «карманным ее величества стихотворцем», побагровел, но из-за стола не вышел. «Наберу силу, ужю тебе! А сейчас погожу», — читалось на его круглом лице.

— Спору нет, и о возвышенном в самых благородных тонах сказать можно. Да вот наш хозяин написал же! И толь величаво: «Коль славен наш господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, в былинках на земле велик...» Но иным уж и впрямь русского языка не хватает! — продолжал, все более воодушевляясь, вельможа и даже отложил вилку с насаженной на нее ряпицей индейки. — Неизвестный мне Капнист, представьте, изъясняется в любви к отечеству по-французски!..

При сих словах восторженно сучавший в конце стола гвардии поручик Державин. Воротившись в Москву, он сошелся с Капнистом еще теснее, чем в Питербурхе: вместе сживали они над стихами, пособляли друг другу, и русский подстрочный перевод оды Капниста на Кучук-

Кайнарджийский мир, которую помянул Елагин, поручик писал своей рукой.

— Но всех наших одописцев, признаться, трескотнею своей затмил какой-то Державин. — Елагин переложил вилку в правую руку и замахал ею, словно капральскою палкой, держа в левой листок:

*Богини, радости сердец,  
Я здесь высот не выхваляю:  
Помыслит кто, что был я льстец;  
Затем потомкам оставляю  
Гремящу, пышну ону честь:  
Россия чувствует, налоги,  
Судьбы небес как были строги  
Монархини сей дух вознесть...*

Сидевшая рядом с Елагиным дородная супруга Хераскова слегка нажала туфелькой ногу вельможи, но тот ничего не почувствовал. Поднеся листок к близоруким глазам и уже воспалившись, он принялся разносить неизвестного стихотворца:

— Нет, вы поглядите, сколь нелепы и сумбурны выражения сей оды: «Магмету стерла роги»! «Всех зол зиял на нас, как ад»! Ужли это по-русски? А высокопарности?

*Уже дымятся алтари  
Душе превыспренней, парящей,  
Среди побед, торжеств зари  
Своим величеством светящей...*

Хераскова, видя, как зарделся Державин, начала пинать под столом Елагина, но тот не догадывался и, дрягая в ответ ногой, продолжал свое. Обед кончился. Только тогда Херасковы рассказали обо всем Елагину; вельможа смутился. Принялись искать Державина, но того и след простыл.

Прошел день, другой, третий: Державин противу своего обыкновения не показывался Херасковым. И между тем, как они тужили и собирались навестить оскорбленного поэта, Державин с веселым видом вошел к ним в гостиную. Обрадованные хозяева удвоили к нему свою ласку и зачали спрашивать, отчего он пропал.

— Два дня, друзья мои, — отвечал поручик, — сидел я дома с затворенными ставнями и все горевал о моей оде, в первую ночь даже глаз не сомкнул. А сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной им оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание. Я так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо от него к вам!..

Ода «На великость», которую разобрал Елагин, вошла в первую книжечку Державина «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года», напечатанную без имени автора при Академии наук и выпущенную в продажу в начале 1776-го года. Само название «Читалагай» или «Шитлагай» носил один из холмов против колонии Шафгаузен, на Волге. На вершине этого холма в пугачевщину стоял артиллерийский отряд, вытребованный Державиным из Саратова. Живя в колонии, поручик нашел у немцев сочинения короля Фридриха II и вздумал перевести некоторые из них. Всего в книжечке восемь од: четыре переводные (в прозе) и четыре оригинальные — «На великость», «На знатность», «На смерть генерал-аншефа Бибикова» и «На день рождения ее величества» (то есть Екатерины II). Оды эти, бесспорно, далеки от совершенства — язык их тяжел и неправилен, корявые и высокопарные обороты переполняют строфы. Дала себя знать дурная подготовка Державина, отсутствие упорядоченного образования. Только одну из них — «На смерть Бибикова» — он включил затем в собрание своих произведений. Но недостатки державинских стихов лишь резче подчеркивают творческую смелость поэта, обратившегося к знаменитым историческим событиям и фигурам — Екатерине II, Румянцеву, Бибикову. Удивляют глубокие и оригинальные суждения. Державин продолжает размышление любимого им Ломоносова и скрыто полемизирует с его одой, посвященной восшествию на престол Екатерины II, где, в частности, сказано:

*Услышьте, судии земные  
И все державные главы:  
Законы нарушать святые  
От буйности блюдете вы...*

В оде «На великость» Державин, обращаясь к той же Екатерине II, задается вопросом: а имеет ли земной судия человеческое право на то, чтобы ограждать от произвола законами подданных? Сам поэт столь много

страдал — от бедности и притеснения сильных, и потому он чувствует, что право давать другим законы также надо выстрадать, обрести мудрость, пройдя через беды и невзгоды:

*Услышьте, все земны владыки  
И все державные главы,  
Еще совсем вы не велики,  
Коль бед не претерпели вы!*

Сам Державин очень сурово отнесся к собственным ранним опытам, отмечая, что оды эти «писаны весьма нечистым и неясным слогом». Иначе восприняли их современные ему поэты, например И. И. Дмитриев, сказавший впоследствии Державину: «Я всегда любил эти оды... ты уж и в них карабкаешься на Парнас». Он нашел, что в этих стихах «уже показывалась замашка врожденного таланта и главное свойство его: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях».

Недаром даже в позднейшей оде «Вельможа» мы встретим несколько отрывков, почти без изменения перенесенных Державиным из оды «На знатность». В том числе и такие дышащие благородством строки:

*Я князь, коль мой сияет дух,  
Владелец — коль страстьми владею,  
Болярин — коль за всех болею,  
Царю, закону, церкви друг.*

В безуспешных хлопотах проходило время. Меж тем завершились дни празднеств и на участников отгремевших войн пролился дождь наград. Не были обойдены и недавние товарищи Державина по секретной комиссии: гвардейские офицеры Маврин, Сабакин и Горчаков получили значительные имения в Полоцкой провинции. Поручик порешил действовать отважнее и обратиться с просьбицей к фавориту, графу и полуполковнику Преображенского полка Григорию Александровичу Потемкину.

Перечислив эпизоды, в коих он отличился, Державин писал своему командиру: «От всех генералов, бывших с начала сей экспедиции, за все

мои похвальные дела имею похвальные ордера. Сверх сего, в Казани и в Оренбургском уезде лишился всего... имения, даже мать моя была в полону. Я два раза чуть не был в руках Пугачева. Потерял все, а пользоваться монаршею милостию, взять из новоучрежденных банков не могу, потому что я под деревни мои должен в банк. Вот обстоятельства под команду вашего сиятельства служащего офицера. Для него я обижен перед ровными мне? Дайте руку помощи и дайте прославление имени своему».

Потемкин жил в те поры под Москвой вместо с Екатериною II, в маленьком, не более шести комнат домике, — императрица купила у князя Кантемира его деревню Черная Грязь. Приехав туда, Державин нашел при дверях вельможи камер-лакея, который воспрещал вход в уборную, где Потемкину чесали волосы. Поручик смело отстранил лакея со словами:

— Где офицер идет к своему подполковнику, там ему никто препятствовать не может!

Громадный Потемкин сидел в пудер-мантиле, из которого торчали только мясистые, несмотря на молодое лицо, щеки.

Он уставил единственный сверкающий глаз на Державина. Поручик сказал свое имя и подал письмо. Фаворит пробежал глазом бумагу:

— Ступай! Я доложу государыне...

Через несколько дней, во время полкового ученья, Державин напомнил о себе Потемкину, и тот сказал, что императрица наградит его 6 августа, в день преображения, когда изволит удостоить обеденным столом штаб-и обер-офицеров Преображенского полка.

В назначенный день царил теплынь, и в Черной Грязи столы были выставлены прямо на воле. В ожидании торжества Державин слонялся между военного парода и увидал вылезавшего из кареты Петра Михайловича Голицына. Тридцатисемилетний генерал-аншеф сам подошел к своему любимцу. Державин начал жаловаться на судьбу, рассказал, что оренбургское его именье вконец расстроено поборами, учиненными командою подполковника Михельсона.

— Жили у меня в деревне, яко в съезде месте, недели с две. Съели весь хлеб молочный и немолочный, солому и овес, скот и птиц. И даже сожгли дворы и разорили крестьян до основания, побрав у них одежду и все имущество...

Голицын нахмурил свое красивое лицо:

— Сколько ж ты хочешь?

— Надлежало б тысяч до двадцати пяти...

— Э, братец, это пустое, Могу дать тебе квитанцию только на семь.



Позвали к обеду, и Голицын ушел за верхние столы. Когда празднество было в разгаре, императрица сказала прислуживавшей ей камер-юнгфере Перекусихиной:

— Марья Савична! Как хорош генерал Голицын! Настоящая куколка.

Ее слова оказались роковыми для молодого князя: их услышал Потемкин. Помрачнев, он для виду посидел еще немного, а потом ушел из-за столов. Встретивший его Державин решил напомнить о себе, но граф поглядел на него и молча отскочил.

Преисполненный ревности к Голицыну, фаворит через некоторое время подослал к нему офицера Шепелева (впоследствии женатого на одной из потемкинских племянниц), тот вызвал Голицына на дуэль и предательски убил его. Державин лишился еще одного покровителя.

Впрочем, поручик был слишком далек от двора, чтоб знать его тайны. С квитанцией на семь тысяч рублей он помчался в Питербурх — задобрить банковских судей, продолжавших требовать с него денег по поручительству. Но сумма была чересчур мала. Рассудив, что он раздет и нуждается всего боле во всем нужном гвардейскому офицеру — белье, платье, экипаже, — Державин издержал полученные деньги. Из семи тысяч осталось лишь пятьдесят рублей.

Куда их потянуть?

Он решил поискать счастья в игре, которою в то время славился лейб-гвардии Семеновского полка капитан Жедринский. Его богатая квартира па Литейном была, ровно проходной двор, открыта днем и ночью. Там за зелеными столами можно было видеть молодцов военных, которые только и знали, что карты и дуэли. Ужасные шрамы па лицах свидетельствовали об их подвигах; у иных были и вечно зашнурованные рукава. Сам хозяин, смуглый гигант с черными подусниками, беспрестанно сосал свою пипку, с которой не расставался даже в постели, и нещадно дымил ею в лицо партнерам.

— Господа! Великое множество червей ждет своего освобождения из неволи! — провозгласил Жедринский, с вкусным треском распечатывая новую колоду атласных карт.

— Вот-вот! — подхватил обычный в таких случаях картежный «звон» граф Матвей Апраксин, богач и мот. — На зелено поле пора их выпустить...

Державин сел понтировать — играть против банкмета, место которого занял Апраксин. Карта пошла по маленькой, но удачно. Граф, удивленно восклицая: «И хлап проиграл?» «Все хватает, окаянный поручик, грандиссимо!» — только успевал придвигать к нему кучки золота.

К утру у Державина было восемь тысяч рублей. Переехали на квартиру Апраскина, и картеж продолжался с удвоенной силой. В решительный момент поручик, моля господина простить его («О, грешен, окаянный!»), загнул несколько уголков и выигрыш утроил. Картеж сделался ежевечерним. Державин всегда верил, что выиграет. Без этого чувства он за столы не садился, и ему часто везло. Но теперь, глядя, как целые имения передвигаются к нему по сукну, ощутил что-то другое, и его окатил озноб.

— Вот, извольте получить. Десять тысяч. Больше наличными не имею, а отыгрываться в долг не считаю возможным! — Матвей Апраксин встал, сухо поклонился и притон Жедринского покинул.

Поручик очумело глядел на гору золота и ассигнаций, лежащую перед ним. За короткое время он выиграл в банк до сорока тысяч рублей. Вокруг уже вертелись подлипалы, почуявшие возможность поживиться, но Державин собрал деньги в кису и дунул восвояси.

С этого момента фортуна, кажется, начала улыбаться поручику. Заплатив двадцать тысяч по поручительству за исчезнувшего офицера, он начал жизнь весьма приятную, не уступая самым богачам. В сие время Державин коротко сошелся с довольно знатными господами — президентом камер-коллегии Мельгуновым, кавалером при великом князе Павле Петровиче — Перфильевым и президентом питербургского магистрата Мещерским.

Правда, у него появился и еще один могущественный недоброжелатель — входивший в силу полковник и статс-секретарь императрицы граф Завадовский.

По окончании русско-турецкой войны и после заключения Кучук-Кайнарджийского мира фельдмаршал Румянцев-Задунайский представил Екатерине II двух полковников, отлично во время войны при нем служивших, — Александра Андреевича Безбородко и Петра Васильевича Завадовского. Безбородко, внук малороссийского казака, был нехорош собою — толстое, глупое лицо, отвислые губы, жирное туловище. Подумав, царица изволила спросить его:

— Ты учился где-нибудь?

— В Киевской академии, ваше императорское величество.

— Это хорошо. Вас я помещаю в иностранную коллегию, займитесь делами. Я уверена, что вы скоро ознакомитесь с ними.

Через год Безбородко знал дела лучше всех служащих, удивляя памятью саму императрицу и цитуя год, месяц, число и место, где что было сделано, указывая даже цифры листа или страницы, на которых написано было то, что он пересказал. Вскоре он был назначен к Екатерине II для

принятия прошений, подаваемых на высочайшее имя, и начал делать стремительную государственную карьеру.

Иной оказалась судьба Завадовского, мужчины, прекрасного собою, большого роста и крепкого сложения. В ту же ночь он определен был в фавориты. Его случай при дворе продолжался недолго, но он успел приобрести значение и впоследствии, при Александре Павловиче, был первым министром просвещения. С ним и столкнулся Державин в Невском монастыре, будучи на карауле при погребении 16 апреля 776-го года жены великого князя Павла Петровича — Натальи Алексеевны. Здесь, в Благовещенской церкви, была усыпальница как особ царствующего дома, так и первых вельмож государства.

Когда траурная процессия входила в церковь, Державин, уже сменившийся с караула и стоявший на паперти, подошел к Завадовскому и учтиво подал ему прошение в конверте. Но неожиданное и непомерное возвышение фортуны, видать, помutilо разум фаворита.

— Здесь подают, но только нищим! — высокомерно сказал он и прошения не принял.

— Что ж, бог простит! — в сердцах отвечивал поручик. — Верно, каждый зарабатывает себе место в жизни кто чем может!

Завадовский затаил на Державина злобу и впоследствии не раз проявлял свою враждебность.

Державин же не оставлял мысли в ожидаемом получении награды от Екатерины II и настойчиво бомбардировал вельмож прошениями на высочайшее имя. В июле 776-го года он передал новое письмо императрице через ее статс-секретаря Безбородко и по прошествии пяти месяцев, когда наряжен был во дворец с ротою на караул, позван был к Потемкину. Он нашел фаворита сидящим в кабинете и кусающим по привычке ногти. После некоторого молчания Потемкин спросил:

— Чего вы хотите?

Державин с попыхов не знал, что ответить, и сказал, что не понимает вопроса.

— Государыня приказала спросить, — повысил голос Потемкин, — чего вы по прошению вашему за службу свою желаете?

— Я уже имел счастье чрез господина Безбородко отозваться, что ничего не желаю, коль скоро служба моя благоугодною ее величеству показалась! — прищепеливая от волнения, отвечал поручик.

— Вы должны непременно сказать, — возразил вельможа.

— Когда так, то за производство дел в секретной комиссии желаю быть награжденным деревнями наравне со сверстниками моими, гвардии

офицерами, — откликнулся смело Державин. — А за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника.

Потемкин встал с кресел и, не запахивая халата, зашагал по кабинету, грызя ногти.

— Хорошо! — сказал он наконец. — Но вы в военную службу не способны, и я прикажу заготовить записку о выпуске вас в статскую.

Указом от 15 февраля 777-го года Державин был пожалован в коллежские советники, то есть произведен в чин шестого класса петровской Табели о рангах, что соответствовало в военной службе полковнику. Одновременно он получил 300 душ в Полоцкой провинции, отошедшей к России после раздела Польши. Теперь Державин мог спокойно оглядеться и не спеша найти себе хорошее место. Вскоре через старых друзей Окуневых, когда-то, при производстве его в офицеры одолживших ему свою карету, он спознакомился с домом сильного вельможи, могущего раздавать статские места, — генерал-прокурора князя Александра Алексеевича Вяземского.

### 3

Как загадочна, как непонятна и таинственна стихия таланта, в подземной своей работе вдруг приводящая к творческому взрыву! Кем был до сих пор наш герой? Исполнительным гвардейским поручиком, усмирителем пугачевцев, азартным и ловким игроком, не чуждым порою и плутовства. «И чего я тут не делал? То в кости, то в карты, то в шары, то в шашки...» Правда, мы видели и другого Державина, отважного в минуту опасности, прямого перед сильным, отзывчивого в чужом горе, доброго и великодушного к слабому. Несчастья, обиды, страдания не ожесточили его, а, напротив, как бы даже повлияли благотворно — обострили в нем смелость и подвижность, запальчивость нрава, резкость языка и стремление спешить делать добро.

Служебное возвышение Державина началось с того, что, приехав в один день спозаранков на дачу генерал-прокурора Вяземского Мурзинку, лежащую на взморье близ Екатерингофа, нашел он бедную старуху, стоящую у дверей. Новопроизведенный коллежский советник просил Вяземского о помещении на порожнюю ваканцию. Только что приятель Державина Окунев покинул в сенате экзекуторское место — должность чиновника, наблюдающего за порядком, — и перешел на более выгодное.

Вместо ответа князь скрипуче сказал:

— Примите-ко у сей престарелой женщины ее просьбу и изложите экстракт. Право, отбою нет от просителей!..

Старуха в перепелястом платке с робостию подала прошение — Державин пролетел его взглядом:

— Дело-то очевидное, ваше сиятельство, хоть письмо и слепо написано! Все тут отверзто и ясно. Опекун, пакостник, малолетних наследников вчистую охапал. Даже все сундуки и комоды ошарил.

Князь взял бумагу, собственным обозрением неспешно ее проверил и положил пред себя на столике:

— Желаемое место ваше!..

Александр Алексеевич Вяземский, сын флотского лейтенанта, происходил из древнего, но захудалого рода и сделал карьеру благодаря собственному упорству, ловкости и жестокости. Это был враг нововведений, душитель работных людей, восставших в 763-м году на сибирских заводах, опытный царедворец и политик. Не токмо государственного таланта, но толики даже малой сметливого и живого ума у него не имелось; недаром современники обидливо именовали его не иначе как «свинцовой головой» и человеком «с осиновым рассудком». Даже Екатерина II, слушая путанные словесные доклады Вяземского и не желая учинять ему за околесицу попырку и журьбу, почасту изволила приказывать: «Князь Александр Алексеевич! Вели это написать да подай мне».

Она знала, что Вяземский собственноручно ничего не составит, и это будет написано толковыми поvyтчиками и столоначальниками его канцелярии — А. И. Васильевым, Л. С. Алексеевым, Д. П. Трощинским или А. С. Хвостовым.

Вяземский упрочил свое положение, когда породнился с одним из знатнейших родов — с князьями Трубецкими. Женившись на княжне Елене Никитичне, дочери бывшего при Елизавете Петровне генерал-прокурором Н. Ю. Трубецкого, Вяземский вошел в верхи российской знати, образовавшей своего рода общество в обществе.

В течение двадцати девяти лет Вяземский оставался одним из наиболее влиятельных государственных деятелей, соединяя в лице генерал-прокурора обязанности трех министров: юстиции, внутренних дел, финансов и сверх того был начальником тайной полиции.

Первому сближению Вяземского с Державиным скорее всего содействовал Херасков, сводный брат Елены Никитичны по матери. Позванный к князю на свадебный бал Державин с тех пор часто бывал у него, проводя с ним время в модной тогда игре в вист. И хотя в ней

счастливого играть не умел, но платил всегда исправно и с веселым духом, чем Вяземскому понравился и приобрел его благоволение. Князь был охотник до французских романов, и Державин вечерами читывал ему подобные книги; случалось, что за ними и чтец и слушатель дремали. Но особой благосклонностью пользовался поэт у княгини Елены Никитичны, имевшей на него свои виды.

В те поры на Мишином острове, принадлежащем президенту камер-коллегии Мельгунову (потом остров купил И. П. Елагин и дал ему свое имя), устраивались с самой весны веселые пикники на природе. Музыка, песни, бенгальские огни придавали им полное очарование. На один из пикников, в предпоследний день масленицы, Державин прихватил с собою приехавшего из Саратова Петра Гасвицкого, бывшего уже секунд-майором.

Еще лежал по лесам ноздреватый апрельский снег, а на проталинах расставлены были палатки из дорогих турецких шалей. Гостей встречала костюмированная прислуга: женщины наряжены были нимфами, наядами, сильфидами, дети — амурами.

Гасвицкий смущался, прятал красные ручищи в карманы кафтана и начинал напряженно раскланиваться вслед Державину, кого-то все высматривавшему среди гостей, разодетых по последней моде. Дамы особенно оживляли вид пикника нарядами, красочность и блеск коих были обязаны тонкому вкусу парижских артизанов — «а-ла-бельпуль», «прелестная простота», «расцветающая приятность», «раскрытые прелести». Иные носили на голове уборы на манер шишака Минервы или по-драгунски, другие — левантские тюрбаны и уборы из цветов.

— Да ты никак свиданьице кому тут назначил? — пробасил Гасвицкий, заметив, как вертит головою его друг.

Державин сжал его толстую, словно лядвие, руку:

— Признаюсь тебе, мечтаю стретить здесь одну девицу... Я ее уже видел дважды — в первой раз в доме господина экзекутора Козодавлева, а вдругорядь на театре. Как хороша! Только бледна очень...

— Да кто ж она, ежели не секрет?

— Дочь бывшей кормилицы великого князя Павла Петровича госпожи Басгидоновой...

Заиграл скрытый в шатре оркестр, и стройно и согласно полилася необычайно звучная музыка.

— Что это, братуха? — встрепнулся Гасвицкий. — Не пойму, какие чудные инструменты...

— Эта, Петр Алексеевич, музыка именуется роговою, — с готовностью отозвался Державин. — Вроде живого органа. Изобрел ее

чешский валторнист Мареш для покойного щеголя Семена Кирилловича Нарышкина. Вообрази себе: в оркестре сем каждый музыкант играет на охотничьем роге, который может издать только один звук! Представляешь, какая надобна слаженность?..

— Гаврила Романович! На ловца и зверь бежит... — не без кокетства обратилась к Державину сорокалетняя франтиха в преогромнейших фижмах и уборе с цветами и страусовыми перьями, отчего издали ее можно было принять за шлюпку под парусами. То была княгиня Вяземская, подошедшая в сопровождении сухолицей девушки с несколько вымученною улыбкой. — Познакомьтесь с моей двоюродною сестрою — княжной Катериной Сергеевной Урусовой...

— Как же! Почитатель вашего таланта, — поклонился Державин стихотворице, только что выпустившей сборник «Ироида, музам посвященные».

— Я тоже читывала ваши вирши... — осмелела княжна. — И толь звучные! «Эпистолу на прибытие из чужих краев Шувалова» и «Петру Великому»...

— Небось и вы, Гаврила Романович, душечка, припасли для нас что-нибудь новенькое? — кивая страусовыми перьями, заиграла голосом Елена Никитична.

— Угадали! Приготовил пиесу и специально для хозяина сегодняшнего празднества, — отвечивал Державин. — Да вот и он сам. И с какою свитой!

Мельгунов появился в сопровождении князя Вяземского и его ближних — Храповицкого и Хвостова. Завязался ничего не значащий веселый разговор, в коем не участвовал лишь Гасвицкий, смущенно поглядывавший на нимф и наяд — крепостных девушек с пупырчатой гусиной кожей и синими от холода коленками.

— Други мои! — провозгласил Мельгунов так зычно, что покраснело его скуловатое лицо. — Приглашаю всех за столы! Рассаживайтесь без чинов и званий — здесь, в нашей блаженной Аркадии, равны все!

Мельгунов был ревностным масоном и не забывал повторить, где мог, масонскую идею братства — даже за веселым столом. Он подал знак, и невидимый оркестрион заиграл русскую плясовую «Я по цветикам ходила...». Вельможи в камзолах, шитых золотом и шелками, голубого, малинового, светло-коричневого и светло-зеленого цвета (темных цветов не носили), перебрасываясь шуточками, расположились за обширными столами. Начался молодецкий попляс цыган в белых кафтанах с золотыми позументами.

После первого же покала музыканты по приказу хозяина смолкли, и Мельгунов оборотил к Державину свое скуловатое лицо:

— Братец, Гаврила Романович! Пока мы еще не во хмелю и оценить прекрасное по достоинству можем, прочти-ка уже нам что-нибудь...

Державин поднялся при общем внимании и словно бы задумался. Говорил он обычно отрывисто и некрасно, но, когда дело доходило до чего-то близкого сердцу, преображался. Самые черты его простого лица, казалось, обретали особое благородство. Он начал тихо:

*Оставляя беспокойство в граде  
И все, смущает что умы,  
В простой, приятельской прохладе  
Свое проводим время мы.*

Постепенно голос его окреп, стихи полились звучно, празднично понеслись над столами:

*Невинны красоты природы  
По холмам, рощам, островам,  
Кустарники, луга и воды —  
Приятная забава нам.*

*Мы положили меж друзьями  
Законы равенства хранить;  
Богатством, властью и чинами  
Себя отнюдь не возносить.*

*Но если весел кто, забавен,  
Любезнее других тот нам;  
А если скромнен, благонравен,  
Мы чтим того не по чинам...*

*Кто ищет общества, согласия,  
Приди, повеселись у нас,  
И то для человека счастье,  
Когда один приятен час.*



Последние слова потонули в рукоплескательных одобрениях. Державин поймал восхищенный взгляд Урусовой, и ему стало не по себе. Только скрипунчик Вяземский был недоволен:

— Зачем чиновнику марать стихи? Сие дело живописцев!..

Но бубнежа его никто не слушал.

Постепенно хмель брал свое. Кто-то неверным голосом затянул песню, кто-то пошел к нимфам щипать их за голые коленки и стегна. На другом конце стола меньшей из братьев Окуновых, забияка и задира, громко начал рассказывать о некоем питерском проказнике, одержимом скифскою жаждою, в коем все тотчас же признали сенатского обер-прокурора при Вяземском, входившего уже в большую силу Александра Васильевича Храповицкого. Тот нахмурил красивое, с тонкими чертами лицо:

— Остроты ваши забавны, но не колки!

— Александр Васильевич, — не унимался Окунев, — а правда ли то, что некий помещик в трактирном споре с вами оставил под каждым вашим глазом источники света?

— Да вы, я вижу, нескромный проказник и смут-ник! Хватит вам содомить! — вспыхнул Храповицкий и, вынеся из-за столов свое тучнеющее тело, дал знак Окуневу отойти с ним в сторонку.

— Уж и сказать ничего нельзя! — бормотал, подымаясь, пьяноватый юноша. — Экой он таки спесивенек!

Предчувствуя неладное, Державин порешил пойти за спорщиками, но его перехватила княгиня Вяземская:

— Голубчик, Гаврила Романович, вот я сижу и думаю: чем тебе не пара княжна Катерина Сергеевна? Знатна, богата, умна, да и стихи славные пишет...

— Вот-вот! — нашелся Державин. — Она стихи пишет, да и я мараю. Так мы все забудем, и щи сварить будет некому.

Из кустов, раскрасневшись, выскочил Окунев и бросился к Державину:

— Гаврила! Будешь моим секундантом! Мы в лоск рассорились с Храповицким и решили ссору удовлетворить поединком! Посредником от него будет сенаторский секретарь Хвостов...

Что делать! Короткая приязнь к Окуновым препятствовала от сего предложения отказаться. Но смущало соперничество против любимца главного своего начальника Вяземского, к которому едва только входил стал в милость.

— Соглашаюсь... И даю тебе слово... — наконец сказал отрывисто Державин. — Только ежели этому не по-противуречит начальник мой

прокурор Рязанов...

— А если он будет против?

— Тогда попрошу секундировать дружка моего — майора Гасвицкого.

Незаметно набежало облачко, стало тучкой, и на пирующих обрушился по-летнему крупный, но по-апрельски ледяной дождь, который несколько остудил хмельные головы и разбавил вино в покалах. С визгом кинулись искать защиты от тешившейся стихии фальшивые богини и мордастые гении. У краснощеких сильфид ветер срывал тюники, курносые амуры теряли башмаки, а ядреные телесами нимфы вязли в грязи. У иных богинь не только распустились кудри, смоклые от дождя, но от холода мокро стало и под носом.

— Значит, завтра в Екатерингофском лесу в шесть пополудни! — крикнул, убегая, Окунев.

Державин махнул ему рукою, позвал Гасвицкого и поспешил с ним на поиски прокурора Рязанова.

Вымокнув до нитки, нашел он своего начальника обедающим у старшего члена Герольдии Льва Тредиаковского, сына стихотворца, в его доме на Васильевском острове. Уже был вечер. Вызвав Рязанова, предоброго человека, изложил Державин свое дело.

— Эх, молодо-зелено! — вздохнул прокурор. — Да что же с вами поделаешь! Отправляйся, только постарайся не давать поединщикам потыкаться на шпагах. Авось все кончат миром!

В сей миг в прихожую вышла из зала госпожа Бастидонова, а за ней легко впорхнула та, о которой все эти дни мечтал поэт. В ожидании кареты мать и дочь постояли несколько в прихожей, а когда вышли, Державин сказал Рязанову с обычной своей прямоотой:

— Коль эта девушка пойдет за меня, я на ней женюсь...

В лесу снег был глубок и рыхл, и поединщики с секундантами шли гусем, стараясь ступать след в след. Державин, чувствуя, как хлюпает у него в башмаках, мысленно сетовал на Гасвицкого, которому поручалось привезти оружие на выбор: «И куда запропастился?..» Протрезвевший Окунев скося бросал на шедшего с мрачным видом Храповицкого вопрошающие взгляды, и Державину подумалось: «Пожалуй, соперники сии, не будучи столь уж отважными дуэлянтами, будут примирены без пролития крови...»

— Господа! — крикнул он, останавливаясь. — Да полноте вам дуться! Эко дело, право! Ну погорячились, а теперь-то что дурь разводить? Тем более в прощенное-то воскресение, когда господь велит грехи друг дружке прощать! Как ты, Миша? — оборотился он к Окуневу.

— Признаю, братец, — краснея, проговорил тот, — что наплел вчера лишнего.

Храповицкий, казалось, только и ожидал от него первого шага.

— Да и я на вас не сержусь особо, коли вы сами согласились, что были неделикатны...

— А ежели так, — подхватил обрадованно Державин, — то не худо бы вам повиниться друг перед другом, расцеловаться, да и решить все миром!

Поединщики тут же исполнили его просьбицу.

— Вот те на! — смуглолицый, острый на слово Хвостов, возглавлявший процессию, остановился и развел руками. — Благородные люди нешто эдак-то поступают? Надобно хоть немного поцарапаться, чтобы потом стыдно не было!

— Помилуй, Александр Семенович! — начал было урезонивать разошедшегося посредника Державин. — К чему ты призываешь? Увечить друг друга и из-за чего — говоренной вчерась спьяну пустоши? Статимое ли это дело?

— Вы, Гаврило Романович, видать, пуще всего страшитесь, как бы из-за дуэли расположения нашего генерал-прокурора не потерять, — насмешливо процедил Хвостов.

— Ах так! — Державин одновременно с отпрыгом в сторону выхватил свою шпагу. — Извольте, сударь, стать в позитуру.

Хвостов снял и бросил перчатки, блеснул солитер на пальце.

— Я готов!

Оба они были почти по пояс в снегу.

— А-а, побелел смугляк! — наливаясь яростью, прошептал Державин. — Сейчас я тебя проучу!..

— Стойте! Братуха! Обожди!

Не разбирая пути, медведем по снегу катился Гасвицкий, держа в охапке палаши и сабли. Он бросился между рыцарей и отважно пресек битву, впрочем, едва ли могущую быть смертоносною. Бормоча друг другу извинения, забияки вернули шпаги на перевязь. Примирение секундантов завершили Храповицкий и Окунев.

— Тут неподалеку имеется знатный трактир, — заметил Храповицкий, — там мы выпьем чаю, а охотники — пуншу...

На том и порешили.

На возвратном пути в Питербурх Державин с Хвостовым ехали в карете, нанятой Гасвицким. Тот признался, что задержала его самая прекрасная женщина в столице — паркая баня.

— То-то, Петруха, ты, словно пламень разгоревшийся, на нас наскочил! — обнял Державин друга. — А меня вот совсем иная пленира волнует. Постой-ка! — вдруг в полный голос крикнул он. — Ведь сегодня последний день масленицы! В Императорском дворце машкерад, на который и Бастидонова с дочерью непременно припожалует! Я хочу, Петруха, чтобы ты беспристрастными дружескими глазами сию девицу посмотрел...

Державин и Гасвицкий, в масках, с трудом пробирались сквозь веселящуюся толпу. Многолюдство объяснялось просто. Куранты били первую четверть после девяти пополудни, и сама государыня, по своему обыкновению появившись на маскараде в седьмом часу, уже поговорила с некоторыми вельможами, сыграла партию в вист и удалилась во внутренние покои. Еще беззаботнее стало во дворце, и среди бархатных и атласных кафтанов, расшитых золотом или унизанных блестками, с большими стальными или стеклянными пуговицами, среди атласных робронов и калишей на проволоке, среди пышных полонезов и длиннохвостых роб с прорезями на боку замелькали простые платья: купцы с женами и дочерьми из своей, особливой залы перешли почти уже все в дворянские.

— Вот она! — с неумеренною громкостью воскликнул зачарованный поэт, хватая друга за рукав.

Бастидоновы степенно беседовали с сановитым толстячком — управителем Ассигнационного банка Кирилловым. Девушка обернулась на возглас, и лицо ее покрылось милым румянцем.

Во все время маскарада, следуя по пятам за Бастидоновыми, друзья примечали поведение молодой красавицы и с кем и как она обращается.

— Знакомство степенное, и натура, видать, скромная и благородная! — пробасил Гасвицкий.

— Люблю! Люблю! Петруха! — пылко отвечивал Державин.

— Тогда за чем дело стало? Ищи сватов...

Назавтра за великопостным, но все равно обильным блюдами столом у генерал-прокурора Вяземского насмешливый Хвостов завел речь о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах.

— Не глядите, Александр Алексеевич, — обратился он к Вяземскому, — что новый экзекутор наш кажется скромником. Вчерась он целый вечер шашнями занимался.

— Правда ли это? — заинтересовался генерал-прокурор, глядя на Державина.

— Правда, и истинная! — волнуясь, ответил тот.

— Кто же сия красавица, — проскрипел Вяземский, — которая вас толь скоропостижно пленила?

Державин назвал ее.

Петр Иванович Кириллов, сидевший рядом с генерал-прокурором, нахмурился, но промолчал. А когда все встали из-за стола, отвел влюбленного.

— Слушай, братец, — начал он, — нехорошо шутить насчет почтенного семейства. Сей дом мне знаком коротко. Покойный отец девушки мне был другом, он был любимый камердинер Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою. Да и мать ее тоже мне приятельница. Посему попрошу при мне насчет сей девицы не шутить!

— Да я и не шучу! — отрывисто возразил Державин. — Я поистине смертельно влюблен!

— Когда так, что же ты хочешь делать?

— Искать знакомства и сватать!

Толстячок приподнялся на цыпочки и доверительно ответствовал ему шепотом:

— Я тебе могу сим служить...

Вечеру оказались они с Державиным возле небогатого одноэтажного домика Бастидоновых. Босоногая девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, провела гостей в комнаты. Матрене Дмитриевне Бастидовой Кириллов объяснил, что, проезжая мимо с приятелем, захотел напиться чаю и упросил господина Державина войти с собою. По обыкновенных учтивостях гости сели и, дожидаясь чаю, вступили в общежителей разговор.

Появилась живущая у Бастидовой сестра Анна Дмитриевна с невесткою и племянницами, бойкими молодайками, которые непрестанно балабонили и хохотали, пересуживали знакомых, желая, видимо, показать гостям остроту свою и умение жить в большом свете. Поэт отвечал им невпопад, не сводя глаз с предмета своей любви. Она прилежно вязала чулок и в отличие от сестер с великою скромностию лишь изредка вступала в общую беседу.

Черты ее лица выказывали южное происхождение (отец девушки — покойный Яков Бастидон родом был португалец). Бледность лица еще более оттенялась чернотою кудрей и бровей, блеском темных, как маслины,

глаз, всегда добрых и доверчивых. Ей было семнадцать лет.

Меж тем, как та же босоногая девка начала подносить чай, Державин делал примечания свои на скромный образ мыслей матери и дочери, на опрятство и чистоту в платье, особливо последней, на ее трудолюбие и здравые рассуждения и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые, хороших нравов и поведения: «Коли я женюсь, то буду счастлив!» Посидев часа с два, гости отправились домой, испросив позволения и впредь быть к ним въезжу новому знакомому.

Дорогою Кириллов спросил Державина о его сердечном расположении.

— Ощуцаю я, милейший Петр Иванович, — пылко отвечивал поэт, — что обняла меня весною весна!..

Так решена была для Державина его судьба. Уже на другой день Кириллов сделал от имени Державина настоятельное предложение. Матрена Дмитриевна попросила несколько дней сроку, чтобы порасспросить о женихе у своих приятелей. Сведения могли быть только самые благоприятные. Державин в те поры был в милости у сильного вельможи, имел множество связей и порядочное состояние — всего около шестисот Душ.

В свой черед, и Державин выслушивал слухи о будущей своей теще, вполне пристойной женщине, овдовевшей уже вторым браком. Поговаривали, правда, о ней разное — что она будто бы злобна и жестока, особливо со своими крепостными.

Державину достоинства и недостатки мамыши Бастидоновой, понятно, были не так уж важны, он рвался к дочери. Вскорости, нарочно проезжая мимо их дома, увидел он Катю Бастидонову, сидящую у окошка, и решился зайти. Он нашел ее одну, за пяльцами, и, поцеловав ручку, спросил, знает ли она через Кириллова о его искании.

— Матушка мне сказывала, — потупила Катя свои темные глаза.

— Что ж вы сами о сем думаете?

— От нее все зависит...

— Но ежели от вас, могу ли я надеяться?

— Вы мне не противны... — прошептала девушка, покрасневшись.

Державин бросился перед ней на колена, осыпая ее руки поцелуями.

— Ба, ба! И без меня обошлось! — воскликнул вошедший в этот момент толстячок Кириллов. — Где же матушка?

— Поехала разведать о Гавриле Романовиче, — простодушно ответила Катя.

— О чем разведывать! — всплеснул короткими ручками управляющий

Ассигнационного банка. — Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. Кажется, дело и сделано. Пора обвещать о помолвке...

Появилась наконец и Матрена Дмитриевна, сделали помолвку, но на сговор настоящий она не решилась без соизволения великого князя Павла Петровича.

Через несколько дней великий князь велел представить себе жениха, ласково принял его в кабинете, обещав хорошее, насколько в силах будет, приданое. По прошествии великого поста, 18 апреля 778-го года был совершен брак. Счастливый Державин писал:

*Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю:*

*Как роза, ты нежна; как ангел, хороша;*

*Приятна, как любовь; любезна, как душа;*

*Ты лучше всех похвал: тебя я обожаю!*

## 5

— Гаврило, дорогой, пойми же, что стихи сии прекрасны, но в них мало життя! — Капнист, волнуясь, часто вставлял малороссийские словечки. — Они пишномовны и лишены простоты. А ведь стихи должны литься живо и легко...

— Васенька, друг любезный! Рази ж я сам не чувствую, что негодный стихоткач!

— Погоди, погоди! Зачем на себя зря плескати! Стихотворец ты изрядный, токмо бундучнисть твоим виршам мешает...

Разговор происходил на квартире у сенатского секретаря Хвостова. На низких, покрытых узорчатыми коврами оттоманках (хозяин привез их, будучи при посольстве в Царьграде) рядом с Державиным сидели его новые друзья — советник посольства при Главном почтовом правлении Николай Александрович Львов и служивший по горному ведомству отставной поручик Иван Иванович Хемницер. Сам Капнист, чернобровый, с резкими чертами южного лица, полетаем носился по кабинету, размахивая листком с последними стихами Державина «Успокоенное неверие».

— Бери пример, друже, с древних — Горация и Овидия! Толь изящны и широсерды их вирши...

«Бери пример, — горько усмехнулся Державин. — Хорошо говорить

так любезному другу Васеньке, когда он шпарит на французском, как по-русски, знает и латынь, и греческий, и теории искусства!»

Впрочем, все собравшиеся здесь были отмечены незаурядной ученостью. Все, кроме Державина. И сам Хвостов, и Хемницер, только что выпустивший без подписи книжицу басен, и, разумеется, Львов, разносторонностью своих знаний, интересов и дарований превосходивший прочих. Самобытный архитектор, он работал над проектами Невских ворот Петропавловской крепости, собора святого Иосифа в Могилеве; ученый-геолог, он мечтал о промышленной добыче каменного угля в Центральной России; поэт, он сочинял басни, вирши и намеревался попытать силы в «вольном» русском стихосложении в подражание народному творчеству; теоретик литературы, живописи, архитектуры, музыки, он штудировал Винкельмана, Дидро, помогал советами славным уже художникам Д. Г. Левицкому, А. Е. Егорову, композитору Е. И. Фомину и пропагандировал античную классику.

Поклонник Руссо, Львов избрал себе образцом благородного и незнатного Сен-Пре. И когда отец пятерых красавиц сенатский обер-прокурор Дьяков отказал ему по его бедности в соискании руки дочери Марии, он совсем в духе Руссо решил тайно соединиться с ней браком, вернуть ее в родительский дом и добиваться признания своего права на любовь.

— Истинная красота, — вставил Львов, прерывая очередную темпераментную тираду Капниста, — конечно, в чистом источнике природы...

— А великий Ломоносов? — возразил Державин. — Он находил красоту в силе духа, в громогласном парении и высоких словах!

Львов в споре не щадил никого:

— Конечно, Ломоносов — богатырь. Трудности он пересиливал дарованием сверхъестественным. Но знаете ли, какие увечья нанес он родному языку!

— Он указал широкую дорогу нашей словесности! — отрывисто возразил Державин.

Большие серые глаза Львова вспыхнули насмешкой:

— Дорогу высокопарности! Нет, в изящной словесности превыше всего естественность и простота.

Державин в душе был уже во многом согласен с Львовым. Сохраняя прежнее, благоговейное отношение к поэзии Ломоносова, он чувствовал, однако, как устарело витийство торжественных од. Давно уже испытывал поэт безотчетную потребность быть верным истине и природе. А



познакомившись с теорией французского философа и эстетика Шарля Батте, который главным требованием искусства называл подражание «изящной природе», и главною целью — «нравиться» и одновременно «поучать», он окончательно решил, что непрременное следование строгим риторическим правилам и украшениям, господствующим в русской поэзии, сковывает и обезжиливает его стихи.

Слуга внес шандал с зажженными свечами — быстро надвигался долгий питербурхский осенний вечер.

— Друже, Гаврила! — Капнист снова забежал по кабинету. — На Парнасе талант твой далеко переживает наши. Но ему не хватает толь небогатого — шлифовки, отделки, замены поодиноким слов. Мы с Иваном Ивановичем Хемницером, ежели ты не против, чуть прошлись по сиим стихам. А советами та увагами помог нам чудо Львов...

— Васенька! — с полной искренностью сказал Державин. — Чем, кроме горячей благодарности, могу ответить я тебе и друзьям моим?

— Пустяшные поправки, — продолжал Капнист, подсаживаясь ближе к свету, — но как заиграло самоцветное твое слово! Вот послухай...

— Сыми-ка, Вася, нагар со свечи, — бросил ему Хемницер.

— Да возьми съемцы с каминной подставки, — подсказал хозяин.

Капнист сощикнул свечу, другую. Пламя ярче осветило друзей: смуглого, с продолговатым окладом лица Хвостова, большелобого, в светлых кудрях Львова, подвижного, живоглазого Капниста. Лишь Хемницер оставался в тени.

С четкой скандовкой Капнист начал читать:

*Когда то правда, человек,  
Что цепь печалей весь твой век:  
Почто ж нам веком долгим льститься?  
На то ль, чтоб плакать и крушиться  
И, меря жизнь свою тоской,  
Не знать, отрады никакой?»*

*Младенец лишь родится в свет,  
Увы, увы! он вопиет,  
Уж чувствует свое он горе;  
Низвержен в треволенно море,  
Волной несется чрез волну,  
Песчинка, в вечну глубину.*

*Се нашей жизни образец!  
Се наших всех сует венец!  
Что жизнь? — Жизнь смерти тленно семя.  
Что жить? — Жить — миг летяща время  
Едва почувствовать, познать,  
Познать ничтожество — страдать...*

Так ли уж могуч разум человека, приносящий ему разочарование неверия? Надо ли испытывать судьбу, подвергая все сомнению? И где же выход?

*Над безднами горящих тел,  
Которых луч не долетел.  
До нас еще с начала мира,  
Отколь, среди зыбей эфира,  
Всех звезд, всех лун, всех солнцев вид,  
Как злачный червь, во тьме блестит, —*

*Там внемлет насекомым бог.  
Достиг мой вопль в его чертог,  
Я зрю: Избранна прежде века  
Грядет покоить человека;  
Надежды ветвь в руке у ней:  
Ты, Вера? — мир души моей!..*

Капнист умолк, но слушатели зачарованно молчали. Какие копившиеся силы вдруг вырвались наружу! Откуда в этом добродушном, малообразованном чиновнике, бывшем гвардейском офицере, этот напор, этот накал мысли! Капнист первый очнулся.

Львов тихо сказал:

— Гаврила Романович! Верно, что Ломоносов по широте гения и образованности превосходит вас, но силою поэтического дара вы, ей-ей, выше! Вы первый поэт на Парнасе российском.

Державин смутился. Видя это, Хвостов подал знак, и слуга тотчас появился и расставил на столике изящный фарфоровый виноградский сервиз — наlepные цветы и гирлянды на белых чашечках, сахарнице, сухарнице; медный, пышавший жаром турецкий кофейник.

Хозяин разлил кофий и провозгласил нарочито дурашливым голосом:  
— И я, и я хочу оставить след на Парнасе! Зацепиться хоть краешком!  
И вот он, мой скромный букетец цветов парнасских, —

*Хочу к бессмертью приютиться,  
Нанять у славы уголок;  
Сквозь кучу рифмачей пробиться,  
Связать из мыслей узелок...*

Друзья уже не раз слышали шуточную оду «К бессмертию» и одобряли ее. Но Хвостов на сей раз недолго занимал их своим детищем. Едва кофий был выпит, он предложил:

— Едемте, братцы, к князю Александру Ивановичу Мещерскому! Запомнили? Он нынче ожидает нас!..

— Нет, не могу... — еще не остыв от смущения, Державин скреб ногтем налепную розочку на чашке. — Екатерину Яковлевну огорчать не смею... Года не прошло, как поженились — и холостяцкие пирушки. Негоже...

— Гаврила мой! Ведь мы с тобою одинакие молодята! — Капнист умоляюще поглядел на друга. — А дражайшая Катерина Яковлевна, верю, простит тебе, как простит мне сей малый грех моя милая Сашуля, моя Александра Алексеевна!..

Капнист женился вскорости после Державина, в 779-м году. Жены его и Львова были сестрами, дочерьми Алексея Афанасьевича Дьякова.

Через час вся честная компания уже сидела за роскошными столами Мещерского, весельчака, плясуна, хлебосола. Его ближний друг Степан Васильевич Перфильев в расшитом бриллиантами генеральском мундире самолично руководил слугами, следя, чтобы золоченые тарелки и хрустальные подалы ни у кого из гостей не пустовали.

Державин был счастлив, как может быть счастлив мужчина только единожды в жизни. Утрами, в еще не истаявшем сне видел возле себя свою любовь, свое несравненное сокровище и тянулся тронуть рукою: так ли? Явь ли то? На службе, думая о ней, частенько забывался. А она! Была его мыслями, его плотью, его душою, его вторым естеством. Вникала во все и

во всем соучаствовала — в служебных тяготах, в стихотворчестве, в беседах с друзьями. Страстная, нежная, дарила его невыразимой радостью. «Люблю, люблю! — твердил Державин. — И не верю, что вся она моя! Вся! От смоляных кудрей и до тайных прелестей, до махоньких шишечек на титьках и нежных сережек...»

*Лилеи на холмах груди твоей блистают,  
Зефиры кроткие во нрав тебе даны,  
Долинки на щеках, улыбка зарь, весны;  
На розах уст твоих соты благоухают...  
Но я ль, описывать красы твои дерзая,  
Все прелести твои изобразить хочу?  
Чем больше я прельщен, тем больше я молчу:  
Собор в тебе утех, блаженство вижу рая!..*

— Гаврила Романович! — позвал его коллежский советник Бутурлин.  
— Тебя генерал-прокурор кличет.

Державин вздрогнул и очнулся от мечтаний о своей Афродите.

Правительствующий сенат, созданный Петром Первым в 711-м году, при Екатерине II ведал лишь финансами и хозяйством России. Державин о финансах имел представление самое отдаленное, однако благодаря природному уму, воле и настойчивости вскоре разобрался в запутанных делах и принялся предлагать одно за другим усовершенствование финансовой отчетности.

Прямой начальник Державина Еремеев был человек престарелый, выслужился с самых низов до действительного статского советника и по незнанию административных тонкостей, а пуще того — по робости характера ни на что не годился. Коллежский же советник Николай Иванович Бутурлин, игрок и гуляка, принят был в экспедицию токмо потому, что приходился зятем Елагину. Отдуться надо было Державину.

— Николай Иванович, — сказал, собирая бумаги на подпись, Державин, — ты подготовил месячные ведомости?

Он добивался того, чтобы отчеты о суммах, поступающих из различных учреждений — адмиралтейства, провиантской конторы, комиссариата, — проверялись не раз в год, как было принято, а ежемесячно, что должно было сократить злоупотребления. Известно было, что чиновники казенных палат в губерниях задерживали у себя собранные деньги и отдавали их в долг под высокий процент. А казна тем временем

испытывала недостатку в средствах.

— К чему они! — махнул Бутурлин рукою. — Я уже сотню говорил тебе, что проверка надобна токмо при годовых отчетах...

— Эка лень в тебе сидит, право! Казна страдает, да и дела запустим...

Тот скосоротил свое смазливое лицо:

— Работа не малина, чай, не опадет. Пусть уж нас с тобой его сиятельство рассудит...

Истинно, сякнет терпение! Мало что бездельник, так норовит еще таем от него гадость какую сделать. Не раз уже ловил Державин Бутурлина на том, что он наушничает Вяземскому, к былям небылицы прилывает.

Генерал-прокурор был явно не в духе. Одну за другою возвращал он бумаги Державину.

— Александр Алексеевич! Помилуйте! Ведь большая часть списков уже разослана в казенные палаты! — вознегодовал Державин.

— Ишь, какой приткий! Здесь дело государственное... — ответил Вяземский. — Чай тебе не стихи марать...

— Верно, ваше сиятельство, — поддакнул Бутурлин, — спешить некуда!

Державин видел, насколько Вяземский переменился в отношении к нему. То ли князю не нравился его независимый характер, стремление докопаться до существа дела, то ли возмущало легкомысленное стихотворчество, а может, приязнь статс-секретаря при государыне Безбородко, с которым Державин спознакомился через Львова? Вернее всего, и то, и другое, и третье. Обидливый вельможа был недалек и злопамятен.

— Я давно замечаю ваши придирки! — смело сказал поэт, приняв списки назад. — Не иначе, как сей господин вас на меня науськал!

Генерал-прокурор от возмущения захлебнулся и стал издавать ноздрями шипящий звук.

— Вы известный скалозуб и непочтитель! — вставил Бутурлин. — И как только его сиятельство вас терпит!

— Ах бездельник! Чья бы корова мычала! Молчал бы уж лучше! — пришепеливая, крикнул Державин.

— А вы, Гаврило Романович, дремучка! — скороговоркою бросил Бутурлин. — На службе, замечал я не раз, спите, да еще с прихрапом! Оттого, видно, и списки дурно составили...

— Коли вы лучше умеете, пишите бумаги сами!

Державин в сердцах сунул Бутурлину списки и выбежал вон из кабинета.

В те поры Державин с женою жил на даче Вяземского Мурзинке: он занимал верх, а в нижнем этаже располагался столоначальник Васильев. На другой день, в субботу, Васильев навестил его и именем князя передал приказ подать прошение об отставке.

В воскресенье опальный поэт уже был на другой даче Вяземского, в Александровском. Как обычно по воскресеньям, генерал-прокурор отправлялся с докладами к императрице в Царское Село, а оттуда возвращался ввечеру. Приехав, Вяземский сел в кресла, окруженный семейством и многими его ласкателями. Державин вошел в гостиную и голосом твердым и решительным сказал:

— Ваше сиятельство! Через господина Васильева изволили мне приказать подать челобитную в отставку. Вот она! А что изъявили свое неудовольствие на мою службу, то, как вы сами недавно одобрили меня перед ее величеством и исходатайствовали мне чин статского советника за мои труды и способности, представляю вам в нынешней обиде моей дать отчет тому, перед кем открыты будут некогда совести ваши!

Он отвесил поклон и вышел.

Глубокая тишина сделалась в комнате между множества людей. Молчание нарушила княгиня Елена Никитишна:

— Он прав перед тобою, князь! А Бутурлин обносит его, так как сам не способен к работе...

Вяземский заволновался. Завидя из окна, как Державин идет через двор, он скрипуче проговорил:

— Конечно, он пеш. Подайте ему чью-нибудь карету...

Несколько прихлебателей кинулись выполнять его приказание. Но Державин, поблагодарив, карету не принял и пошел в Мурзинку, лежащую от Александровского в двух верстах, где дожидалась его женушка.

Приехавший поздно вечером в Мурзинку Васильев рассказал, что князь раскаивается в своем поступке, но только не хочет сему придать публичной огласки. Он просит Державина сделать вид, якобы он пришел с ним объясниться в своей горячности, и все пойдет по-прежнему. Посоветовавшись с Катериной Яковлевной, поэт на другой день так и поступил. После обеда, когда у генерал-прокурора было еще много гостей, Державин подошел к нему и попросил аудиенции с ним наедине в кабинете.

— Пожалуй, мой друг, изволь! — улыбнулся Вяземский.

В кабинете они перекинулись совсем не значащим, и благосклонное обхождение начальника со своим подчиненным возобновилось, хоть и ненадолго.

Возвращаясь в Мурзинку вместе с Катериной Яковлевной, Державин говорил с ней в карете о несправедливостях житейских.

— Сколько раз я твердила тебе, Ганюшка: горяч ты очень. А ведь с сильным не борись, с богатым не судись.

— Ах! — отвечал тот. — Я сглуповал, что тебя не послушался! Но посмотри: мне предстоит еще кончить распрю с Бутурлиным. Он человек благородный и за мой презрительный с ним поступок вызовет меня на дуэль. Как ты думаешь, может, отказаться какой-нибудь пристойной уловкой? Но тогда навлечешь на себя некоторые от прощелыг насмешки! Скажут, что храбр на пере, да трус на шпаге!

Она задумалась, слезы навернулись на ее прекрасные глаза, а там и хлынули ручьем, и она приникла к нему.

— Дерись! А ежели он тебя убьет, то я знаю, как ему отомщу!..

## 7

Равномерно ходит взад и вперед медный маятник больших кабинетных часов. Державин в халате наопашку сидит за столом, хотя било уже три пополудни. В руке замерло перо, а взгляд устремлен куда-то вдаль, мимо обитых ситцем стен, мимо лепного потолка, мимо полки с книгами.

Медленно ходит маятник, словно меч, отсекая каждым взмахом чьи-то жизни, приближая последний час каждого живущего. Ибо нет бывших мертвецов, но будущие — все. Безмятежно спит наверху в спальне драгоценная, любимая Катюня. По и ей неминуемо должен прийти черед. И когда? Бог весть!

Медным гулким звоном куранты отметили перечестье, и вновь мертвая тишина в доме. Крупные косые строки ложатся на чистый лист:

*Глагол времен! металла звон!  
Твой страшный глас меня смущает;  
Зовет меня, зовет твой стон,  
Зовет — и к гробу приближает...*

Никто на свете сем не минует роковой чаши. Перед смертью равны все и все одинаки — и смерд, и царь, и нищий, и фогач. Самая природа подчиняется бегу времени, а значит, и смерти.

*Ничто от роковых когтей,  
Никая тварь не убегает:  
Монарх и узник — снесь червей;  
Гробницы злость стихий снесает...*

*Скользим мы бездны на краю,  
В которую стремглав свалимся;  
Приедем с жизнью смерть свою;  
На то, чтоб умереть, родимся;  
Без жалости все Смерть разит:  
И звезды ею сокрушатся,  
И солнцы ею потушатся,  
И всем мирам она грозит.*

Поутру Степан Васильевич Перфильев приехал к Державину, чтобы сказать; «Мещерский приказал долго жить». И вот поэт в роскошном особняке, в знакомой зале, где вместо пиршественных столов покоится в богатом, повапленном ковчеге то, что было еще недавно князем Мещерским. Богач, весельчак, знаток изысканных кушаний и тонких вин, любитель всех утех жизни, он, верно, почитал себя бессмертным. Как и большинство людей!

*Не мнит лишь смертный умирать  
И быть себя он вечным чает,  
Приходит Смерть к нему, как тать,  
И жизнь внезапно похищает...*

*Утехи, радость и любовь  
Где купно с здоровьем блитали,  
У всех там цепенеет кровь  
И дух мятется от печали.  
Где стол был яств, там гроб стоит,  
Где пиршеств раздавались лики,  
Надгробные там воют клики,  
И бледна Смерть на всех глядит...*

Что земные радости, коли ты обречен? Все, все проходит! Будешь



вспоминать, как о воде протекшей, свою жизнь. Слава, богатство, любовь — все губит смерть, все никнет перед вечностью!

Поэт вздрогнул; он услышал жалобный и протяжный голос, являющий болезнь или скорбь.

— Ганюшка, милый! — В длинной ночной сорочке, с тельником на шее, порасхлипавшись, говорила ему Катюня. — Ты еще не спишь! А мне толь дурной сон привиделся... Поснилось, что недолго проживу... Страшно стало, спасу нет. Стала тебя искать и не нашла...

Он вытирал слезы с любимого лица, гладил густые темные кудри, целовал ее шею и плечи.

Нет, надо жить, не сетовать на неизбежность смерти. Верить в разумный смысл жизни, в высшее ее оправдание и радоваться тому, что она дана тебе!

*Жизнь есть небес мгновенный дар;  
Устрой ее к себе к покою,  
И с чистою твоей душою  
Благословляй судеб удар.*

## Глава четвертая «ФЕЛИЦА»



*«Слыхал я, сказал юноша, толкование розы без шипов, которая не колется, от нашего учителя; сей цветок не что иное значит, как добродетель: иные думают достигнуть косыми дорогами, но никто не достигнет окромя прямою дорогою...»*

*Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре*

В один из присутственных майских дней 783-го года, когда Державин по обыкновению обедал у своего начальника, слуга сообщил, что в прихожей его дожидается почтальон с письмом. Не выказав удивления, поэт принял большой сверток бумаги с надписью: «Из Оренбурга, от

царевны киргизкайсацкой Державину». Открыв печать, Державин нашел в свертке богатую табакерку с бриллиантовой осыпью и в ней пятьсот червонных. Чтобы не дать подозрения о взятках, решил он показать сей драгоценный подарок генерал-прокурору.

— Что еще за дары от киргизцев? — сердито проскрипел Вяземский.

— Ваше сиятельство, — со значением произнес Васильев, — примечайте: табакерка-то последней французской работы.

Скрипунчик Вяземский смекнул, откуда подарок, и сменил гнев на милость:

— Вижу, братец, и поздравляю. Как такой подарок не принять! Но за что бы это?

— Кто его знает! — с показным простодушием ответил Державин. — Разве что за сочинение мое, которое княгиня Дашкова сама собою, без моего имени напечатала в первом номере нового журнала «Собеседник Любителей Российского Слова...».

— Собеседник? Дашкова? — Туповатый Вяземский встревожился. В княгине Екатерине Романовне, недавно назначенной первым Президентом Российской академии наук, образованнейшей женщине, близком царице лице, он не без оснований видел ярого своего недоброжелателя. — Когда так, изволь мне это сочинение представить.

Державин принес номер журнала, где появилась «Ода к премудрой Киргизской царевне Фелице, писанная некоторым татарским Мурзой, издавна поселившимся в Москве и живущим по делам своим в Санкт-Петербурге», и Вяземский уединенно принялся ее читать и перечитывать с многими перешептами. С этой поры закрались в сердце генерал-прокурора ненависть и злоба к поэту. При всяком удобном и неудобном случае он цеплялся к нему и почти явно ругал, проповедуя, что все стихотворцы не способны ни к какому делу. Вяземский узнал себя, конечно, в мурзе, носящем имя «Брюзга», не говоря уже о том вельможе, что, зевая, спит за Библией.

Но узнал себя в «Фелице» не он один.

На мысль написать оду Державина натолкнула сказка, сочиненная Екатериной II для великого князя Александра Павловича, когда ему не было еще и четырех лет. В сказке этой молодой киевский царевич Хлор, гуляя, попадает в плен к киргизскому хану, который приказывает ему найти

*розу без шипов*, то есть добродетель. Чтоб ему помочь, является дочь хана, веселая и любезная Фелица, но так как ее не отпускает суровый муж Брюзга, то она высылает к ребенку своего сына Рассудок, который и провожает его. На пути Хлора подстерегают разные искушения и между прочим зазывает к себе мурза Лентяг, чтобы соблазнами отвратить мальчика от цели. Но Рассудок насильно увлекает его и приводит к крутой каменистой горе, где растет роза без шипов. Взорвавшись на гору, мальчик срывает вожделенный цветок и несет его хану, который и возвращает Хлора отцу.

Перенеся имя Фелицы на Екатерину II, Державин получил счастливую возможность показать картину нравов, господствовавших в русских верхах, и одновременно высказать свою заветную мечту о просвещенной, кроткой и человеколюбивой труженице на троне. Царевне, идеалу добродетели, он противопоставляет себя, как одного из мурз — воплощение всяческих недостатков. Легким, веселым, шуточным слогом, еще не знакомым российской словесности, повествует он о слабостях вельмож, ловкими и колкими намеками задевая придворных, и являет в противовес нынешнему царствованию печальные стороны памятного всем бесчинства времен Анны Иоанновны. Защитой поэту от возможного гнева вельможи повсюду служит сама августейшая Фелица, знаменитым обращением к которой открывается ода:

*Богopodobная цaревнa  
Киргизкaйсaцкaя oрдa,  
Кoтoрoй мyдрoсть нeсрaвнeннa  
Oткрылa вeрныe слeды  
Цaрeвичy млaдoмy Хлoрy  
Взoйти нa тy вoсoкy гoрy,  
Гдe рoзa бeз шипoв рaстeт,  
Гдe дoбрoдeтeль oбитaeт!  
Oнa мoй дyх и yм плeняeт;  
Пoдaй нaйти ee сoвeт.*

Впервые Державин прочитал «Фелицу» друзьям. В те поры поэт снимал дом на Литейной вместе с сослуживцем по экспедиции о государственных доходах Козодавлевым. Дождавшись, когда сосед его, человек любопытный, отлучился на вечер, Державин пригласил к себе Капниста, Львова и Хемницера. Катерина Яковлевна в продолжение всего

чтения сидела за вязаньем и, не вступая в разговор, душою и мыслями была вместе с мужем.

Восторгам товарищей не было конца.

— Ты, Гаврила Романович, при небывалой еще у нас легкости и звучности стиха придал оде пленительный, игривый характер! — говорил Львов.

Капнист расцеловал поэта:

— Молодец! Ты разом шагнул выше всех!

— Сия замечательная насмешливость совершенно в духе народа нашего. У оды твоей русский оттенок. — Львов оборотился к Хемницеру. — А ты что тауришься?

— Все это верно, господа! — молчавший до тех пор Хемницер покачал пудреною головой. — Но что скажут их сиятельства обиженные наши князья и графы? «Между лентяем и брюзгой, между тщеславьем и пороком нашел кто разве ненароком путь добродетели прямой», — рази не ясно, что и брюзга Вяземский, и порок Потемкин дела сего так не оставят... Нет, друзья, что ни говорите, однако ж выдавать ее в свет я не советую...

— А что, Гаврила Романович, пожалуй, в этом совете есть резон, хоть и печальный, — согласился Львов. — Спомни судьбу своей оды «Властителям и судиям»...

Да, Державин не мог позабыть, как его ода, бывшая переложением в стихах одного из религиозных песнопений — 81 псалма, набранная в ноябрьском нумере журнала «Санкт-Петербургский вестник» за 780-й год, подверглась запрещению. Книжка журнала была остановлена. Конечно, за гневное обличение сильных мира сего, за обвинение их в притеснительстве и мздоимстве: «Не внемлют! — видят и не знают! Покрыты мздою очеса: злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса». Еще свежи в памяти российских верхов события пугачевщины, еще жив страх перед новою крестьянскою войной. Лист с текстом оды был выдран из всех нумеров журнала.

— Ты прав, Иван Иванович, — помедлив, согласился Державин. — Надобно мне припрятать сию рукопись, и подальше...

Прошел год, и как-то поэт отыскивал в своем бюро казенную бумагу, понадобившуюся Козодавлеву.

— Осип Петрович! — попросил он соседа. — Пособи мне, видишь, какие тут залежи...

— Охотно, Гаврила Романович, охотно. Постой, да что это?

В руках у Козодавлева Державин увидел позабытые им уже листки

«Фелицы».

— Да так, пустяшная забава...

— Нет, это ты брось... Ах, право, какая прелесть:

*Подай, Фелица, наставленье,  
Как пышно и правдиво жить,  
Как укрощать страстей волненье  
И счастливым на свете быть.  
Меня твой голос возбуждает,  
Меня твой сын препровождает;  
Но им последовать я слаб:  
Мяжась житейской суетою,  
Сегодня властвую собою,  
А завтра прихотям я раб...*

— Нет, братец, ты обязан дать мне ее на прочтение!

Козодавлев сам пробовал силы в оригинальных сочинениях и переводах; он получил преизрядное образование, учась вместе с Радищевым в Лейпциге.

— Что ты, что ты! — Державин потянул листки к себе.

— Возьму под неотступною клятвою никому постороннему не показывать... — взмолился Козодавлев. — Только тетушке моей Анне Осиповне Бобрищевой-Пушкиной... Ты же знаешь, как она любит поэзию, а особливо твои сочинения!..

Державин, сильно прищепеливая, сказал:

— Ну ладно! Ежели ты, Осип Петрович, обещаешь, что ни одна душа, кроме Анны Осиповны, не узнает, что делать — бери!

Вечеру того же дня поэт получил листки назад и успокоился. Но через два дня его навестил взволнованный Львов:

— Ода твоя открыто читана в доме Ивана Ивановича Шувалова в присутствии обедавших у него гостей!

Дом знаменитого и уже престарелого вельможи и мецената Шувалова находился на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы. Он был выстроен в два этажа по проекту архитектора Кокоринова и почитался

одним из красивейших в Питербурхе. Богатая анфилада комнат была вся увешана портретами и картинами известнейших европейских, а также русских мастеров — Никитина, Антропова, Аргунова, Егорова, Левицкого. В главной зале, выходящей окнами на Невский, у дверей за столиком сидели два старика, вечно играя в вист. Один маленький, в черном кафтане был француз-камердинер Бернар, другой огромного роста — гайдук-силач, спасший жизнь Шувалову в Швейцарии. Над их головами висела большая картина: швейцарский пейзаж и повисшая над пропастью карета, которую удерживает на своих плечах гигант гайдук. Оба старика жили на пенсии и ежедневно безотлучно дежурили в картинной зале.

В светлой угловой комнате с семью окнами, в большом кресле принимал друзей. сам хозяин, седой, сухощавый, в светло-сером кафтане и белом камзоле. Речь и видом он был бодр, добродушен, упредителен, весел; только слаб ногами. Гости уже отобедали и теперь предались удовольствию литературной беседы. Не участвовал в ней лишь чудаковатый старец в цветном польском платье — домашний врач Шувалова Кирилло Каменецкий, автор знаменитого «Травника».

— Иван Иванович! Vous êtes président des muses, doyen glorieux de nôtre littérature et science<sup>[8]</sup>. — Маленькая женщина с подвижным лицом, большелобая, с вздутыми щеками сыпала французскими словами. — Столько знаменитостей перебивало в сей гостиной! Толь блестящие лица сиживали в этих креслах. Расскажите нам о литературных вечерах, о пиитах, вас навещавших, о незабвенном Ломоносове!

— Да, ваше высокопревосходительство, это будет истинно изрядно и преизрядно! — поддержал княгиню Дашкову тучный Безбородко. Он отдал уже должную дань Бахусу и теперь, надувая толстые щеки и выпуская воздух через ноздри, благодушно покоился в креслах.

— Извольте, господа! Извольте! — говорил Шувалов. — Только ведь все знаменитые лица отличались, прости, господа, и знаменитыми странностями...

Он задумался и перекрестился мелким крестом. Это была его давнишняя привычка, которую он приобрел, живя в век вольнодумства. Речь его была светлая, быстрая, без всяких приголосков.

— Вот-вот! Поведайте-ка, ваше высокопревосходительство, о распрях Ломоносова с покойным Сумароковым. То-то небось потеха была! — Сидевший в уголку неряха в изодранном на локтях платье, краснолицый, багровоносый, но в тщательно напудренном парике с густо на помаженной косой отложил в сторону том Гомера.

Это был известный поэт и переводчик Ермил Иванович Костров,

которому Шувалов покровительствовал. По обыкновению своему Костров был уже сильно навеселе.

— Ломоносов с Сумароковым были непримиримыми врагами... — запрокинув красивую седую голову к потолку, где нежились в облаках розовые, порскающие младенческой плотью амуры, продолжал Шувалов. — Чем более в спорах Сумароков злился, тем больнее Ломоносов язвил его. И если оба не совсем были трезвы, — тут вельможа бросил на Кострова строгий взгляд, — то оканчивали ссору запальчивой бранью. Так что я принужден был высылать их обоих или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, я тотчас зову Сумарокова. Тот, услышав голос Ломоносова, или уходил, или, подслушав его жалобы, вбегал с криком: «Не верьте, ваше превосходительство, он все лжет! Удивляюсь я, право, как вы даете у себя место такому пьянице!» — «Сам ты пьяница, неуч, сцены твои краденые!»

Вельможа откинулся на спинку кресла и первый умеренным хохотком сопровождал свое воспоминание о давних и истинно меценатских шутках. Взял черепаховую, в смарагдах табакерку, щелкнул крышкой, нюхнул щепоть табаку и за сладким чихом добавил, посерьезнев:

— Но иногда мне удавалось примирить их, и до чего ж они тогда оба были приятны и остроумны!..

— Ах, — сказала Дашкова, открывая в улыбке плохие зубы, — Ломоносов оставил нам высокие образцы парения! Но нет у нас еще пиитов в том легком, изящном роде, в коем толь славно показали себя французские сочинители — господин Вольтер, Дидерот или юный Парни...

Шувалов, не подымаясь с кресел, открыл бюро и вынул связку бумаг. Получив под великим секретом от Козодавлева список державинской «Фелицы» и любя автора, не мог он не вытерпеть, чтобы не прочесть сие первое такого рода на русском языке творение:

— Вот забавная вещица, которая, возможно, опровергнет, княгиня, ваше суждение...

Он читал хорошо. Быстро и легко полилися веселые, добродушно-насмешливые, а порою язвительные строки. Все внимали молча, только Костров все порывался вскочить, всплескивая руками, парик его растрепался, и мука осыпала лицо. Но, видно, изрядный хмель мешал ему утвердиться на ногах, и он снова опускался в кресла.

*...А я, проспавши до полудни,  
Курю табак и кофе пью;  
Преображая в праздник будни,*



*Кружусь в химерах мысль мою:  
То плен от Персов похищаю,  
То стрелы к Туркам обращаю;  
То, возмечтав, что я султан,  
Вселенну устрашаю взглядом;  
То вдруг, прельщаясь нарядом,  
Скачу к портному по кафтан.*

— Браво, браво! — не удержалась Дашкова. — Точная копия светлейшего князя Потемкина.

— Коего мысли на счет сей оды мы еще узнаем... — вставил насмешливо племянник хозяина и главный директор банков Андрей Петрович Шувалов.

*Или в пиру я пребогатом,  
Где праздник для меня дают.  
Где блещет стол серебром и золотом,  
Где тысячи различных блюд, —  
Там славный окорок вестфальской,  
Там звенья рыбы астраханской,  
Там плов и пироги стоят, —  
Шампанским вафли запиваю  
И все на свете забываю  
Средь вин сластей и аромат...*

*Или великолепным цугом  
В карете английской, золотой,  
С собакой, шутком, или другом,  
Или с красавицей какой,  
Я под качелями гуляю,  
В шинки пить меду заезжаю;  
Или, как то наскучит мне,  
По склонности моей к преме, —  
Имея шапку на бекрене,  
Лечу на резвом бегуне.*

*Или музыкой и певцами,  
Органом и волынкой вдруг,*

*Или кулачными бойцами  
И пляской веселю мой дух;  
Или, о всех делах заботу  
Оставя, езжу на охоту  
И забавляюсь лаем псов;  
Или над невскими берегами  
Я тешусь по ночам рогами  
И греблей удалых гребцов...  
Таков, Фелица, я развратен!  
Но на меня весь свет похож...*

Шувалов сделал паузу и многозначительно оглядел слушателей. Но те уже сами понимали, что не какого-то одного вельможу избрал неизвестный им поэт мишенью для насмешек. Роскошь и всяческие излишества — распутство, пьянство, картеж, гульба, чревоугодие заполняли жизнь придворных. Всякий, кто имел чин выше полковничьего, понужден был ездить в карете, запряженной четверкой или шестеркой лошадей, с бородатым кучером в кафтане и двумя форейторами. У многих вельмож по старому обычаю содержались еще шуты. У покойной Анны Иоанновны было обер-дураков несчетно: кавалер ордена святого Бенедикта итальянец Педрилло, Самоедский король шут Лакоста, при собачках — князь Волконский. А квасник князь Голицын, исполняя роль наседки, сидел в плетушке и при появлении императрицы резво кудахтал. Анна Иоанновна женила его на калмычке Бужениновой, приказав выстроить для них знаменитый Ледяной дом. Однако и у князя Потемкина-Тавричеокого был обер-дурак Мосс, и при Алексее Орлове неотлучно находился свой шут. Тот же Орлов был охотник до конских скачек, сохранив до старости свою страсть. Он вывел знаменитую породу рысаков и в бархатной малиновой шубе самолично ездил на них то тротом, то на рысях. Все Орловы любили всякое молодечество, кулачные бои и песни, а кроме того, греблю. А среди поклонников псовой охоты особенно выделялся граф Петр Иванович Панин...

— Шувалов! — Костров уже стоял, хоть и колеблясь тощим своим телом, на ногах. — Ты меценат, лиющий доброты и отыскивающий посреди россиян истых гениев! Ты... — и он продекламировал отрывок из своей оды, писанной в честь прибытия вельможи в Москву в 779-м году:

*Такое наш Парнас принял себе начало;*

*Так солнце в нем наук тобою воссияло!..  
Так теплая роса твоих благотворений,  
В сердца разлившись муз и в недра их селений,*

*Растит парнасские плоды;  
Их сладость общество вкушает —  
И благодарностью венчает  
Тобой подъяеммы изящные труды...*

Костров плакал. Уже не мука, а тесто ползло по его красному лицу. Прерывчато всхлипывая, он бормотал:

— Каков пиит? Непротоптаным воистину путем шагает! Толь прекрасная новизна! Видно, парящи оды уже свое отжили.

— Ладно, ладно, Ерилла Иванович, садись... — с довольной важностью мурчал Шувалов. — Что ты, право, разрюмился?.. Эй, люди! отведите господина Кострова за столы да налейте ему еще пуншу!

— Ваша взяла! — Дашкова уже стояла рядом с Шуваловым и перелистывала оду. — Вот драгоценная находка для первого номера нового журнала.

Одобряли оду все — чиновники, военные и сам статс-секретарь при государыне Александр Андреевич Безбородко. И все же Шувалов не на шутку встревожился, когда поутру к вельможе явился посыльный от Потемкина. Второе лицо в России, он затребовал оду к себе.

#### 4

— Как нам быть и что делать? Отсылать ли ее к нему так, как она есть, или выкинуть некоторые места.

Шувалов пригласил к себе несчастного автора «Фе-лицы» и все ему рассказал. Сам он отличался крайней нерешительностью, что служило при дворе вечным предметом для насмешек.

— Кто же Потемкину сказывал? — негодуя, отрывисто спросил Державин.

— Не иначе, как племянш мой Андрей Петрович пустил все в разгласку! Он как человек придворный, видно, хотел тем подслужиться.

Державин задумался.

— Ежели сочинение это уже известно, — твердо сказал он, — то когда

вы его не пошлете или что-нибудь из него выкинете, князь в самом деле может почесть, что оно нащот его написано... Но как оно есть не что иное, как общее изображение страстей человеческих и писано без всякого злого намерения, то я подпишу свое имя и прошу вас, ваше высокопревосходительство, отослать его к требователю!

Показав вид бодрости, поэт, однако ж, беспокоился, чтоб толь сильный человек, как Потемкин, не начал бы ему мстить и не сделал бы каких неприятных внушений императрице. Он никак не мог предполагать, что в сей миг ода его уже печаталась по указанию княгини Дашковой на первых страницах «Собеседника Любителей Российского Слова»...

В воскресенье порану, когда Дашкова обыкновенно прихаживала к Екатерине II, она поднесла «Фелицу» на апробацию государыне. Императрица имела обыкновение вставать в шесть пополуночи, когда в Зимнем дворце все еще спали. Она одевалась, зажигала свечи и разводила камин, переходила в другую комнату, где для нее была приготовлена теплая вода для полоскания горла. Затем она брала лед для обтирания лица у камчадалки Алексеевой. После утреннего туалета Екатерина II шла в кабинет, куда приносили ей крепкий кофе с густыми сливками и гренками. Кофе для императрицы варили из одного фунта на пять чашек, после нее лакеи доливали воды в остаток, а истопники за ними еще и переваривали.

Выпив кофе, — Екатерина II садилась за дела. В ее кабинете все бумаги лежали в согласии с раз и навсегда заведенным порядком. Во время чтения бумаг перед нею ставилась табакерка с изображением Петра Великого. Императрица говорила, глядя на него:

— Я мысленно спрашиваю, что бы он запретил или что бы он стал делать на моем месте?

После девяти часов первый к ней входил с докладом обер-полицеймейстер Никита Иванович Рылеев, человек исполнительный и преданный государыне, но до крайности тупой, прославившийся приказом питербурхским жителям, дабы они загодя, а именно за три дня, извещали полицию, у кого в доме имеет быть пожар. Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на припасы и что говорят о ней в народе. После него появлялся генерал-прокурор Вяземский с мемориями от сената, за ним — генерал-рекётмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, управляющие военною, иностранною коллегиями.

Не терпя разных попрошайек, Екатерина II любила щедро награждать. Подарки она делала всегда неожиданно: то пошлет плохонькую табакерку, набитую червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то рукомойник с водою, из которого выпадет прекрасное кольцо.

Бывали подарки и обличительного свойства — для исправления нравов придворных. Узнав, что некий пожилой вельможа полюбил очень крепкие напитки, Екатерина II подарила ему огромных размеров кубок; другому перестарку, поклоннику прекрасного пола, взявшему к себе на содержание танцовщицу, послала попугая, наученного говорить: «Стыдно старику дурачиться!»; а охотнику до женских рукоделий, поднесшему ей расшитую шелками подушку, подарила бриллиантовые серьги...

В понедельник поутру Дашкова была вызвана императрицей, которая ожидала ее в парадной уборной. Екатерина II сидела в креслах, и ее распущенные прекрасные темные волосы доставали до пола. Но парикмахер Козлов в растерянности не смел к ней приблизиться — лицо государыни было заплакано.

— Кто? Кто сей сочинитель, который меня так тонко знает? — спросила она у Дашковой, и, как быв неубранной, направилась к себе в кабинет.

*Мурзам твоим не подражая,  
Почасту ходишь ты пешком,  
И пища самая простая  
Бывает за твоим столом;  
Не дорожа твоим покоем,  
Читаешь, пишешь пред налоем  
И всем из твоего пера  
Блаженства смертным проливаешь;  
Подобно в карты не играешь,  
Как я, от утра до утра.*

*Не слишком любишь маскарады,  
А в клоб не ступишь и ногой;  
Храня обычаи, обряды,  
Не донкишотствуешь собой;  
Коня парнаска не седлаешь,  
К духам в собранье не въезжаешь,  
Не ходишь с троном на Восток;  
Но, кротости, ходя стезею,  
Благотворящею душою  
Полезных дней проводишь ток...*

В кабинет бесшумно вошел статный большеглазый красавец во флигель-адъютантском мундире Ланской. Она с чуткостью искусственной женщины, не поворачивая головы, движением руки нашла его, остановившегося позади.

— Мы с Александром Дмитриевичем до ночи друг другу вслух сию оду читывали. До чего все верно!..

«Еще бы! — язвительно подумала Дашкова. — Ведь единственное идеальное лицо в сем сочинении — сама Фелица!» — и быстро ответила:

— Истинно так! Поэт проявил, право, государственный ум в оценке своей императрицы и в назидание прошлым кровожадным и злобным владыкам на троне:

*Стыдишься слыть ты тем великой,  
Чтоб страшной, нелюбимой быть;  
Медведице прилично дикой  
Животных рвать и кровь их пить.  
Без крайнего в горячке бедства  
Тому ланцетов нужны ль средства,  
Без них кто обойтись мог?  
И славно ль быть тому тираном,  
Великим в зверстве Тамерланом,  
Кто благостью велик, как бог?..*

— Ах, все эго правда! — Екатерина II батистовым платочком вытерла мокрое лицо. — Александр Дмитриевич, друг мой! Вели-ка вызвать посыльного моего Федора Михайловича, дабы он всем министрам оду сию разнес. А мы с Екатериной Романовной сейчас каждому поименно те строчки подчеркнем, в коих он толь верно задет...

— Они с этой карлицей Дашковой решили меня в срамном виде выставить. Ишь как быстро сплясались...

*Иль, сидя дома, я прокажу,  
Играя в дураки с женой;  
То с ней на голубятню лажу,*

*То в жмурки резвимся порой,  
То в свайку с нею веселюся,  
То ею в голове ищуся;  
То в книгах рыться я люблю,  
Мой ум и сердце просвещаю:  
Полкана и Бову читаю,  
За Библией, зевая, сплю...*

Генерал-прокурор вертел в руках номер «Собеседника», тыкая пальцем то в одно подчеркнутое место, то в другое, а Бутурлин и новый управляющий экспедиции, свойственник князя Сергей Иванович Вяземский очестливо стояли подле него.

— Державин — несносный переборщик! — скороговоркою бросил Бутурлин, изобразив на смазливом лице крайнюю степень осуждения. — Сей пустобред только бумагу маракать умеет...

— Да, Александр Алексеевич! И еще порядочный неслух, — добавил новый управляющий. — Самолично, по собственному почину решил за минувший год расходы и доходы империи подсчитать.

— Но я же приказывал не делать нового расписания и табели! — Вяземский отшвырнул журнал.

— Я поставил господина статского советника о том в известность.

— Ну а он?

— Сказал, что приказание сие мудрено и причины ему он никакой не видит...

Причина, однако, существовала, и серьезная. Генерал-прокурору было выгодно занижать доходы государства, выявленные после ревизии. Когда требовались дополнительные средства, а по официальным документам получалось, что взять их негде, тут-то Вяземский и использовал не вошедшие в расчет поступления, удивляя царицу мнимой своей изобретательностью. Но простодушный и прямой Державин не понимал, для чего надо было скрывать доходы. Забрал он у столоначальников все бумаги, сказался на две недели больным и составил новую табель, из которой явствовало, что государственный бюджет можно увеличить на восемь миллионов рублей.

В один из докладных дней, в присутствии всех членов экспедиции Державин представил генерал-прокурору свой труд со словами:

— Вы изволили приказать не сочинять новой табели, а поднести старые. Сие исполнено. Но, думая, чтоб за то не подвергнуться гневу

монаршьему не только нам, но и вашему сиятельству, осмелился я сочинить правила, из коих вы изволите увидеть, что можно показать и новое состояние государственной казны.

Завиды и ярости обуяли рассвирепелого начальника. Взбешенный, он дернул себя за букли — явилась голизна, скрытая париком. Вяземский не скрипел, а кричал:

— Вот новый государственный казначей! Вот умник! Садись, коли так, на мое место!

Пораженный неблагодарностью, Державин прослезился и, приняв выговор, твердо ответил:

— Много мне делать изволите чести, ваше сиятельство, почитая меня быть достойным государственным казначеем...

Но давняя ненависть и злоба к поэту душили Вяземского.

— Извольте же, сударь, отвечать, — кричал он, — коли не будет доставать суммы против табели на новые расходы!..

К сему свое твяканье присоединил поклепник и полыгало Бутурлин.

— Что ж, ежели вы изволите сомневаться в сих правилах, — упрямо сказал Державин, — не угодно ли приказать рассмотреть оные, подав вам рапорт. Ежели я написал бред, тогда меня уж и обвиняйте.

Генерал-прокурор сделал знак Сергею Ивановичу Вяземскому и Бутурлину:

— Хорошо! Рассмотрите немедленно и подайте мне рапорт.

Он был уверен, что в трудах легкомысленного сего бумагомараки найдут они какую-нибудь нелепицу. Сделав собрание, чиновники наистрожайше рассмотрели новую табель, но, сколько они ли покушались опровергнуть сведения, все двадцать человек управляющих и советников единогласно подали рапорт, что новую табель можно поднести ее величеству. Трудно изобразить, какая фурия представилась на лице Вяземского, когда он прочел сей акт! Не сказав ни слова, генерал-прокурор отвел в сторону молодого Вяземского и, пошептав ему что-то на ухо, а затем и Васильева, который также ему был свойственник, будучи женат на двоюродной сестре его супруги.

«Худая награда за мои труды! — сказал себе Державин. — Нельзя там ужиться, где не любят правды».

Он вышел в экспедиционную комнату и написал князю Вяземскому письмо, просясь у него в отпуск на два года для поправления расстроенного хозяйства, а если сего сделать не можно, то и совсем в отставку. Отдав письмо секретарю, Державин ушел домой и несколько дней не выходил из комнат. Между тем история сия разнеслась по городу и дошла со всеми



подробностями до сведения Екатерины II через благоволившего поэту графа Безбородко. Вскоро к Державину явился столоначальник Васильев. Он снова, но уже притворно предлагал примириться и сказал между прочим, что письмо Державина лежит перед князем на столе и что тот не хочет по нем докладывать государыне, а велит подать формальную записку в сенат. Это означало полную немилость у генерал-прокурора, а также показывало, что Вяземский боится докладывать сам о певце Фелицы.

— Я у его сиятельства под начальством служить не могу! — отрывисто ответил Васильеву Державин и тотчас же подал просьбу об отставке.

Сенат поднес императрице доклад, в коем присудил Державина наградить чином действительного статского советника в поощрение его ревностной службы. Когда 15 февраля 1784-го года Александр Андреевич Безбородко зачитал это решение, Екатерина II сказала:

— Передайте Державину, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет. А как надобно будет, я его позову.

## 6

В царствование Екатерины II в Москве и в Петербурге гвардии поручики, бригадиры, коменданты, наместники сочиняли в стихах и в прозе, переводили со всевозможных языков, в том числе и с тех, которые знали только со слов толмача. Даже девушки и дамы занимались сочинительством.

Пример подавала сама императрица. В новом журнале «Собеседник» она выступала в нескольких ролях. И прежде всего как заботливая бабка.

До сих пор не раскрыта тайна рождения Павла I. Здесь таится загадка всей царствовавшей линии Романовых. Но та нелюбовь, нет, ненависть, какую проявляла царица к наследнику, бросалась всем в глаза.

Тот день, когда она была обязана по этикету или по каким-либо иным обстоятельствам видеть сына, Екатерина II считала для себя потерянным.

Она терпела в сорока верстах от Петербурга рыцаря в замке, много сходствовавшего, по ее мнению, с Дон-Кихотом и содержавшего при себе несколько батальонов пехоты и до тысячи конных солдат, набранных из голштинцев, а также из преступников, чрез вступление к нему на службу избежавших мщения законов.

Сколь не любила она сына, столь обожала, боготворила внуков, Александра и Константина, и не позволяла Павлу ни одного из детей своих

иметь при себе. Известно, что Екатерина II написала завещание, по которому передавала корону Александру, устраняя от наследия Павла Петровича. Сей акт хранился у Безбородко, который поднес завещание Павлу Петровичу, когда Екатерина II была еще жива. Двенадцать тысяч душ в Малороссии, титул светлейшего князя и место канцлера были наградой Безбородко.

Свои художественные сочинения — нравоучительную «Азбуку» и известную уже нам сказку о царевиче Хлоре императрица предназначала для задуманной ею «Александровско-Константиновской библиотеки», то есть для своих малолетних внуков. В «Собеседнике» она начинает печатать обширные «Записки касательно российской истории», в ту пору, когда еще ни одного учебника по этому предмету не имелось.

Иностранку по происхождению, Екатерину II возмущало пристрастное, ненавистническое отношение к России со стороны многих европейцев. В предисловии к «Запискам» она отмечала: «Сии записки касательно российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем истории российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан, каждое обстоятельство в превратном виде не только представлено, но к оным не стыдился прибавить злобные толки. Писатели те, хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков пред глазами, но или оных не читали, или язык русский худо знали, или же перо их слепую страстию водимо было...»

Правда, и сама Екатерина II грамматику знала не очень твердо: слог ее чистили и выправляли сперва Дашкова, а потом Храповицкий. Но, несмотря на свои «грешные падежи», эта урожденная немецкая принцесса, пожалуй, была подготовлена к тому, чтобы заниматься российской словесностью лучше, чем многие коренные русские, нередко воспитанные, подобно героям фонвизинского «Бригадира», в духе пренебрежения к собственной культуре и родной речи.

Считая особенно важным в воспитании великих князей «познание России во всех ее частях», государыня намеревалась наставлять не только своих внуков, но и подданных. Начало ее литературной деятельности относится к 769-му году, когда Екатерина II стала издавать сатирический журнал «Всякая всячина». Почти тотчас же со страниц другого, организованного в том же 769-м году журнала «Трутенъ» раздался голос Правдолюбова, который обличал крепостников, лихоимцев-чиновников, резко нападал на «просвещенных монархов» и отстаивал независимость

литературы от власти. Это был псевдоним Н. И. Новикова. Императрица, в свой черед, назидательно советовала «Трутню» поменьше обличать и побольше «хвалить сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю». Полемика, принявшая в конце концов характер острый, неприятный и даже личный, привела к закрытию «Трутня». Теперь, через много лет, прежняя история повторилась. Только в спор с царицей вступил не Правдолюбов, а Нельстецов...

Почти в каждом номере нового журнала «Собеседник» проявляются шутивно-сатирические зарисовки Екатерины II «Были и небылицы», самое заглавие которых навеяно как будто строкою «Фелицы»:

*И быль и небыль говорить...*

Интерес к «Былям и небылицам», которые были написаны живым разговорным языком, подогревался тем, что читатели узнавали в насмешливых, иронических зарисовках видных вельмож: мужа обергофмейстерины Чоглоковой, которого все узнали в Самолюбивом, И. И. Шувалова, выведенного под именем Нерешительного, придворного шпыня Л. А. Нарышкина или, наконец, графа Н. П. Румянцева, который так долго прожил за границей, что сочинения его были уже похожи на плохой перевод с иностранного...

При всей кажущейся бессвязности непритязательных заметок «Были и небылицы» содержали в себе определенную, тяжелую мораль, что особенно явственно проявилось в ходе полемики, возникшей на страницах журнала.

В «Собеседнике» Дашковой участвовали лучшие писатели той поры, которые, подобно Екатерине II, чаще всего печатались под псевдонимом или анонимно. На первом месте был, безусловно, Державин. Успех его «Фелицы» вызвал поток подражаний, а подчеркнутое одобрение оды самой императрицей развязало руки поэтам и поубавило прыти обиженным вельможам. Только скрипунчик Вяземский продолжал, где и как мог, мстить Державину. На страницах «Собеседника» выступили Фонвизин, Костров, Капнист, Княжнин, Богданович, Козодавлев. Участие царицы создавало видимость свободы — она постаралась усилить это впечатление.

— Я не хочу, чтобы при моем появлении цепенели. Не терплю производить действие медузиной головы, — любила говорить Екатерина II, имея в виду легенду о медузе Горгоне, взгляд которой обращал всех в камень.

Но, печатно предложив свободно критиковать на страницах того же «Собеседника», все, что публиковалось в журнале, императрица сама ограничила рамки дозволенного уже своею пестрою смесью: «Все влекущее за собой гнусность и отвращение, в Былях и Небылицах места иметь не может; из них строго исключается все, что не в улыбательном духе».

Августейшая Фелица довольно благосклонно отнеслась к «Челобитной», подписанной «российских муз служителем Иваном Нельстецовым», с жалобой на вельмож, которые «высочайшей милостию достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты». Мишенью насмешек служит прежде всего тот же обер-прокурор Вяземский, преследовавший Державина. Однако автор «Челобитной», Денис Иванович Фонвизин, пошел много дальше и предложил под именем Нельстецова «Собеседнику» ядовитые вопросы, обращенные к самой царице.

Напрасно Шувалов и Дашкова отговаривали его посылать вопросы; они предвидели гнев царицы и не ошиблись.

Через несколько дней, приняв Дашкову в Зимнем дворце, Екатерина II встретила ее раздраженными упреками, приписав авторство обиженному ею Шувалову:

— Это уж слишком! Вот уже сорок лет мы дружим с господином обер-камергером, а потому очень странно шутить так зло!..

Она быстро шла дорожкой висячего сада в Эрмитаже, и маленькая Дашкова семенила позади. Дорожка, устроенная на дерновой поверхности, была обсажена прекрасными белоствольными березами, меж которыми весело пестрели полевые цветы...

— Без сомнения, обер-камергер желает мне отплатить за портрет Нерешительного...

— Ваше величество! Автор сих вопросов не Шувалов... — быстрая, но без грации Дашкова опередила царицу и заглянула ей в лицо. — Уверяю вас, в них не обнос и обида, а всего лишь шутливая забиячливость...

Проходя по комнатам, в каждой из которых было воздвигнуто скульптурное изображение аскетически худого большелобого старца с тонким горбатым носом и проваленною ядовитою улыбкой — из терракоты, из фарфора, из бронзы, — Екатерина II приостановилась:

— Ах! Хоть ты одари меня частицей своей мудрости, фернейский волшебник!

«Играешь? Перед кем? Перед мною? Уж мы-то с тобою не знаем друг друга? — по давней своей привычке Дашкова часто думала по-французски.

— Разве что репетируешь сей фарс перед копией Вольтера, чтобы насладиться игрою с подлинником?»

— Кто же автор? — не оборачиваясь и не меняя тона, спросила государыня.

— Господин Фонвизин.

— Секретарь Никиты Ивановича Панина? Как это говорят россияне... «Яблоко от яблони падает недолго...»

— «Недалеко», ваше величество.

Никита Панин, бывший наставником при великом князе Павле Петровиче, был в 783-м году отстранен Екатериною II от руководства Иностранною коллегией. Государыня почитала его — и не без оснований — своим скрытым противником.

В кабинете Екатерина II взяла с наложницы листки:

— Извольте, Екатерина Романовна, выслушать четырнадцатый пункт вопросов, помещенный, кстати, два раза. Уж не с тем ли, чтобы можно было один исключить, не нарушая порядка нумеров? «Имея монархию честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом удостоиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?» Каков вопросец? А вот еще: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма общие?»

«В прежние времена! — Императрица разволновалась так, что у нее вспыхнули кончики ушей. — Да о каких таких временах говорит господин критик? Уж не о царствовании Анны Иоанновны, когда шутами был полон двор, меж тем, как меня один шпынь Нарышкин смешит чтением «Телемахиды» Тредиаковского?..»

«Ну, пожалуй, не один Нарышкин... — Дашкова улыбнулась одними глазами, которые только и были хороши на ее некрасивом лице. — Как ценишь ты на своих вечерах вельмож со способностями выделять различные гримасы! Например, барона Ванжуру, который, двигая кожею лица, спускает до бровей свои волосы, и, как парик, передвигает их направо и налево... Или Безбород-ку, превосходно изображающего картавого... А не с того ли началось возвышение Потемкина, что он когда-то рассмешил тебя до слез, передразнив голоса всех твоих ближних, а затем и твой собственный?..»

— Ваше величество! Перечитайте сии вопросы... Право же, они не так предрассудительны, как кажутся с первого разу...

Екатерина II подошла к большому зеркалу и поглядела на себя, чтобы сгладить неприятное выражение на лице и прибрать черты свои.

— Хорошо, — уже спокойно сказала она. — Сатиру можно напечатать, но лишь вместе с таковыми ответами, которые бы исключили самый повод к еще большим дерзостям...

И все же Дашкова видела, что Екатерина II еле сдерживает гнев. Как? Ставить под сомнение успехи ее царствования, которым она сама так гордилась? Свободы для дворянства, которые толь отличают ее время от правления Анны Иоанновны или Петра Федоровича? Легко требовать несбыточного господину критику и как трудно чего-либо добиться!..

— А как вам понравилось новое сочинение нашего славного пиита Державина? — желая придать иное направление мыслям царицы, спросила Дашкова.

— «Благодарность Фелице»? Оно отмечено истинным талантом. — Екатерина II листала второй номер «Собеседника». — Но пииты стыдливы, словно мимозы:

*Когда небесный возгорится  
В пиите огонь, он будет петь;  
Когда от бремя дел случится  
И мне свободный час иметь, —  
Я праздности оставлю узы,  
Игры, беседы, суеты;  
Тогда ко мне приидут Музы,  
И лирой возгласишься ты...*

— Мне бы, — задумчиво продолжала государыня, — хотелось бы продолжения в духе незабвенной «Фелицы»...

Собственно, ту же мысль — продолжить направление «Фелицы», распространить далее восхваление Екатерины II — высказывали Державину читатели. Они настойчиво советовали ему:

*Любимец Муз и друг нелицемерный мой,  
Российской восхитясь премудрою царицей,  
Назвав себя мурзой, ее назвав Фелицей,  
На верх Парнаса нам путь новый проложил,*

*Великие дела достойно восхвалил;  
Но он к несчастью работает лениво.  
Я сам к нему писал стихами так учтиво,  
Что кажется, нельзя на то не отвечать,  
Но и теперь еще изволит он молчать.*

Наставлявший Державина Осип Петрович Козодавлев, конечно, не понимал независимой натуры поэта, который, восхищаясь Екатериною II, восхищался ею не безоглядно. Честный и прямой, он был скуп на похвалы царице и ее ближним. Даже благоволивший ему Безбородко и тот удостоился лишь мимоходом высказанной признательности.

В чем же виделось Державину назначение поэзии, ее роль? Об этом поэт говорит в оде «Видение мурзы», вышедшей лишь в 791-м году:

*...Когда  
Поэзия не сумасбродство,  
Но вышний дар богов, тогда  
Сей дар богов лишь к чести  
И к поученью их путей  
Быть должен обращен, не к лести  
И тленной похвале людей.  
Владыки света — люди те же;  
В них страсти, хоть на них венцы,  
Яд лести их вредит не реже,  
А где поэты не льстецы?*

Стихи эти он писал в Нарве. Была ранняя весна 784-го года, дороги развезло, и от поездки в свои дальние белорусские деревни, которых Державин ни разу не видел, пришлось отказаться. Здесь, на ямском подворье, пришло ему на ум, что вдали от городского рассеяния, в уединении может он многое из задуманного в Питербурхе закончить.

Ночью, чувствуя сильную боль в голове, он едва пос-волокся с постели. Было темно, от печи, смутно белевшей мелом, несло угаром. Державин открыл заслонку и пофукал на угли. Так и есть: уголь еще рыжий, недоспелый. Он сорвал брюшину, заменявшую в крестьянском окне стекло. В комнату глянуло чистое небо с живым узором звезд. Слева от мерцающего Семизвездия, занимая полнеба, горела Телега, дышло

которой указывало точно на север. Спомнился Ломоносов:

*Открылась бездна звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне — дна...*

Величие природы, ощущение незримой, но явственной связи бесконечного мира и человека охватили поэта. Спомнив черновые свои записи, сделанные еще в 780-м году, в бытность во дворце у всенощной, в день светлого воскресенья, он прошептал:

— Вот главный источник вдохновения...

Понимая, что в крестьянской избе неловко ему будет заняться сочинительством, оставил он на постоялом дворе повозку с людьми, а сам перебрался в небольшой покойник к престарелой немке. Здесь Державин ощущал себя отрезанным ото всего — от любимой Екатерины Яковлевны, которую он убедил ненадолго с ним расстаться, от друзей, от интриг Вяземского, от дворцовых самолюбий, от суетной славы. Утрами порану, выпив молока с шарлоткой — запеченным черным хлебом с яблоками, садился он мараť листки, перечеркивал, исписывал и не успевал заметить, как надвигался вечер, а там и зорю встречал с гусиным пером в кулаке...

Нечто непостижное, великое и всемогущее, именуемое богом, стоит у начала вселенной, у истока всех ее тайн. Он сама природа, ее породитель, и одновременно ее порождение; он творящее начало и последствие творения. До кружения головы вдумывался, вмучивался Державин в эту истину:

*Хаоса бытность довременну  
Из бездн ты вечности воззвал,  
А вечность, прежде век рожденну,  
В себе самом ты основал.  
Себя собою составляя,  
Собою из себя сияя,  
Ты свет, откуда свет истек.  
Создавый все единым словом,  
В твореньи простираясь новым,  
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!*

*Ты цепь существ к себе вмещаешь,  
Ее содержишь и живишь,  
Конец с началом сопрягаешь*



*И смертью живот даришь.*

*Как искры сыплются, стремятся,  
Так солнцы от тебя родятся;  
Как в мразный ясный день зимой  
Пылинки инея сверкают,  
Вратятся, зыблются, сияют,  
Так звезды в безднах пред тобой...*

Что человек в бесконечных просторах мироздания? Пылинка! Нет, это миллионнократно умноженные миры выглядят пылинкою, точкою рядом с богом, создавшим их. Как же определить тогда человека вблизи творящей бездны? Бог — бесконечность, а я, человек, перед ним ничто. Ничто? Но ведь я не отдельное, независимое ото всего сущего начало, не машина, запущенная искусным механиком. Во мне и через меня проходит связь со всем целостным и громадным миром, осознаваемым мною. Я не только превыше косных тел, но и плотских тварей: во мне дух, добро, мысль, вера. Ты создал меня — значит, ты и во мне самом!

*Ничто! — Но ты во мне сияешь  
Величеством твоих доброт,  
Во мне себя изображаешь,  
Как солнце в малой капле вод.  
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,  
Несытым неким летаю,  
Всегда пареньем в высоты;  
Тебя душа моя быть чаёт,  
Вникает, мыслит, рассуждает:  
Я есмь — конечно есть и ты!*

*Ты есть! — Природы чин вещает,  
Гласит мое мне сердце то,  
Меня мой разум уверяет:  
Ты есть — и я уж не ничто!  
Частица целой я вселенной,  
Поставлен, мнится мне, в почтенной  
Средине естества я той,  
Где кончил тварей ты телесных,*

*Где начал ты духов небесных  
И цепь существ связал всех мной.*

Державин в волнении бегал по тесной горенке. Словно бы раздвинулись и исчезли стены бедного немецкого домика, и в бесконечности вселенной предстала таинственная, в сдвинутых противоположностях сущность человека:

*Я связь миров повсюду сущих,  
Я крайня степень вещества,  
Я средоточие живущих,  
Черта начальна божества.  
Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь — я раб, я червь — я бог!*

Несколько суток почти без перерыву писал Державин. Воображение его было столь раскалено, что вместо сна приходило тревожное, прерываемое новыми мыслями и образами забытье. Наконец, не дописав последней строфы, он забылся перед зарею. Поэт чувствовал, как погружается в пучину сна, но тотчас же снова какою-то мощною волною был поднят с постели. Была ночь, а по стенам бегал яркий, обжигающий глаза свет. Слезы ручьями полились у Державина из глаз.

Он кинулся к столу и при свете лампы закончил оду:

*Неизъяснимый, непостижный!  
Я знаю, что души моей  
Воображения бессильны  
И тени начертать твоей;  
Но если славословить должно,  
То слабым смертным невозможно  
Тебя ничем иным почитать,  
Как им к тебе лишь возвышаться,  
В безмерной разности теряться  
И благодарны слезы лить.*

Ода «Бог» принесла Державину европейскую известность, была переведена на множество языков, вплоть до японского. Начертанная иероглифами, она висела в одном из дворцовых покоев у микадо; японцев особенно поразила строка: «И цепь существ связал всех мной». Одних французских переводов насчитывалось пятнадцать.

Воротившись в Петербург, Державин получил из Царского Села через графа Безбородко известие об определении его губернатором в Олонец. Указ об этом Екатерины II последовал 20 мая 1784-го года. Получив его, генерал-прокурор Вяземский сказал любимцам своим, завидующим счастью бывшего их сотоварища:

— Скорее по носу моему ползут черви, чем Державин просидит долго губернатором...

## Глава пятая

# ПОЭТ-ГУБЕРНАТОР



*Я знаю, должность в чем моя.  
Под ней сокрывшись, я, как будто не нарочно,  
Все то, что скаредно и гнусно и порочно,  
И так и сяк ни в ком не потерплю.  
Не в бровь, а в самый глаз я страсти уязвлю.  
И буду только тех хвалою прославлять,  
Кто будет нравами благими удивлять,  
Себе и обществу окажется полезен...  
Будь барин, будь слуга, но будет мне любезен.*

*Державин*

Определенный в Олонец губернатором, Державин вместе с женою отправился повидать старуху мать, которой было уже за шестьдесят лет. Но им не суждено было застать ее в живых: Фекла Андреевна скончалась за три дня до их приезда. Державин и Катерина Яковлевна и несколько лет спустя без слез не могли вспоминать о том, как откладывали-откладывали эту поездку, да и прибыли слишком поздно...

Олонецкая губерния вместе с Архангельскою составили новое наместничество, во главе которого Екатериною II был назначен генерал-поручик Тимофей Иванович Тутолмин. Прекрасный собою, большого росту мужчина, он получил образование в царствование Елизаветы Петровны в шляхетском корпусе и, участвуя в Семилетней и первой турецкой войнах, пользовался особливим расположением знаменитого Румянцева. Он командовал Сумским гусарским полком, который до того хорошо был выучен маневрировать, что после замирения с Фридрихом II Румянцев хвастался всегда перед приезжавшими к нему пруссаками, посылая их смотреть ученья этого полка. Однако Тутолмин, умевший довести своих гусар до желаемого им совершенства, по части сражений был не великий охотник. Полк его дрался отлично; турки узнавали сумцев по желтым мантиям и бежали вспять. Тутолмин всегда бывал с полком, но сзади, а не впереди гусар своих. Румянцев ожидал, ожидал, не попривыкнет ли он к бою, не ободрится ли, и наконец сказал:

— Ты знаешь небось, Тимофей Иванович, сколь много я тебя уважаю и сколь мне будет прискорбно расстаться с тобою. Но говорю тебе дружески: не годен ты для войны. Вот тебе всеподданнейшее письмо мое ее величеству. Всемиловитейшая государыня соизволит употребить тебя на поприще службы гражданской. Уверяю тебя, мой друг, в непродолжительное время ты достигнешь высоких чинов и приобретешь полное доверие монархини...

Проницательный Румянцев в плохом воине разглядел дельного администратора. Через год Тутолмин был тверским вице-губернатором, через два — тверским губернатором, через три — губернатором екатеринославским, а затем — архангельским и олонеким наместником, кавалером ордена Александра Невского и Владимира 2-й степени. Сверх возложенной должности управлять губерниями Тутолмин имел от государыни наказ устроить в Олонце чугуноплавильный завод для литья на флот пушек. Славный мастер Гаскони, англичанин, был переманен и украдкою вывезен из Лондона. Скоро и неожиданно завод был хорошо устроен; литье пушек из чугуна превосходило отливку из меди на питербургском заводе, что очень пригодилось в начавшейся вскорости

войне со Швецией.

Сам Державин отзывается о Тутолмине лишь как о сумасброде, но здесь поэту верить трудно. Другое дело, что, считая себя первым администратором России, Тутолмин был страстный охотник до реформ, проектов и нововведений. Все, что императрице случалось высказать в качестве желательной реформы в будущем, он немедленно приводил в исполнение у себя в виде пробы, отчасти, чтоб угодить императрице, а отчасти, чтоб прослыть просвещенным человеком.

К началу царствования Екатерины II в России насчитывалось всего шестнадцать губерний, учрежденных Петром Великим. После подавления пугачевского восстания было образовано еще двадцать четыре. В каждой из сорока назначался правитель или губернатор, а над ним ставился наместник царицы или генерал-губернатор, которому подчинялось две-три губернии. Таким путем Екатерина II стремилась укрепить администрацию на местах. Однако пределы власти наместника и губернатора не были в точности означены, что уже могло содержать в себе источник недоразумений и раздоров.

Вновь организованная Олонецкая губерния существовала пока что лишь на бумаге. Непроходимые леса и болота, тысячи озер покрывали этот малолюдный, никогда не знавший помещичьего произвола край. Олонецкие крестьяне платили подати государству, и лишь часть их работала на Петровском и Кончезерском железных заводах. По числу населения (206 тысяч) новая губерния уступала прочим, зато обширностью превосходила многие.

Новая должность представлялась Державину очень важной. Он полагал искоренить злоупотребления чиновников, строго блюсти законы, держать в узде хищную ораву присяжных и насаждать просвещение. Зная, что в губернском правлении нет еще ни столов, ни стульев, новый губернатор понакупил мебели и вместе со своею обширною библиотекой отправил все это по Неве, Ладожским каналам и Свири. Чтобы набрать нужную сумму, Державину пришлось заложить некоторые женины и свои драгоценности и, между прочим, табакерку, пожалованную ему за «Фелицу».

В начале октября 784-го года он прибыл в Петрозаводск вместе с семьей, а также канцелярскими служителями, в числе которых был Андриан Моисеевич Грибовский, весьма образованный выходец из Малороссии. Державин занял один из шести имевшихся в городе деревянных, обложенных кирпичом домов на Английской улице, названной так потому, что на ней жили выписанные для завода мастера-англичане. 9

декабря 784-го года губерния торжественно была открыта; празднества продолжались целую неделю.

Вскоре Тутолмин объявил, что желает осмотреть присутственные места, и начал с губернского правления. По чрезвычайному честолюбию и тщеславию своему желалось ему, чтобы его, словно императора, губернатор и все присутствующие чины встречали на крыльце. Державин принял его точно по регламенту, в зале. Тутолмин принялся делать разные придирки, привязываясь даже к новой мебели. А когда Тутолмин выехал из правления для освидетельствования палаты, Державин, в свой черед, проявил строптивость и не почел за нужное провожать его. Это показалось Тутолмину вовсе оскорбительным. Вечеру на беседе и в присутствии многих чиновников наместник громко vychwалял казенную и уголовную палаты и относил свое неудовольствие на присутственные места, подчиненные Державину:

— Я готовлюсь к отъезду в Питербурх и буду непременно жаловаться ее величеству на губернатора, не помогающего мне...

— Не помогаю, ваше высокопревосходительство, когда вы вперед забегаете! — ответил Державин.

— Как это понимать? — вспетушился Тутолмин, бросая на него угрозивый взгляд.

— А так! Вдруг потребовали сбора таковых податей, о которых только еще слышно как о проектируемых в будущем. Да и то в более людных и богатых областях империи.

— А вы... Вы изрядный стихотворец, но, видно, худой губернатор! — вспылил Тутолмин.

«Ах ты притворщик! — пронеслось в голове Державина. — Рази ты сам не кропал стишков? Не восхвалял, будучи в Екатеринославле, в дурных виршах князя Потемкина? Ты наш брат, только с тою разницей, что и стихоткач негодный, и законодатель дурной!»

— Пусть я делаю стишки, зато вы схватываете вершки! — отрезал он, меж тем как чиновники, столпившись, образовали род круга, словно на кулачных боях. — Ваше вредно в важных делах, а мое — немного.

— Вы отъемлете у меня главную мою добродетель — быть миролюбивым человеком! — Тутолмин нагнул пудреную голову, будто и в самом деле собираясь драться.

— Я бы мог изобразить картину кроткого и миролюбивого вашего нрава! — встретил его Державин. — Пристойнее почитаю не делать того. За меня все скажет храбрый Сумский полк...

Тутолмин стал в пень и замолчал.

При отъезде Тутолмина из Петрозаводска в Питербурх, когда он уже откланивался в зале собравшимся на его проводы чиновникам и гражданам и был готов садиться в карету, Державин подал наместнику преогромный незапечатанный куверт с надписью: «Всемиловитейшей государыне императрице в собственные руки».

— Что это такое, Гаврила Романович?

— Донос на ваше превосходительство!

— Гаврила Романович! — повысил голос Тутолмин. — Вы знаете правила почты и то, что доносчики обязаны изветы свои посылать запечатанными. Слуга! Огня, сергуч, печать! Гаврила Романович, вы приложите вашу!

Державин хладнокровно запечатал куверт и подал его Тутолмину за своей печатью.

— Ваше превосходительство, — сказал Тутолмин, — можете быть в том совершенно уверены, что донос ваш будет представлен всемиловитейшей государыне императрице. Прощайте, Гаврила Романович, но еще повторяю вам, как начальник, высочайшею властью поставленный, в продолжение отсутствия моего соблюдать тот же порядок в отправлении дел, какой мною введен и производится. В противном случае вы будете подлежать ответственности.

Он притворно обнял Державина и пошел усаживаться в поданную к крыльцу карету.

Приехавший в столицу наместник или губернатор всенепременно обязан был на другой же день явиться во дворец к ее величеству. Поутру в шесть часов Тутолмин уже был во дворце. Екатерина II пожаловала поцеловать свою руку и с видом беспокойства спросила:

— Это что у вас, Тимофей Иванович?

— Всемиловитейшая государыня! Гражданский олонецкий губернатор Державин в минуту отъезда моего вверил мне всеподданнейше иметь счастье поднести вашему величеству...

— Да что такое?

— Донос на меня, государыня.

Ничто не дрогнуло в лице императрицы:

— Прочту. Садись, Тимофей Иванович.

По истечении долгого, трехчасового беседования о губерниях, управлению его вверенных, Екатерина II отпустила Тутолмина без обычного приглашения явиться к обеденному столу. Наместник вышел с сокрушенным сердцем, почитая себя уже в опале, и поспешил как можно скорее уехать из дворца.



Вечером к Тутолмину явился гоф-фурьер с приглашением быть на завтра у государыни в шестом часу пополудни.

В пять наместник уже стоял перед дверью кабинета Екатерины II. Через минут десять-пятнадцать появился Захар Зотов:

— Государыня императрица изволит ожидать вас...

Екатерина II занималась варением кофе, подкладывая под кофейник изорванные куски бумаги.

— Тимофей Иванович, — обратилась она к нему, — садись-ка поближе, ты ведь не боишься камелька: я чаю, у вас в Олонце огонь в чести, холодно бывает...

Тутолмин, удивленный столь милостивым приемом, поспешил усесться. Государыня, продолжая подкладывать под кофейник изорванные листы, изволила сказать ему:

— Спасибо тебе, Тимофей Иванович! Ты мне привез прекрасную подтопку. Смотри, как кофий мой хорошо и скоро варится. Это вчерашний куверт...

## 2

По отъезде наместника на Фоминой неделе заседатель земского суда Молчин шел поутру в присутственное место мимо генерал-губернаторского дома. К нему пристал живший во дворе медвежонок, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его не приласкивал. Приведши его в суд, Молчин отворил двери и сказал своим товарищам:

— Вот вам, братцы, новый заседатель — Михаила Иванович Медведев!..

Чиновники посмеялись и тотчас выгнали медвежонка, а Молчин, зайдя к губернатору отобедать, рассказал ему глупое сие происшествие. Державин тоже посмеялся, но заметил, что в присутственных местах так шутить дурно и ежели дойдет это до наместника, то он сильный сделает напругай. Но и губернатор не мог предвидеть последствий сей невинной шутки. Заседатель Шишков, наущивавший Тутолмину, репортовал в Питербурх, будто Молчин привел медвежонка и посадил его в генерал-губернаторское кресло, что один из секретарей клал мышке на стол листы бумаги, а Молчин окунал мишкину лапу в чернильницу и заставлял как бы подписываться. Якобы Шишков с компаниек», оскорбясь таковою насмешкою над главным своим начальником, приказывали сторожу медвежонка выгнать, а Молчин кричал: «Не трогайте! Медвежонок сей,

чать, не простой, а генерал-губернаторский!»

Тутолмин сейчас же дал этой истории обвинительное толкование. Когда дело о заседателе Мишке, взявшем на себя роль наместника, дошло до сената, всего более радовался князь Вяземский. Генерал-прокурор сам показывал рапорт и скрипуче говорил прочим сенаторам:

— Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница-стихотворец делает! Медведей назначает председателями!..

Вскоре пришел указ сената, требовавший от Державина объяснений по поводу оскорбления наместника; тот немного смутился. Однако ответил губернатор довольно искусно: говоря о просвещенном веке Екатерины, он и не предполагал «странного сего случая за важное дело и не велел произвести по оному следствия, как по уголовному преступлению, а только словесный сделал виновному выговор, ибо даже думал непристойным под именем Екатерины посылать в суд указ о присутствии в суде медведя, чего не было и быть не могло!».

В сенате дело было замято. Но по возвращении Тутолмин придумал мщение за все и в законной форме. Он предписал губернатору открыть новый уездный город Кемь у берегов Белого моря. Дело было очень трудное, потому что в Олонецкой губернии по чрезвычайно обширным болотам и тундрам проехать можно было только зимою или в начале лета, когда богомольцы отправляются в Соловецкий монастырь. Ближе к осени начинается сильный ветер, и переезд водою делается крайне опасен. Тем не менее Державин отправился в нелегкое путешествие, взяв с собою самых образованных чиновников — Грибовского и экзекутора Эмина, сына известного писателя. В дороге они вели поденную записку — о состоянии края, положении крестьян<sup>^</sup> о природных условиях, — которая дополнялась сведениями, истребованными от местных властей.

Отплыв из Питербурха водою, путешественники заночевали в деревушке, на берегу Онежского озера, и на другой день отправились в маленьких лодках по несудоходной реке Суне. Могучая, своеобразная карельская природа восхищала поэта. Приближался, напоминая о себе ревом, водопад Кивач. Хотя до основанного Петром Великим Кончезерского железоделательного завода оставалось верст двадцать, слышно было и действие заводских машин, все сливалось в какую-то дикую гармонию.

Под сводом дерев вода, покрытая пеной, лилась, как молоко или сливки. Чем ближе к водопаду приближалась лодка, тем пена сия делалась плотнее, насадая на берега и как бы унизывая их белыми камнями. В версте от порогов показался дым, который по мере приближения сгущался.

Наконец путешественники пристали к берегу и поднялись на каменный утес.

Между страшными крутизнами черных гор, состоящих из темно-серого, крупнозернистого кнейса, они увидели жерло глубиной до восьми сажен. С великим шумом обрушивалась в это жерло вода, разбиваясь в мелкие брызги. Пары, восставшие столбом, достигали вершин двадцатипятисаженных сосен и омочали их.

*Алмазна сыплется гора  
С высот четырех скалами;  
Жемчугу бездна и серебра  
Кипит внизу, бьет вверх буграми;  
От брызгов синий холм стоит,  
Далече рев в лесу гремит.*

*Шумит — и средь густого бора  
Теряется в глуши потом;  
Луч чрез поток сверкает скоро;  
Под зыбким сводом древ, как сном  
Покрыты, волны тихо льются,  
Рекою млечною влекутся.*

*Седая пена по берегам  
Лежит клубами в дебрях темных;  
Стук слышен млатов по ветрам.  
Визг пил и стон мехов подъемных:  
О водопад! в твоём жерле  
Все утопает в бездне, в мгле!..*

— Чернота гор и седина бьющей воды наводит некий приятный ужас и представляет прекрасное зрелище! — воскликнул Державин.

Он приказал срубить сосну и бросить ее в стремнину. Через несколько минут выплыли из жерла одни щепы. Полюбовавшись игрою света, которую производит отражение солнечных лучей в поднятых, как стеклянная пыль, водяных каплях, путешественники отправились далее.

Они направлялись теперь к Белому морю. Рекою Сумою добрались до Сумского острога, стоявшего у ее устья. Оставалось самых трудных 95 верст до Кеми.

Конечно, Тутолмин, посылая Державина столь далеко и в такое неудобное время, надеялся, что тот откажется и это поможет ему отделаться от строптивного губернатора. Но решительный и отважный поэт-губернатор не думал сдаваться. 19 августа на больших лодках Державин с Грибовским и Эминым отправились далее берегом Белого моря. Переночевав на Туманском острове, в хижинке для промысляющих ловом тюленей, они добрались до устья реки Кеми. Отсюда было еще десять верст до селения того же имени.

Предписывая отправиться в Кемь и открыть город, Тутолмин объявил Державину, что тот найдет уже готовым и здание для присутственных мест, и чиновников, и все необходимые мелочи. Губернатор, однако, увидел пустую и бедную деревушку.

Прежде всего понадобился священник, но и того насилу сыскали через два дня на островах, где он косил себе сено. Единственной улицей губернатор с кучкой обывателей следовал за священником, совершавшим таинство водосвятия. Окропили закоулки святою водой, и Державин рапортовал сенату об открытии города Кеми.

Против устья реки Кеми, верстах в шестидесяти, лежит в Белом море Соловецкий остров. Державин решил побывать в знаменитой обители, хотя и опасался покидать пределы своей губернии: монастырь принадлежал уже к Архангельской. Под вечер выехали на шестивесельной парусной лодке, и тут же поднялся противный ветер. Губернатор приказал направлять лодку к синеющим впереди камням. О Соловецком монастыре он уже и не помышлял.

Но восстала страшная буря с молнией и громом. Стало так темно, что только вспышки молнии позволяли различать предметы. Лишь по домёкам лапландец-лоцман узнал, что камни уже справа и лодка почти миновала их. Что делать? Свернуть к ним — можно попасть под боковой ветер или, как мореходцы называют, бедевен; идти по ветру — он угонит в середину Белого моря, а не то и в океан! Державин приказал держать к камням. Но лапландцы сей маневр произвели неудачно. Повернули руль — упали паруса, лодка накренилась, заливаемая волной. Секретарь Грибовский и экзекутор Эмин лежали на дне лодки, оцепенели и самые гребцы. Державин поднялся, стараясь перекричать бушующую стихию:

— Ребята, не робейте! Поднять весла!

Лодка выровнялась и вдруг, словно по волшебству, очутилась за камнем, который препятствовал ее залить:

*Судно, по морю носимо,*

*Реет между черных волн;  
Белы горы идут мимо;  
В шуме их надежд я полн.*

*Кто из туч бегущий пламень  
Гасит над моей главой?  
Чья рука за твердый камень  
Малый челн заводит мой?..*

Переночевав на пустых камнях, путешественники поутру тоже не без опасностей, но благополучно добрались до города Онеги Архангельской губернии, а оттуда через Каргополь воротились в Петрозаводск. Они привезли «Поденную записку» о состоянии края, весьма расходившуюся с письменным мнением генерал-губернатора.

Тутолмин высокомерно и презрительно отзывался об олонецких крестьянах, найдя, будто «наклонность к обиде, клевете и обману суть предосудительные свойства обитателей сей страны». «Все сие о нравах олончан кажется не очень справедливо, — возражает Державин. — Ежели б они были обманщики и вероломцы, то за занятый долг не работали бы почти вечно у своих заимодавцев, имея на своей стороне законы, их оборонить от того же могущие; не упражнялись бы в промыслах, где нередко требуется устойка и сдержанность слова; не были бы терпеливы и послушны в случае притеснений и грабительств, чинимых им от старост и прочих начальств и судов, в глухой сей и отдаленной стороне бесстрашно прежде на всякие наглости поступавших. По моему примечанию, я нашел народ сей разумным, расторопным и довольно склонным к мирному и бесспорному сожителству. Сие по опыту я утверждаю. Разум их и расторопность известна, можно сказать, целому государству, ибо где олончане по мастерству и промыслу своему незнакомы?»

Убедившись в том, что ему с Тутолминым не ужиться, Державин с обычною своею настойчивостью принялся через близкого ему Львова воздействовать на графа Безбородко, с каждым днем игравшего все более важную роль при дворе. Державин давно уже мечтал о кресле казанского губернатора и теперь начал постепенно приводить в порядок свои казенные бумаги для сдачи их. Но, осматривая приказ общественного призрения, губернатор нашел в денежной ведомости, поданной Грибовским, неверные итоги. Сличение со шнуровыми книгами показало, что купцам заимообразно выдано семь тысяч рублей, в наличных недоставало еще

тысячи.

— Знаю я, братец, что ты ветрен. И так как тебя люблю, хочу услышать от тебя всю правду...

Разговор губернатора с Грибовским происходил в державинском флигельке, лицо на лицо. Секретарь сидел, упнув глаза в землю.

— Тебе же ведомо, что наместник всяческими безделицами подыскивается под меня и легко сказать может, что деньги похитил я!..

— Каюсь, Гаврила Романович! Тысячу эту проиграл в вист с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты...

— Все любимцы наместника! — вставил Державин. — А что же ссуды купцам?

— Просил у них денег на покрытие карточного долга. Обещали дать, но если сами возьмут у казны без расписки.

Державин ободряюще положил ему руку на плечо:

— Изложи все на бумаге, как письмо губернатору.

Что делать! Сам небось был таким же. И чрез проклятые карты сколько мучений пережил!

По уходе Грибовского Державин велел пригласить к себе сперва вице-губернатора, затем прокурора и председателя палаты. Вице-губернатор был известный плевака. Скажет — сплюнет, переспросит — снова. Он был до крайности удивлен поздним приглашением, каковое последовало в семь пополудни. Поговорив с ним сперва о посторонних материях, Державин в виде дружеской откровенности объявил ему о несчастьи.

— Посоветуй, батюшка, что же мне делать?

Услышав сие, плевака принял важный вид и стал вычислять многие свои замечания насчет неосторожности губернатора:

— Грибовский не стоил доверенности вашей. С ним надобно поступить по всей строгости как с беспутным расхитителем и картежником!

— Возьмите-ка бумагу со стола да прочтите, — спокойно сказал Державин.

Вице-губернатор, увидя свое имя между игроками, даже плевать перестал. Сперва он взбесился, потом оробел и в крайнем замешательстве уехал домой. Затем Державин пригласил прокурора и председателя палаты.

Испугавшись ответственности за картеж, они уже не могли предпринять со своей стороны доносов или других шиканов.

С купцами было проще. Собрав их, Державин представил дурной поступок сей во всей ясности и сказал, что отошлет всех тотчас в уголовную палату, коль скоро не распишутся они в книгах. Купцы все без всякого прекословия исполнили. Недостающую тысячу рублей Державин внес свою и теперь мог спокойно ожидать враждебных противу себя действий. И они не замедлили последовать.

На другой день в губернское правление явился прокурор.

— Вот, ваше высокопревосходительство, — сказал он Державину, — мой протест, как вами был я призван в необыкновенное время ночью для прочтения бумаги, в которой я умышленно замешан в карточной игре...

Губернатор со смехом сказал ему:

— Да полноте! Что это вы затеваете пустое? Я вас никогда к себе не призывал! Да и в приказах никакие деньги не пропадали. Впрочем, вам, как говорится, и карты в руки. Ступайте да освидетельствуйте денежную казну по документам.

Прокурор удивился, сходил в приказ и, нашед все в целости, воротился к губернатору. Державин на его глазах изодрал поданный им протест:

— Возвращаю его вам как вашу сонную грезу... — Он оборотился к бывшему в правлении Грибовскому: — Андриан Моисеевич! Вели-ка подать шампанского, и выпьем за скорый мой отъезд в Питербурх!

Державин сам ототкнул бутылъ, налил всем, в том числе и прокурору, по рюмице, выпил свою и тем завершил недолгое пребывание в Олонце.

Указом правительствующему сенату от 15 декабря 785-го года он был назначен губернатором в Тамбов и 5 марта 786-го года вступил в управление новой губернией.

«Мне сорок три года — возраст почтенный; я уже не средовек, а подстарок. Но мнится, только начинаю жить. Толь свежи чувства, толь жаден разум, толь много сил ощущаю в себе.

Был нищ и наг — стал знатен и с порядочным состоянием. Был безвестен — сделался знаменит; все питерские журналы — «Зеркало света» и «Лекарство от скуки и забот» Туманского, «Новые ежемесячные сочинения» Дашковой, «Новый С.-Петербургский вестник» Богдановича наперебой просят о сотрудничестве. В семье, с драгоценной Катюхой

счастлив и безмерно, хоть детей не прижили. Посвыклись, но по-прежнему горячо любим друг дружку. Чего ж еще желать?

Конечно, мечталось мне сесть губернатором на Казани, вблизи священного праха предков. Но как сего добиться, ежели нынешний казанский губернатор генерал-майор Татищев кресла своего покидать не намерен! Зная недовольство его своим наместником князем Мещерским, старался я в Питере мимоходом шуточным образом склонить его переехать в Тамбов; он почти с досадою отозвался, что местом своим доволен. А опосля разнес по городу, что я усиливаюсь искать его поста...»

Державин вспомнил прощание свое с двадцатитрехлетним Александром Петровичем Ермоловым. «Правда ли то, что вы хотите поменяться с Татищевым?» — спросил его напоследок юный фаворит, бывший поручик Семеновского полка. Державин понял, что ответ его в тот же вечер станет известен царице.

Слова пришли сами собой: «Нет! Вверенными мне постами как не собственными мне вещами меняться не могу. Я обязан быть признательным за то, что имею, и быть готовым туды, куды послан...»

Искренне сказал. Хоть и мечтал о Казани, но новым своим постом он очень убоготорен. Здесь тысяча выгод перед Петрозаводском: площадь губернии чуть не втрое меньше Олонецкой, а населением превосходит в четыре с лишком раза. Дом изрядный, общество хорошее, подчиненных всякого рода довольно. Была бы охота, а работать есть с кем. Наместник генерал-поручик Иван Васильевич Гудович, не в пример Тутолмину, везде ссылается на законы и их одних берет за основание.

Державин крупным косым почерком писал в Питер письма друзьям и покровителям:

«Был у нас Иван Васильевич и пробыл неделю. Будучи предшествуем благодеяниями, которые он многим исходатайствованием чинов сделал и ко мне признательными по делам отношениями, он встречен был здесь с нелицемерною от всех радостию; кроткое его, простое и снисходительное со всеми обращение, образ мыслей благородных и поступки на истинных правилах чести основанные усугубили к нему внутренним всех благорасположением то почтение, которое по наружности начальникам отдается... Весьма он счастлив, и мы все, ежели возможем удержать навсегда таковые между нами расположения и спокойную жизнь, отчего и служба, конечно, будет иметь свои успехи...»

...Камердинер Кондратий, скороногий, сметливый ярославец, доложил:

— До вас советник Бельский.



Державин поморщился. Бельский сей был когда-то судим, сослан на каторгу, но затем освобожден одним из милостивейших манифестов. И хоть велено было после того не определять его ни к каким местам, он служил советником уголовной палаты и открыто делал разного рода беззакония.

— Вызвал я вас, господин Бельский, — медленно начал губернатор, — дабы указать на невозможные дела ваши...

Рылястый чиновник спалым голосом возразил:

— Чист, чист, ваше высокопревосходительство! Все наветы вражьи!

«Ишь, как осип, — подумалось Державину, — небось до утра занимался игрою, которая именуется пьянством...»

Он поднялся из-за стола:

— А кто ездил недавно в уездный город Козлов и открыто сделал себе денежный сбор, будто по приказанию генерал-губернатора и на его имя? Кто, я вас спрашиваю? Советник уголовной палаты Бельский. За таковые чудеса полагается вас немедленно исключить из службы!

Бельский не дрогнул пористым лицом.

— Обнесли меня! Я все подробно прописал о том, вот и бумага заготовлена...

Державин, все более распаляясь, повысил голос:

— Видать, к каверзам своим приплели вы и невинных людей! Идите да подумайте на досуге, как вам впредь поступать надлежит.

Надобно прогнать эту негодь прочь из Тамбова, да сие сделать непросто. Пользуется Бельский протекцией княгини Вяземской, А. И. Васильева и шпыня Нарышкина. Как быть, коли все они прашивали покровительствовать жулику, вследствие чего Державин понужден ограничиваться токмо выговорами и пристрачиваниями! Может, подействует?

Но после такого напрягая Бельский невинно спросил:

— Ваше высокопревосходительство! Не будет ли милости вашей послать меня для сбора недоимок в Моршанск?

— Во-он! — сорвал голос губернатор и затопал ногами.

Бельского смелó. Державин накинулся на ухмыляющегося Кондратия:

— А ты что стоишь статуй статуем? Порядок забыл? Вона час пополудни било... Почту небось привезли!

— Вы же велели сперва его благородие позвать...

— «Сперва, сперва»! Вечно ты пререкаешься. Барин лучше тебя знает, с чего начать!

Камердинер все-таки заметил уходя:

— Бить яйцо с пуги аль с тельца — кака разница... Неисправим,

околотень! Ни на час без побасенки.

Державин, остывая, принялся за бумаги, все еще ворча себе под нос:

— По каковски это сделано? Что за тарабарский почерк!.. Опять кляуза!..

Он откинулся на спинку кресла с потяготой: устал письма сочинять, разбирать жалобы, составлять прожекты по благоустройству города.

— Наконец-то! Экой ты, братец, право, рахманный! — уже миролюбиво встретил Державин Кондратия, замешкавшегося с почтой.

Огромный ворох разноцветных кувертов с сергучными печатями лег на губернаторский стол. Писали сенаторы, секретари императрицы и светлейшего князя Потемкина, придворные, купцы, издатели, чиновники-просители и просто искатели поживы, авантюристы, каких было множество в бурный екатерининский век. Звезда Державина на государственном небосклоне взошла уже достаточно высоко. В нем совместились правитель, умный и образованный гражданин и радушный хозяин. Он выписывал из Москвы с одинаковой заботливостью и канцелярских служителей для губернского правления, и балетмейстеров, и машинистов, и архитектора для постройки театра, тюремного замка и кирпичного завода.

, Державин быстро просматривал конверты.

— Ба! — не удержался он. — От Капниста ответец? От дорогого полтавского помещика. Кликни-ка, Кондратий, Катерину Яковлевну...

Он в волнении поднялся. Ах! распался их незабвенный кружок. Львов сидит в столице и творит там чудеса. Взялся найти каменный уголь и нашел — где! — у себя под боком, в Валдае. «А сколько сего угля нашел, — писал он, — скажу только, что если ваш Тамбовский архитектор возьмется сделать над светом каменный свод, то я берусь протопить вселенную». Да и зачем Львову какой-то тамбовский архитектор, когда сам он первый зодчий России, заполонивший ее своими проектами — образцовых почтовых дворов для провинции, дворянских усадеб и сельских церквей, собора Борисоглебского монастыря в Торжке, почтового стана в Питере. Но, любимец всесильного Безбородки, и он мечтает сбросить оковы «дворской жизни», искать душевного освежения и бодрости в сельских трудах и утехах...

Бедняга Хемницер уже не мечтает ни о чем. Отправился с посольством в Оттоманскую Порту, тяжело захворал в Смирне и опочил там в 784-м году...

А Капнист, неутомимый Капнист удалился от столичной суеты в свое украинское имение Обуховку с милейшей Сашулей. Растит детишек — старшего назвал Гаврилой! — пишет стихи, воспевает природу, изучает

науки, а крестьян своих приятельски именует соседями...

Едва завидя пригоженькое личико жены, Державин чуть не бегом поспешил ей навстречу:

— Ангел мой! Письмо от Васеньки с Сашулей!

Губернаторша и в Тамбове не сидела сложа руки: вязала, плела искусно корзинки, вышивала, рисовала, собирала девиц, занимаясь с ними разучиваниями ролей для театра, шитьем костюмов и расписыванием декораций.

— Наконец-то! Дорогие Копиньки! — с нежною улыбкой откликнулась она. — Получили ли корзиночку моей работы?

— А как тебе удалось, Катюха, силуэты на медальонах! — воскликнул Державин. — Капнист вылитый, да и тамбовский губернатор получился неплохо.

Катерина Яковлевна милостиво подставила щеку для поцелуя и села в низкие кресла.

Медленно, дабы продлить удовольствие, Державин принялся читать написанные знакомою рукою строки:

— «Милостивая государыня моя, Катерина Яковлевна. Любезный друг Гаврила Романович. Как бы обрадовали меня последним письмом вашим, уведомляющим, что вы избавились начальства Тутолминского и переведены в Тамбов. Вы не можете себе представить, как я тронут был этим приятнейшим известием. Вы приблизились ко мне. Я от вас теперь буду только с лишком 500 верст. Следовательно, я не отчаеваюсь вас посетить... Благодарю вас, милостивая государыня Катерина Яковлевна, за жену и за себя, за прекрасный подарок корзинки и силуэтов. Неоцененный подарок, а найпаче когда вообразу, что все то работали прекрасные ваши ручки, которых тысячу раз мысленно целую. Ах! ежели б удалось хоть сотую часть сей суммы в самом деле их поцеловать; а то в мыслях так целую, как голодный во сне ест. Только зубами воздух кусает. Так то и я. Но надеюсь, что бог позволит мне удовольствие вас, любезнейших мне людей, видеть, а следовательно и ручки ваши поцеловать; си-речь, ваши, сударыня, а не ваши, господин кривой мизинец...»

Державин в сем месте не удержался, заколыхавшись от смеха и подняв растопыренную пятерню.

«Ганюшка мой кланяется вам, а Катенька нет, за тем, что вся слилась и склеилась оспою. Итак и за нее вам кланяюсь, и за жену, которая так засутилась около дочери своей, что не отстаёт ни на минуту и не может и к вам теперь писать. Но уверяет чрез меня, что несказанно вас любит и почитает и желает, чтоб вы ее столько ж любили. Прощайте. Я пишу затем

так коротко сие письмо, что не надеюсь, что оно застало вас в Питере и будет следовательно вояжировать по всей России и приидет к вам в Тамбов как горчица после ужина. Прощайте. Желаю вам всевозможных благ. Еще целую ручки ваши, Катерына Яковлевна, а ваше губернаторство дружески обнимаю...»

— Как живого вижу Василья Васильевича! — Катерина Яковлевна встала с кресел, положила голову на плечо мужа.

— Катюха, давай ему послание сочиним. Пособляй!

— Кто же лучше тебя, Ганюшка, в сем свете сочинить сумеет!

Она с кроткою улыбкой следила за быстрой рукой мужа.

— Изволь, готово! — Державин поднялся с листком: «Гаврила, тамбовский губернатор, и Екатерина, тамбовская губернаторша, здравия вам желают и нарочного курьера наведаться о здравии вашем отправляют, и о себе объявляют, что они очень весело и покойно поживают и всю петрозаводскую скуку позабывают, и вас к себе в гости приглашают, и бал для вас и пир сделать обещают, и более писать теперь чего не знают...»

— Весело справлено! — Катерина Яковлевна сделала приписку и самолично законвертовала письмо. — А что наш губернатор? Ужли намерен седни всю эту почту прочесть?

— А это зависит от приказаний дражайшей госпожи губернаторши! — в тон ей отвечивал Державин.

— Тогда иди-ка, Ганюшка, я тебе лучше спиночку почешу...

## 5

28 июня 786-го года, в годовщину восшествия на престол императрицы Катерины Алексеевны, в зале Тамбовского дворянского собрания состоялось празднество, особая пышность которого объяснялась присутствием генерал-губернатора. На сцене представлен был греческий храм. В подражание древнему афинскому обычаю из него вышли попарно дети в белых туниках, с цветочными перевязями. Во время их шествия хор исполнил сочиненный Державиным к сему случаю «Гимн богине»:

*Премудрая Афина!  
Всещедро божество!  
Ты нам покров едина,  
Ты наше торжество!  
Благоволи прибавить*

*Щедроту к нам свою,  
Почтить того, прославить,  
Кто только лишь твою  
Одну святую волю  
И твой закон хранит...*

Дети остановились перед наместником, поднесли ему венец, сплетенный из дубовых листьев, и корзину цветов, а юноша обратился к Гудовичу:

— За оказанные благодеяния здешнему обществу подносим искренние знаки нашей вам благодарности и почтения.

— Позволь, — добавила девушка, — да радость нашу изъясним мы плясками и играми...

Празднество завершилось балом и иллюминацией...

Гудович был в восторге от оказанной ему чести. Отъехав в Рязань, он там столь часто повторял подробности празднества, что каждый знал о них, словно был сам свидетелем торжества. Рязанский губернатор Волков прямо говорил, что если и поправится Тамбов, как только Державиным.

Между тем дела в губернии были в расстройстве. Плачевное положение усугублялось тем, что за шесть лет Тамбов сменил уже четырех губернаторов. За это время недоимка по губернии выросла громадная. В ведении дел и во всех присутственных местах царил полный беспорядок: некоторые дела были запутаны, заброшены, а другие и вовсе исчезли без следа. Не хватало канцелярских служащих, а те, что были, следуя примеру Бельского, щеголяли и хвастали друг перед другом своими познаниями и ловкостью в науке лихоимства и крючкотворства...

Державин уже много старался и хлопотал о переводе в Тамбов на службу нескольких своих прежних сослуживцев и вообще любимых им лиц из Петрозаводска, Питербурха и Москвы. Переманивал он Грибовского, которого собирался сделать директором училищ. Звал Эмина, затем переводчика Тацита — Пospelова, и все покамест напрасно.

Самый город был в жалком положении: присутственные места разваливались без ремонта, а частные здания строились как попало — без планов и архитекторов.

Сами границы Тамбовской и смежных с нею губерний были еще совершенно не определены и не ведомы никому. Производство уголовных дел тянулось бесконечно; все без исключения лица, находившиеся под судом, невзирая на род преступления, содержались в тюрьмах. Да и каких

тюрьмах! Новый губернатор самолично убедился в их непригодности.

В сопровождении коменданта Булдакова, Бельского и других чиновников уголовной палаты Державин обозрел эти смердящие, вросшие от времени в землю, без света, без печей избы или, лучше сказать, скверные хлевы. Под самым потолком находились нары, на которых лежали колодники. Из мрачных нор едва-едва белели лица, слышны жалобные стоны, сопровождаемые звоном цепей.

— Сколько ж тут несчастных? — пришепеливая от волнения, спросил губернатор у коменданта.

— Более ста пятидесяти, ваше высокопревосходительство! — бодро, зычным военным голосом отвечал полковник Булдаков.

Потрясенный Державин только и молвил:

— Беспорядок сей надобно отвратить, и немедленно!

— По делу сидят! — высунул свое пористое лицо Бельский.

— Молчите, вы! — распаляясь, прикрикнул губернатор. — Из-за вас-то и вся волокита! Медлите в уголовной палате, не подписываете дел и не отзываемесь никаким голосом!

Он приказал, не дожидаясь разрешения наместника, разломать несколько ветхих строений приказа общественного призрения и, перебрав их, сделать пристройку к кордегарде близ острога для колодников, которые не в тяжких винах судятся. А для больших преступников очистить и исправить в остроге избы. Одновременно он распорядился, дабы производство дел о колодниках было ускорено и преступников разделили по степеням виновности, а некоторых выпустили на поруки.

Через год в городе уже существовал настоящий тюремный замок с кухней и лазаретом, содержащийся чисто и опрятно, что по тем временам было диковинкой. Но, воюя с беззакониями и нарушениями государственных уложений, губернатор внезапно для себя обнаружил, что в Тамбове не было законов! Иными словами, во всем городе не имелось ни одной книжки избранных собраний законов, и сотни подьячих, десятки высших чиновников руководствовались всякий раз чем бог на душу положит. Вследствие этого один из вице-губернаторов даже разрешил иеромонаху жениться, вспомнив какую-то несуществующую статью.

Державин просит своего московского родственника Арсеньева купить и выслать несколько экземпляров собраний законов. Но, видно, провидение не благоволило к Тамбову или же Арсеньев принял Тамбовскую губернию за плавающий по волнам корабль или стрелковый батальон. Прибывшие для управления краем книги были: «Регламент адмиралтейства» и «Полковничья инструкция». Оказалось, что в столице ничего нельзя было

найти, кроме этих двух книг. Так и продолжал Державин управлять краем без законов, но это не умерило его энергии и пыла.

Он обратился к князю Трубецкому, другу и сподвижнику знаменитого книгоиздателя, просветителя и масона Новикова, одного из основателей Типографской компании, с просьбою продать типографский станок, известное количество литых букв, а также подыскать мастеров, которые согласились бы приехать в Тамбов. До этого целая куча копиистов занималась в наместническом правлении размножением одинаковых административных предписаний. Вскоре из Москвы явилось все нужное для типографии, и предписания стали печататься. Кроме того, заведены были «Губернские ведомости», в коих сообщалось о проезжих именитых людях, о проходе воинских команд, о цене на хлеб и на товары первой необходимости. Вслед за тем в Тамбове обнаружился свои переводчики и переводчицы, затеплилась литературная жизнь.

В губернаторском доме — помимо вечеров, балов и концертов, которые давались почти ежедневно, — стараниями Державина заведены были классы для детей и молодежи. Здесь преподавались грамматика, арифметика, геометрия, а раз в неделю — уроки танцевания, для чего был выписан танцмейстер.

Первый год державинского губернаторства в Тамбове совпал с появлением указа об учреждении в российских городах народных училищ. В самом Тамбове до того не было учебных заведений, кроме жалкой гарнизонной школы и духовной семинарии. Открытие училищ намечалось ко дню коронации Екатерины II — 22 сентября. Времени оставалось в обрез, но Державин со всем своим пылом принялся за дело. Для помещения наняли дом купца Ионы Бородина, а его брат Матвей в день открытия училища довольствовал народ питием и обедом на городской площади перед наместническим домом.

Но самым примечательным событием стала речь свободного поселянина — однодворца Захарьина.

После торжественного молебствия приглашенные собрались в училище, где под пушечную пальбу учитель Роминский сказал благодарственное слово императрице. Публика направилась было к выходу, ее остановил у самой двери Захарьин. Губернатор попросил всех воротиться в залу, и Захарьин произнес речь перед портретом Екатерины II: «По воспитанию моему и по рождению я человек грубый: я бедный однодворец и теперь только от сохи; но, услыша, что государыня благоволила приказать в здешнем городе открыть народное училище, почувствовал я восхитительное потрясение в душе моей...»

Публика прослезилась. Приятели сообщали Державину, что, когда выступление Захарьина было напечатано в столице, жители забыли «магнетизм, до нее занимавший весь город». Тронута была и сама Екатерина II.

Державин торжествовал: взволновавшая всех речь однодворца была написана им самим.

Помимо хлопот об обществе, которое губернатор старался забавлять и веселить и в этих забавах по возможности образовывать и поучать, он не забывал и о нуждах самого города, нуждах почти неотложных. При Державине был составлен подробный план Тамбова, городская земля стала продаваться участками с обязательством строить на ней известным законным порядком, а не так, как кому вздумается.

С особым усердием заботился новый губернатор о судоходстве реки Цны. По его указанию землемер обследовал берега и проследил, удобен ли по ней путь от Тамбова до Морши, от Морши до Мокшны и даже до самой Оки. Державин желал таким образом улучшить торговлю Тамбова и облегчить как привоз строевого и дровяного леса, так и камня, имевшегося в большом количестве по берегам реки Цны ниже Морши. Он мечтал об устройстве шлюзов на Цне и даже передал в Питербурх на рассмотрение инженерной комиссии специальную записку.

В самую середину зимы 786/87-го года в Тамбов для ревизии приехали по высочайшему повелению сенаторы Воронцов и Нарышкин. Результатами обследования они остались вполне довольны, и впоследствии Тамбовское наместничество получило высочайшую благодарность. Однако именно с этой поры, по словам Державина, Гудович стал к нему заметно холоднее. Впрочем, Гудович все-таки представил Державина к ордену и заявил, что тот, найдя губернию в полном беспорядке, все устроил к лучшему и быстро и успешно. По этому представлению в сентябре 787-го года Державин получил орден святого Владимира 3-й степени при письме Воронцова, который объяснял награждение не крестом 2-й степени только тем, что значение ордена хотят поднять.

Однажды, выходя из наместнического правления, Державин увидел на крыльце мальчика лет семи или восьми, с цепью на шее. Он вернулся с ребенком в присутствие и расспросил его.

Мальчик рассказал, что он сын крепостного человека из села



Борщевки, принадлежащего помещику Дулову, что он был приставлен барином пасти свиней и однажды одну из них нечаянно упустил из поля в село. Помещик наказал его «езжалами, кнутьями и палками», надел на него цепь и приковал к стулу, с тем чтобы на другой день повторить наказание. Цепь оказалась надломленной, и мальчик бежал в город.

Державин вызвал Кондратия и поручил ему отвести мальчика в приказ общественного призрения.

— Ишь, как его припрыснули! — ахнул Кондратий. — Вся спина в рубцах!..

— Вели моим именем штаб-лекарю описать имеющиеся на нем боевые знаки, — приказал губернатор.

Для того времени явление это было вполне обыкновенное, но, к чести Державина, все доходившие до него жалобы подобного рода не оставались без последствий. Он обратился к предводителю дворянства, предложив ему собрать сведения о состоянии и поведении Дулова. Соседи помещика, не желая выносить сор из избы, отнеслись неведением, уездный же суд донес о двух жалобах на него за побои. В конце концов мальчика пришлось вернуть Дулову, однако Державин строго предписал ему обращаться со своими рабами снисходительно, угрожая в противном случае отдачей под суд.

На том история с пастушонком кончилась. Надо думать, что Дулов был барином мелким, который не мог и не посмел войти в открытую борьбу с губернатором. Но случай этот послужил началом широкой неприязни провинциальных помещиков к Державину, посмевшему остановить их произвол. Упрямо воюя с жестокостью крепостников, губернатор все более убеждался, что ему трудно рассчитывать на легкую победу. Свои огорчения Державин изливал в домашних разговорах с верной Катериной Яковлевной, в письмах к друзьям — Львову, Капнисту, Гасвицкому, который вышел уже в отставку и побывал оренбургским и бузулуцким предводителем дворянства.

Осенью 787-го года Гасвицкий собрался к старому своему другу в гости. Жил он теперь не так далеко от тамбовских земель, в своем курском имении Сорокине Старооскольского уезда. Добирался долго. Всю осень было погодливо, дороги раскисли, и даже на буграх блестела водой потная земля. Средь пожелклой листвы сиротливо выглядывали красные ягоды волчьего лыка, не надобного ни человеку, ни птице.

Низкий губернаторский дом походил на осажденную крепость. Гасвицкий стретил у дверей камердинера Кондратия, дежурившего со сломанной фузеей; в людской, обнявши орясины, вповалку спала челядь.

Сам Державин в халате наопашку расхаживал по комнатам, проверяя готовность фортификаций.

— Да ты никак турка в Танбове ожидаешь? — удивился Гасвицкий, немного робея перед высоким положением своего друга.

— Куда там! — махнул рукою губернатор. — Если бы турка! Вишь, объявил мне войну по всем правилам сего искусства некий грозный генерал...

— Так принимай испытанного воина в свою дружи ну! — ни о чем более не спрашивая, воскликнул Гасвицкий. — А где же драгоценная Катерина Яковлевна?

— Готовится отъехать в недоступные противнику земли — к тамбовским нашим знакомым Ниловым или к другу моему Степану Данилычу Жихареву.

За скромным по случаю поста столом друзья выпили по рюмице, вспомянув пережитое.

— Расскажи, Гаврила Романович, что за генерал на тебя войной идет? — любопытствовал Гасвицкий. — Да и кто может поднять руку на первого в губернии человека?

— Ах, Петруха! — понурно отвечал Державин. — Глушь и дикость тамбовцев мне надоедать стали. Местное дворянство так грубо и необходимо, что воистину ни одеться, ни войти, ни обращения, как должно благородному человеку, не имеют. А осеневать тут и вовсе тошно. Веришь, не успеваю одно неприятное дело кончить, как другое наваливается. Только-только помирил дикого старца, известного у нас буйною и нетрезвою жизнью — Михайлу Сатина и незаконных его детей с другими наследниками. И на тебе! Появился генерал-майор Загрязский. Он давно уже избрал для постоя своего полка собственное имение Куровщину и разорил незаконными поборами соседских государственных крестьян и однодворцев. Кормил полк на их счет и насильно забирал провиант и фураж за три года вперед, что не позволено войскам даже и в чужих землях...

— Что ж, он теперь пустил против тебя боевыми порядками полк свой? — густым голосом отозвался Гасвицкий.

— Нет, полк его выведен на Кавказскую линию. А он, вишь, выпросился в отпуск и начал новые проделки. Приказал всем своим крестьянам, а также чужим соседним собратся и строить ему дом. Насильник! Каждый должен был к нему являться со всем инструментом и необходимым материалом...

— А у кого не было лесу?

— Те сами оставались под открытым небом: гренадеры и бомбардиры из свиты генерала разбирали избу несчастного мужика в час времени. И тот сам вез свои лесины Загряжскому. А сейчас генерал и до меня добрался. Веришь ли, взял из театра казенного машиниста и увез к себе в имение. Я, ссылаясь на то, что в нем нужда, потребовал его присылки. Генерал преспокойно объяснил, что не выпустит. Тогда... — Державин смял салфетку и бросил на стол. — Тогда я приказал взять у него машиниста насильно, через полицию, что и было исполнено...

Гасвицкий оглушительно захохотал, отчего и без того красное его лицо налилось сизой кровью. «Эх, Петруха! Смерть примешь от апоплексического удара», — невольно подумал Державин и, пришепеливая от волнения, сказал:

— Но не на того он напал! Меня ему не съесть!..

— Проварилось ли белужье звено? — решив отвлечь мужа от неприятного разговора, осведомилась Катерина Яковлевна.

Гасвицкий вместо ответа только зачавкал набитым ртом, а Державин подцепил кусок и поморщился:

— Кушанье солоненько состряпано! Али ты, хозяйюшка, в кого-то влюблена?

— Ах, милый суевер! Влюблена — и сколько лет! — в тон ему ответствовала Катерина Яковлевна, залившись нежным румянцем. — Да все в тебя, в тебя, Ганюшка!..

— Ну ладно, — посветлел губернатор. — Тогда попотчуй нас к чаю сдобниками. Да вели подать на стол сахару и колотого и толченого...

Рев, гиканье и свист заполнили площадь. Нерадивый отставной бомбардир, спавший в приворотной будке, кинул алебарду и прыснул вдоль улицы. Против окон в сопровождении двух штаб-офицеров остановил коня Загряжский — тучный, пучеглазый, длинноносый, в зеленом генеральском мундире. Он размахивал шпагою и кричал дискантом:

— Эй, губернатор! Выходи, обидчик, потолкуем!

Кондратий побежал было в людскую за ополчением, но, убедившись, что прямой опасности губернатору нет, воротился, покачал сивеющею головой:

— Ишь пялится пучеглаз, ровно сирин ночной! Спородила его мать, а ума не вложила...

Державин не выдержал, вскочил на высокое окно:

— Пошто ж ты сильничаешь, ирод? Уважай государынину власть!

Загряжский еще пуще выпучил глаза:

— У меня, вишь, никому спуска нет! И ты для меня не губернатор, а...

— и он похлопал себя по широкой заднице, обтянутой голубыми рейтузами.

Гасвицкий побагровел:

— Ну погоди, я тебе сошник твой длинный переломаю!

Он выхватил у Кондратия фузею и на тяжелых ногах кинулся к двери. Но Загряжский стрекнул шпорами лошадь и полетел центральной улицею, выкрикивая срамные слова.

— Ну что с ним прикажешь делать! — сокрушенно сказал Державин вернувшемуся другу. — Ведет себя татски, да и тверезым никогда не бывает.

Проводив Катерину Яковлевну, старые друзья сидели за ужином. Им прислуживал Кондратий, который рассказал об услышанном от соседской кухарки:

— Наш-то енерал с двумя пистолетами ворвался в обед к господину Арапову при больших гостях. Слуги попадали, как сноповье. Стращал разными угрозами ваше высокопревосходительство. Грозился, что дождется ночами вашего выезда...

Сержение генерала не испугало Державина. Бесило другое: опять секретарь Гудовича Лаба, проворный, умеющий подольщаться к разного характера людям, вместе с вице-губернатором Ушаковым зачнет плесть свою паутину. А Гудович, видать, человек слабый или, попросту сказать, дурак, набитый барскою пышностью. И наушничанье сие он воспримет как новый знак неблагополучия в губернии Тамбовской...

Внизу раздались тяжелые удары в дверь. Губернатор поднялся:

— Кондратий! Ежели это давешний безобразник — впусти, мы с ним объяснимся.

Один из офицеров, сопровождавших днем Загряжского, развязно вошел в кабинет:

— Имею честь, ваше высокопревосходительство, передать вызов от его высокопревосходительства генерал-майора Загряжского на дуэль. Как благородный дворянин он предлагает вам кровью смыть нанесенное ему оскорбление.

— Гаврила Романович! — медведем поднялся Гасвицкий. — Дозволь я вместо тебя отправлюсь на дуэль. Могу на шпагах, могу и на пистолетах, а могу... — он растопырил огромную свою пятерню, — и на кулачки вызвать...

— Постой, братуха, дело сурьезное! — усадил его Державин и оборотился к офицеру: — Я как губернатор дурачества такого совершить не могу! — он повысил голос так, что слова его были слышны за окном, где в

темноте прятался Загряжский. — Но если господину генералу угодно объясниться со мной по какому-то частному делу — прошу его к себе. Если же у него дело официальное — приглашаю его как правитель в наместническое правление во время присутствия. Честь имею!..

Офицер растворился в темноте, а затем двенадцать копыт, высекая из булыжника искры, загремели по площади.

Загряжский ускакал в Рязань к Гудовичу, а когда и там не нашел поддержки, поехал жаловаться на Державина в Киев Потемкину.

С тяжелым сердцем покидал Гасвицкий своего друга. Он подметил за ним не только обычное любление правды.

Окруженный большею частью чиновниками корыстными и коварными, губернатор порою попадал в неловкое положение. Спасский капитан-исправник Рогожин беззастенчиво грабил крестьян и, собирая подати, вместо положенного законом рубля брал десять. Кто-либо осмеливавшийся противодействовать его алчности тотчас подвергался жестокому наказанию. Приказчик полковника Мельгунова Ульяновский, просвещенный и гуманный человек, описал подвиги Рогожина, послав бумагу губернатору. Однако спасский нижний земский суд обвинил во всех грехах самого Ульяновского.

Во время разбирательства в Спасск приехал Державин. Губернатора поджидала депутация. По наущению Рогожина восемь стариков подали Державину жалобу на Ульяновского, выхваляя капитана-исправника как примерного начальника. Когда Гудович решил поступить с преступником по всей строгости законов и отправить его в уголовную палату под суд, за Рогожина вступился Державин, и капитан-исправник позднее поплатился одною отставкой.

Одним из главных виновников неприятностей, выпавших на долю тамбовского губернатора, был местный купец Матвей Петров Бородин.

Этот первый богатей Тамбова взялся по подряду поставлять кирпич и тем выручить город из тяжелого положения.

Явившись в наместническое правление, он заявил, что имеет готового кирпича на складах в Тамбове и под Лебедянью более миллиона штук. Были назначены чиновник и губернский архитектор, чтобы освидетельствовать количество и качество кирпича, и оба заявили, что действительно кирпичу найдено 1 миллион 140 тысяч 500 и что он самой

лучшей выжиги. Прошла зима 787/88-го года, но кирпич так и не был доставлен. Весной же, по проведенному следствию, оказалось, что кирпича у Бородина едва полмиллиона, из коего числа четверть, если не половина, никуда не годится. Однако миллионщик вышел сухим из воды и, к крайнему неудовольствию губернатора, продолжал свое плутовство.

Когда в казенных палатах происходили торги на винный откуп, тамбовская палата отдала этот откуп Бородину. Как полагал Державин, в сговор с Бородиным вступил вице-губернатор Ушаков. Считая Бородина «хитрым и совершенным плутом», он прямо заявил об этом генерал-губернатору. Но Гудович и Ушаков под защитой князя Вяземского и родственника Гудовича Завадовского оказались сильнее, и сила одержала верх над правдой.

Событием, окончательно подорвавшим репутацию Державина-губернатора в Питербурхе, было так называемое «провиантское дело».

В августе 787-го года Турция объявила войну России. Испытывая острую нужду в продовольствии для двух действующих армий, главнокомандующий Потемкин в начале следующего года отправил по губерниям специального комиссионера — воронежского купца Гарденина с открытым указом о содействии в покупке и доставке провианта для армии. 23 марта 788-го года он явился к Державину и сообщил, что закупил большое количество хлеба в Тамбовском и Симбирском наместничествах, уплатив помещикам в задаток до 50 тысяч рублей. На доплату за этот хлеб и отправку его было ассигновано 35 тысяч рублей из тамбовской казенной палаты.

Державин направил Гарденина к Ушакову как к председателю казенной палаты, но тот объявил, что необходимой суммы в наличии еще нет. Губернатор порешил идти напролом. Он повелел коменданту с советником правления и секретарем освидетельствовать находившуюся в ведении палаты казну. Ревизия была проведена, остаточных наличных сумм за 787-й год оказалось 177 тысяч рублей и в том числе 17 тысяч, которые были ассигнованы для провиантской комиссии. Губернатор потребовал эти семнадцать тысяч выдать Гардину.

Этот поступок, в самом деле превышавший полномочия губернатора, оказался для Державина роковым. Все его недруги в губернии и столице подняли шум, требуя снятия Державина и даже предания его суду. Возмущенный Гудович писал князю Воронцову: «Злость, властолюбие, неумеренное, пристрастие заводить по партикулярной злобе следствия, угнетая почти всех живущих с ним без изъятия, довели его до того, что он себя совсем и против начальника позабыл...» Порицали Державина даже

его питербурхские друзья.

Повторилось пережитое им в Петрозаводске, только в несравненно больших размерах. Теперь обвинения были серьезнее, последствия ожидалась более решительные.

Державин тяжело страдал, подумывал уехать в действующую армию или даже навсегда покинуть Россию. К обвинениям в самоуправстве, в дерзкой попытке «целую палату обесчестить» прибавились новые беды. Отправив из Моршанска для питербурхских казенных магазинов большое количество хлеба водою, он узнал, что много барок погибло в пути, на других хлеб вымок и сгнил.

У богатого помещика Арапова в субботу вечером собрался, как всегда, весь тамбовский почет. Тут было семейство секретаря наместника Лабы, его родственника вице-губернатора Ушакова, председателя гражданской палаты Чичерина, обиженные Державиным незаконные дети Михайлы Сатина — подпоручик Емельян и корнет Василий Марковы. Все были в родстве между собою, и местный чиновник, быстро сживаясь с таможильцами, становился местным помещиком. Это были люди сомнительной честности или честные по снисходительным понятиям того времени, когда пользоваться казенными суммами и пускаться с ними в разные доходные предприятия, например давать займы под проценты, считалось делом самым обыкновенным. И всяк, кто задел несколько личностей из администрации, вооружал противу себя целую губернию.

За карточными столами только и говорили, что о Державине. Его дерзкие попытки пресечь злоупотребления воспринимались как самовольство, особенно нетерпимое при отсутствии сильных связей в Питере и большого богатства.

Корнет Марков, почитавшийся в Тамбове за самого образованного человека, так как был исключен за не-хождение из Московской гимназии, рассуждал:

— И-и, братцы, не след виршеплетов высоко подымать... Спомните, что первый наш стихотворец Тредиаковский был высечен розгами на конюшне вельможей. А известный пиит Сумароков на пути из кабака домой частенько лежал пьяный в халате на Кудринской площади в Москве...

Рылястый Бельский толкнул его в бок. В залу вошла губернаторша. Когда все отвернулись от Державина, Катерина Яковлевна порешила посещать все вечера и балы, словно бы ничего с ее мужем не приключилось. Хозяин, резвунчик, хоть и в возрасте, подскочил к ней и провел к дамам, сидевшим на другом конце залы. Умолклые было

разговоры возобновились. Толстая Чичерина громко сказала женам Лабы и Ушакова:

— И правду говорят! Стихами поднялся, так и сиди смирно. А то хочет все на свой лад вершить!

— Неблагодарная! — вырвалось у Катерины Яковлевны, не понимавшей, что ей устроена засада. — Не твоего ли мужа благодетельствовал Гаврила Романович по приезде в Тамбов?

Ответом ей было только улыбаение.

— Да не будь его, — продолжала губернаторша, увлекаясь гневом, — последовал бы твой муженек в отставку, если не куда подальше!

— Ничего! — заколыхалась Чичерина. — Убрыкается ее супруг — тише будет!

Катерина Яковлевна поднялась. Лицо ее вмиг стало мраморно-белым.

— Скурёха бесстыжая!

Задев Чичерину по лицу опахалом, губернаторша выбежала вон. В ту же ночь она занемогла. В Питер на высочайшее имя полетела жалоба оскорбленного Чичерина, обвинившего Катерину Яковлевну в учинении драки.

«...Погубернаторствовал, правдолюбец? Рыцарь Печального Образа? У Сервантеса губернаторствовал Санчо-Панса, а в Олонецкой да Тамбовской губерниях — никак ДонКишот. Ах, воистину, все начинай сызнова, доказывай, что чист и невинен. И кому? Все блудникам и мздоимцам! От этой беды мне, кажется, не унырнуть. Ну что ж, привыкай, коровка, ко ржаной солодке. Пусть я дурен, худое имею воспитание и бешеную голову, но рассудка от меня, думаю, никто отнять не может! Трудился честно, даже о стихах позабыл. За все-то губернаторство в Тамбове и написал кроме немногих мелочей только две порядочные пиесы: «На смерть графини Румянцевой» и «Осень во время осады Очакова». Не до того было. И вот: я приехал сюда огурчиком, а теперь похож на вялую репу...»

Отрешенный от должности и преданный суду сената, Державин выехал в январе 789-го года в Москву.



## Глава шестая

### «НА ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА»



*Гром победы, раздавайся!  
Веселися, храбрый Росс...*

*Державин*

5 июля 789-го года Храповицкий ожидал Державина в лионской комнате большого царскосельского дворца.

— Эк тебя разнесло! — не удержался отставной губернатор.

— Да и ты, Гаврила Романович, не помолодел, — в тон ему отвечал Храповицкий. — Вона паричище какой нахлобучил! Небось своих-то волос уж мало осталось...

Да, Державин за эти годы облысел, а Храповицкий растолстел, и так,

что Екатерина II, смеясь над его тучностью, советовала своему секретарю почаще купаться. Теперь Храповицкий перед сном, в надежде, что не будет позван во дворец, любил изрядно покуликовать. Когда же Екатерина II вызывала его в неурочное время, он окачивался водкою или пускал кровь, чтобы прогнать хмель. Раз без запинки читывал Храповицкий доклад императрице — она попросила текст. Он упал к ее ногам: «У Елагина, на острове, всю-то ночь пропили, матушка государыня. Я и поутру был еще пьян, и чтобы отрезветь, три чашки крови выпустил. Доклад вашему величеству составил по дороге в коляске, когда везли меня с острова, и читал по чистым листам...» — «Ну, бог простит, — сказала Екатерина II, — да поди же, вели написать доклад». «Руку свою дам на сожжение, — говаривала она в кругу самых ближних, — что Храповицкий не берет взятки». Наставник юного Радищева, секретарь Екатерины II, с 778-го года состоящий «при собственных ее делах и у принятия подаваемых ее величеству челобитных», Храповицкий был гибок, вкрадчив, умел ладить с Вяземским и Безбородко, дружил с камердинером императрицы Захаром Зотовым, который передавал ему самые тайные разговоры. Семейное предание гласило, что мать Храповицкого была незаконной дочерью Петра Великого.

Бесконечной анфиладой комнат, украшенных золоченым орнаментом по молочному стеклу и фарфоровыми барельефами, Храповицкий повел Державина в кабинет императрицы. Восемь месяцев добивался отставной губернатор этого свидания, боролся с противниками, оспаривал решение сената и наконец выиграл дело. В перламутровой зале Храповицкий остановился и тронул Державина за рукав светло-синего мундира:

— Гаврила Романович, что это у тебя за фолиант? Державин помахал увесистой книгою в переплете: — Подлинники всех писем и предложений господина Гудовича, которыми он склонял меня оставить без расследования расхищения казны, слабо преследовать уголовные преступления и прикрыть непорядки и кривосудие в суде...

— Да ты что? Хочешь государыню занудить? Нет, оставь-ка сей труд здесь и передашь все на словах...

Державин не без огорчения положил книгу на столик, инкрустированный жемчугом. Он пылал желанием сообщить обо всем императрице — о кознях Гудовича, коварствах вице-губернатора Ушакова и правителя наместнической канцелярии Лабы, но остудил себя: «Прав Храповицкий! Весьма странно покажется государыне, если я появлюсь у нее с такою большою книгою...»

Екатерина II встретила его в китайской комнате, вычурные узоры

которой передавали грезы европейцев о далеких странах Востока. Императрица сильно располнела, лицо покрылось паутинкой морщин. Еще бы — шестьдесят годков! Ах, и в сем почтенном возрасте влюбиться в двадцатидвухлетнего конной гвардии офицера Платона Зубова! Верно сказать: то, что издалика казалось Державину божественным и приводило дух его в воспламенение, вблизи оказывалось низким и недостойным великой Екатерины...

Пожаловав поцеловать руку, императрица спросила, какую Державин имеет до нее нужду.

— Явился поблагодарить за монаршью справедливость и объясниться по делам губернии.

Екатерина II быстро возразила:

— За первое благодарить не за что, я исполнила мой долг. А о втором отчего вы в ответах ваших сенату не говорили?

— Ваше величество! — пришепеливая, сказал Державин. — Законы повелевают ответствовать строго на то, о чем спрашивают. А о прочих вещах изъясняться или доносить особо.

— Чего ж вы не объясняли?

— Я просил объяснения через генерал-прокурора. Получил от него отзыв — обращаться по команде. То есть через генерал-губернатора господина Гудовича. Но ведь я намеревался рассказать о его непорядках и поступках в ущерб интересов вашего величества. Как же мог я после того к нему обращаться?..

— Хорошо, — спокойно проговорила императрица, — но не имеете ли вы чего особенного в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?

— Я не знаю, государыня, имею ли какую строптивость в нраве моем, — смело отвечал Державин. — Одно могу сказать, что умею повиноваться законам, если, будучи бедным дворянином, безо всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялись в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было!

— Но для чего, — подхватила Екатерина II, — не поладили вы с Тутолминым?

— Для того, что он принуждал управлять губернию по написанному им самопроизвольно начертанию. А раз я присягал исполнять только законы самодержавной власти, а не чьи другие, то не мог над собою признать никакого императора, кроме вашего величества.

— Для чего не ужился с Вяземским?

— Госудыраня! — все более воодушевляясь, воскликнул Державин. — Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не

понравилась. Он зачал надсмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придирается по всякой безделице. Что мне оставалось делать, как не просить об отставлении от службы?

— Что же за причина несогласия с Гудовичем?

— Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение вам объяснить. Ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил в перламутровой комнате...

— Нет, — с беспокойством отозвалась Екатерина II, — после...

Она задумалась и словно позабыла о Державине. Мысли ее были далеко. Что-то неладное, грозное надвигалось на Европу. Только позавчера императрица узнала, что во Франции взволновался народ, взял подозрение на королеву и захватил Бастилию. Король же всяк вечер пьян, и им управляет, кто хочет. Знатные лица и принцы крови выезжают из страны, многие уже в Брюсселе. Но давно уже беспокойно и внутри самой России: на сей раз новый Пугачев кивает и подмигивает из-под дворянского парика. В Москве и Питере расплодилось несчетно мартынистов и масонов, кои сеют французскую заразу. А унять их — руки коротки. У самых ворот России, прямо против Питера, грохочут пушки, так что дребезжат стекла в Зимнем дворце. Шведы упорствуют вернуть себе побережье. На юге вот уже два года тянется изнурительная война с Оттоманской Портой, а решительного успеха все нет...

Екатерина II провела рукою по лицу, отгоняя мучившие ее сомнения. Она оглядела Державина: стоит гордо, почти заносчиво. «Поэт! В третьем месте не мог ужиться. Надобно искать причину в себе самом...»

— Хорошо, — сказала она наконец, — я посмотрю ваши дела и прикажу привести их в сенате в движение.

Давая понять, что аудиенция окончена, Екатерина II потрясла колокольчиком. Тотчас же в комнату вкатился толстяк Храповицкий. Она улыбнулась:

— Ты так проворно бегаешь, что я считаю себя обязанной купить тебе башмаки.

— Разве что волшебные... — вкрадчиво отвечал секретарь. — Да и в них могу ли я поспеть за полетом мыслей вашего величества...

Императрица улыбнулась снова: Храповицкий умел вернуть ей доброе настроение.

— Составь, Александр Васильевич, указ о выдаче его высокопревосходительству господину Державину положенного жалованья впредь до определения к месту.

Когда же Державиан, поцеловав ее руку, вышел, добавила:

— Пусть пишет стихи. Я ему сказала, что чин чина почитает. Он горячился и при мне. Il ne doit pas être trop content de ma conversation<sup>[9]</sup>.

Декабрьский ветер нес крошево из песка и сухого снега. Но построенные для торжественного богослужения в каре солдаты не ощущали холода в своих тонких куртках. За их спиною догорал Измаил. Рушились глиняные мечети и ханы. Даже псы не были над трупами — они покинули мертвый город. И нес свои мутные, серые воды Дунай, который поэты называли голубым.

Суворов быстро шел вдоль строя: он прощался с армией. В Яссы уже скакал гонец с долгожданной вестью. С часу на час генерал-аншеф ожидал вызова к Потемкину, где, мнилось, его обрадуют фельдмаршалским жезлом от матушки государыни. Другой награды за измаильский подвиг он и не мнил себе. Твердыня, укрепленная и перестроенная по проектам французских инженеров, защищенная двумястами пятьюдесятью орудиями и тридцатипяти тысячным гарнизоном, пала. Путь на Балканы был открыт. Турки спешно укрепляли Константинополь и создавали ополчение.

— Слава, чудо-богатыри! Вы русские! — низким, таким неожиданным при его щуплой фигуре голосом выкрикивал он, выбрасывая вперед левую руку.

И мощное, согласно выдыхаемое тысячами легких «ура» перекатами несло от каре к каре.

За прихрамывающим полководцем поспешали его военачальники — Голенищев-Кутузов, Павел Потемкин, Ласси, Самойлов, Арсеньев, Рибас, казачьи бригадиры Орлов и Платов. Прочие генералы — Львов, Мекноб, Безбородко могли слышать клики торжества из госпиталя: при штурме они получили тяжкие ранения.

— Дозвольте обратиться, ваше сиятельство! — раздался смелый голос в рядах, и перед Суворовым вырос веселый, ловкий grenadier.

Суворов остановился, поприжамурил глаза и вновь открыл их.

— Постой-ка, постой, братец... Кабанов?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Помню тебя! Русский витязь! Помню, как в штыковом бою ты брал турецкие окопы под Рымником... Да чего тебе надо?

Кабанов сделал знак, строй расступился. Позади каре, нервно поводя маленькой головой, стоял стреноженный конь чистой арабской породы.

Сбруя, уздечка, седло — все было унижено жемчугом.

— Разреши, отец наш, — начал Кабанов, — вручить тебе солдатский подарок...

Генерал-аншеф стремливо обнял гренадера.

— Помилуй бог, благодарю... благодарю всех. — Он возвысил голос. — Спасибо вам, русские воины! Но... — он сделал паузу и оглядел строй ратников, — донской конь привез меня сюда. На нем же я и уеду!

Снова, но уже без команды раздалось «ура», и Суворов двинулся к центру строя, где перед бедным походным алтарем стояли, ожидая сигнала к началу молебствия, священники в полевых ризах, тускло светились золотом кресты и паникадила.

...А в эти часы в Яссах, в огромном генерал-губернаторском дворце, светлейший князь Потемкин мрачно мерил крупными шагами свой роскошный кабинет, обилием драгоценностей, зеркал, хрусталя и цветов похожий более на будуар принцессы. За ним с беспокойством следила, сидя по-турецки на низкой оттоманке, черноволосая худая красавица. Это была жена польского генерала Софья Витт, впоследствии графиня Потоцкая.

— О боже милосердный! — рокотал Потемкин, вскидывая огромные ручки, которым, кажется, было тесно и в рукавах широченного халата. — Услышь меня и прекрати мучения мои! Скорее бы, скорее!

— Князь должен успокоиться, — с заметным южным акцентом сказала Софья Витт, — судьба посылала ему добрые знаки...

Совсем недавно, долгим ноябрьским вечером она гадала светлейшему на картах и обещала, что Измаил сдастся через три недели. «Я умею гадать лучше вас», — с самонадеянной улыбкой отвечал тогда Потемкин и в ту минуту послал приказание Суворову взять Измаил приступом во что бы то ни стало. Знаменитый генерал, скучавший без дела в Бырлате, помчался под Измаил с казаком Иваном, везшим его багаж. Однако светлейшего донимали сомнения. Сам он навряд ли верил в возможность взятия Измаила. Узнав, что войска уже начали отходить от крепости, он снова заколебался. Суворову полетела новая депеша: «Предоставляю вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением или предприятия на Измаил или оставлением оног...»

— Что судьба, мой друг! — Потемкин остановился перед оттоманкой, возвышаясь, подобно башне, над красавицей, вперившей в него прекрасные греческие глаза, и глухо зашептал:

— Она не сокрыта в темноте... Она с\_а\_м\_а\_т\_е\_м\_н\_о\_т\_а...

Болезненная тоска, тайные предчувствия снедали князя. Если турки, не дай бог, одержат поверхность, его положение — положение вице-

императора России! — пошатнется.

В кабинет без стука ворвался низенький секретарь Потемкина Попов:

— Ваша светлость. Виктория, и полная! Гонец от Суворова!

— Попов! — Потемкин сгреб его в охапку. — Где же он? Немедля ко мне! Да позови Грибовского писать депешу государыне!.. — Он завертел Попова и вместе с ним двинулся к оттоманке: — Софьюшка! Весталка! Пифия! Ведьмушка! Вы будете завтра королевой бала у меня в Яссах!..

Через полчаса Грибовский, ставший одним из доверенных лиц светлейшего князя, писал под его диктовку: «Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в 30-ти слишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных... Белее уже 20 000 сочтено тел, да с лишком 7000 взято в плен, а еще отыскивают; знамен 310, а еще сообщают: пушек будет до 300; войски наши оказали мужество примерное и неслыханное...»

Увы, главный виновник великолепной победы Суворов получил в награду немилость, опалу. При свидании с Потемкиным в ответ на его слова: «Чем я могу вас наградить за ваши заслуги», — он дерзко ответил: «Я не купец и не торговаться к вам приехал. Меня наградить, кроме бога и всемилостивейшей государыни, никто не может!»

В несправедливой мстительности Потемкина виделось раздражение не одним Суворовым. Светлейший болезненно ощущал, что влияние его падает, что новый фаворит Платон Зубов забирает власть над старой императрицей. Потемкина не мог уже обмануть поток подарков. Чувствуя, что почва уходит из-под ног, он еще храбрился и говорил, отправляясь в столицу:

— Я нездоров и еду в Питербурх з\_у\_б\_ы дергать...

### 3

На Фонтанке в 757-м году по проекту известного Гваренги был выстроен для генерал-аншефа графа Романа Илларионовича Воронцова, отца княгини Дашковой и графа А. Р. Воронцова, покровителя Радищева и самого Державина, роскошный загородный дворец. В церковь при нем Катерина Яковлевна пожертвовала две тысячи рублей, проценты с которых шли на поминовение державинского рода. Рядом с домом Воронцова раскинулась обширная усадьба одного из Зубовых, в которой по временам жил и Платон. К ней примыкал дом сенатора Захарова, купленный Державиным.

Главное здание находилось в глубине двора; над фасадом высились

фигуры четырех античных богинь. Со стороны фасада имелось два боковых подъезда, третий выходил в сад, разводимый стараниями Катерины Яковлевны. От фасада по обоим краям дворца шли колонны, которые затем продолжались и вдоль стены, параллельно Фонтанке. Кабинет поэта был на втором этаже; большое венецианское окно глядело во двор.

Державин в атласном голубом халате и колпаке, из-под которого небрежно висели остатки волос, писал на высоком налое. Пригожая Катерина Яковлевна в белом утреннем платье сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер щипцами припекал ей локоны.

— Катюха, бесценная моя, послушай! — Поэт с листами в руке вышел из-за налая:

*Везувий пламя изрыгает;  
Столп огненный во тьме стоит;  
Багрово зарево зияет;  
Дым черный клубом вверх летит;  
Краснеет понт, ревет гром ярый,  
Ударам вслед звучат удары;  
Дрожит земля, дождь искр течет;  
Клокочут реки рдяной лавы:  
О Росс! таков твой образ славы,  
Что зрел под Измаилом свет!..*

— Прекрасно, Ганюшка! — Катерина Яковлевна отстранила стригача. — Звучно, возвышенно. Право, кто из поэтов с тобой сравнится...

Камердинер Кондратий просунул в дверь лицо:

— До вас господин Львов, а с ним какой-то незнакомый...

— Катюха! Николай Александрович, чать, привел к нам Ивана Дмитриева. Помнишь, читал я тебе его поденную записку касательно красот Финляндии?

— Как же, мой друг, забыть, когда он там обращается к тебе в стихах и называет Державина единственным у нас живописцем природы...

Дмитриев, высокий рябоватый офицер с прикосью, смущался, молчал или поддакивал, но добросердечный вид и приветливость обоих супругов ободрили его. Поговори несколько минут о словесности, о турецкой войне, хотел он, соблюдая приличие, откланяться, но Гаврила Романович и Катерина Яковлевна уняли его.



— Хочу тебе, Николай Александрович, и вам, Иван Иванович, прочесть новую свою оду. — Державин, высокий, худощавый, поднялся с кресел. — А от вас жду замечаний и советов.

При всем своем гении он с великим трудом поправлял собственные стихи сам, снисходительно выслушивал критику, охотно принимался за переделку, но редко имел в том удачу. Говорил он в обычном разговоре отрывисто, будто заботясь о том, чтобы высказаться поскорее. Зато когда переходил к любимому предмету, преображался:

*Как воды, с гор весной в долину  
Низвержась, пенятся, режут,  
Волнами, льдом трясут плотину:  
К твердыням Россы так текут.  
Ничто им путь не воспящает,  
Смертей ли бледный полк встречает,  
Иль ад скрежещет зевом к ним,  
Идут — как в тучах скрыты громы,  
Как двигнуты безмолвны холмы;  
Под ними дол, за ними дым...*

— Ты написал возвышенную оду в духе Ломоносова. Это и приличествует предмету. Сама Россия заговорила в твоих стихах! — сказал Львов. — Впрочем, еще одно влияние я чувствую. Сказать чье? Это Оссиан. Помнишь перевод «Поэм древних бардов»?

Державин с беспокойством спросил:

— А замечания? Я ведь знаю за собой, что небрежен...

Дмитриев не решился сказать что-либо, а Львов взял листки и принялся разбирать оду, строка за строкой, находя неудачные слова и выражения.

— Ты, Гаврила Романович, написал: «Под ними дол, за ними дым». Сие не совсем точно. «Дол» не выражает страшного сего момента. Лучше сказать как-нибудь иначе, — он задумался, шевеля губами, и предложил: — «Под ними стон, за ними дым»...

Державин слушал, кивал головою. Совет Львова написать «ты багришь» или «кровавишь бездны» вместо своего «ты пенишь бездны» он не принял, равно как и «бесстрашно высятся челом» взамен «седым возносятся челом». Зато другие поправки, в том числе и в строчке «Под ними дол, за ними дым», тотчас учел и вписал вместо слова «дол» «стон».

В спорах он иной раз отстаивал ошибочное мнение и на сей раз отказался переделать неловкую строку, «Поляк, Турк, Перс, Прусс, Хин и Шведы». Он упрямылся, сердился, но скоро отходил и сам над собой подшучивал.

За разговором и не заметили, как пришло время обеда.

Когда к столу подали разварную щуку, Дмитриев заметил, что хозяин, уставясь в блюдо, что-то шепчет.

— Гаврила Романович, — осмелел молодой поэт, — что отвлекло вас?

Державин с доброю улыбкой откинулся на высокую спинку стула.

— А вот я думаю, случись мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет «и щука с голубым пером...».

Голова его воистину была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих поэтических произведений. И через несколько лет Дмитриев узнал «щуку с голубым пером» в послании Державина «Евгению. Жизнь Званская».

После кофия, когда Львов уехал по неотложному делу, Дмитриев тоже поднялся, но упрощен был остаться до чая. Таким образом, с первого посещения молодой поэт просидел у Державиных до самого вечера.

Прощаясь с Державиным, Дмитриев решился спросить его:

— Почему в ваших прекрасных стихах нет ни славного Суворова, покорителя Измаила, ни прочих знаменитых полководцев?

— Друг мой, — отвечивал хозяин, — не желая прослыть льстецом, решился я отнести в этой оде все похвалы только к императрице и всему русскому народу.

Говоря так, Державин несколько лукавил. Прямо хвалить Суворова поэт опасался. Вернее сказать, он не чувствовал себя достаточно утвердившимся после недавнего падения, чтобы воспеть опального полководца. Это сделал чуть позже Костров своей эпистолой «На взятие Измаила»: «Суворов, громом ты крылатым облечен и молний тысящью разящих ополчен, всегда являешься ты в блеске новой славы, всегда виновник нам торжеств, отрад, забавы...»

Сам Суворов крепко порицал державинскую оду и даже советовал дальнему родственнику и виршеплету Д. И. Хвостову написать на нее критику: «Похвала есть единственная награда поэта и героя, а как в сей оде ни слова не сказано о Суворове, а все говорится о князе Потемкине, который за 200 верст был от приступа, то герой, почитающий их дело — взятие Измаила — знаменитейшим из своих походов тогдашнего времени, не мог простить стихотворцу за молчание о нем».

Но полководец явно увлекался, обвиняя поэта в лести Потемкину.

Державин лишь коснулся колоритной фигуры временщика. Зная почти безграничное могущество Потемкина, можно только удивляться тому, как мало он писал при жизни светлейшего в честь его. И конечно, не Потемкин выступает в оде «На взятие Измаила» ее главным героем, но русский воин, «твердокаменный Росс», а главную мысль в ней является любовь к отечеству, призыв служить ему до последнего часа:

*А слава тех не умирает,  
Кто за отечество умрет:  
Она так в вечности сияет,  
Как в море ночью лунный свет.  
Времен в глубоком отдалены  
Потомство тех увидит тени,  
Которых мужествен был дух.  
С гробов их в души огонь польется,  
Когда по рощам разнесется  
Бессмертный лирой дел их звук.*

Ода «На взятие Измаила», разошедшаяся по тем временам неслыханным тиражом в три тысячи экземпляров, имела громовый успех. Она была издана отдельно, тотчас по сочинении ее, в Питере, а затем в Тамбове и в Москве. Императрица прислала Державину богатую, осыпанную бриллиантами табакерку и, увидя его во дворце первый раз после напечатания оды, сказала с улыбкой:

— Я по сие время не знала, что труба ваша так же громка, как лира приятна...

Звезда Державина снова поднималась.

В феврале 791-го года Потемкин прибыл из Ясс в Питер. Кажется, в этот последний свой приезд в столицу он превзошел себя в расточительности и роскоши, в легкомысленной спеси и праздной лени. Он являлся публике не иначе, как окруженный множеством генералов и пленных пашей с такой пышностью, какой не позволял себе ни один из европейских монархов. В исходе Фоминой недели, 28 апреля 791-го года, старый временщик решил торжественно отпраздновать взятие Измаила в

Таврическом дворце, или, как он назывался тогда, Конногвардейском доме.

Это празднество, подробно описанное затем Державиным, его свидетелем и одним из устроителей, явило собой безмерный контраст со все ухудшавшимся положением угнетенного народа, из которого жали все соки. Незадолго до измайловской виктории, весной 790-го года вышло «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, гневно заклеившее самодержавие и крепостничество. «Алчные звери, пиявицы ненасытные, — что крестьянину мы оставляем?» — страстно вопрошал он и требовал: «Отверзите рабам темницу неволи!» В числе немногих, получивших от самого Радищева экземпляр «Путешествия», был и Державин. Однако дворянско-сословная ограниченность поэта не позволяла ему понять революционный пафос книги. Можно сказать, что его собственные помыслы и устремленность были прямо противоположными радищевской и направлялись на укрепление дворянского государства, воспевание его военной мощи, его блеска и славы.

Все это отразилось и в державинском описании празднества, и в хорах, заказанных ему Потемкиным для торжественного сего случая.

Вскоре после присоединения Крыма Екатерина II приказала архитектору Старову построить роскошный дворец наподобие пантеона и назвать его Таврическим, а затем подарила великолепному князю Тавриды. В здании с высоким куполом была огромная зала, которой необыкновенно величественный вид придавали два ряда колонн. Екатерина II купила потом дворец у Потемкина, заплатив ему 460 тысяч рублей. А когда он приехал, увенчанный лаврами измайловского победителя, императрица в числе многочисленных милостей и наград опять подарила ему Таврический дворец.

Конногвардейский дом не был вполне отделан: перед главным подъездом тянулся забор, скрывавший ветхие строения. По приказанию Потемкина забор и строения в три дня были уничтожены, место расчищено и устроена площадь до самой Невы. Сам светлейший наметил и программу празднеств. Под его смотрением несколько недель трудились сотни художников и мастеров. Множество знатных дам и кавалеров собирались для разучивания назначенных ролей, и каждая из этих репетиций походила на пышное празднество.

В Питере пропала мелкая и чистая мука, коей порошили голову. Для освещения дворца скупили весь наличный воск, и за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску закупили на 70 тысяч рублей. Модные портнихи, волосочесы были нарасхват. Щеголихи за несколько дней готовились к знаменитому празднеству, водружая на голове самую

модную прическу «le chien couchant»<sup>[10]</sup>: посредине большая квадратная букля, словно батарея, от нее по сторонам косые крупные букли, точно пушки, назади шиньон. Вся прическа имела не менее полуаршина вышины.

В назначенный день, в пятом часу на площади перед Таврическим дворцом уже стояли качели, столы с яствами, кадки с медом, квасом, сбитнем и разные лавки, в которых должны были безденежно раздавать народу платье, обувь и шапки. Час от часу толпа клубилась все плотнее, ожидая раздачи питей и одежды. Народу было объявлено, что это произойдет, когда будет проезжать Екатерина II.

Богатые экипажи один за другим подкатывали ко дворцу, на фронтоне которого сверкала надпись, составленная из металлических букв и выражавшая благодарность Потемкина «великодушию его благодетельницы». Тут можно было увидеть и большие высокие кареты с гранеными стеклами, запряженные цугом крупных породистых голландских лошадей с кокардами на головах, и легкие, изящные двухместные кареты в виде веера, и кареты-дворцы, дверцы которых были расписаны пастушечьими сценами Ватто и Буше.

В сем блестящем потоке вряд ли кто мог обратить внимание на казачью коляску, ехавшую мимо Таврического дворца. Мордастый парень управлял простыми лошадьми, а маленький седой старик со смешным хохолком, пукольками и косичкой полулежал, накрывшись солдатской епанчой. Глядя на празднество, он прикрикнул:

— Погоняй, Прощка! — и тихо прошептал: — Стыд измайльский из меня не исчез...

Это был победитель Измаила генерал-аншеф Суворов, поспешно спроваженный Екатериной II из Питербурха в Финляндию, чтобы не мешать веселью.

Вслед за ней появилась вызолоченная, в драгоценных камнях карета шпыня Льва Нарышкина, стоившая многих деревень.

— Царица! Матушка государыня! Ура! — разнеслось в толпе.

Вымокший и иззябший от ненастной погоды народ ринулся к выставленным подаркам, смяв цепь полицейских. Давка и суматоха задержали экипаж императрицы, который, не доехав до площади, простоял более получаса.

Екатерину II встретил Потемкин. На нем был алый кафтан и епанча из черных кружев в несколько тысяч рублей. Бриллианты сверкали везде, унизанная ими шляпа была так тяжела, что светлейший передал ее своему адъютанту Боуру и велел таскать за собою.

Императрица взглянула на Потемкина в фантастическом сем наряде, и

ей показалось, что она вернулась в незабываемые первые, самые счастливые годы своего царствования...

Внутренность дворца еще более поразила ее. Обстановка и убранство напоминали о сказках из «Тысячи и одной ночи». Высоко под куполом находились невидимые снизу куранты, игравшие попеременно пьесы лучших композиторов. Эстрада, предназначавшаяся для Екатерины II и царской фамилии, была покрыта драгоценным персидским шелковым ковром. Такие же эстрады тянулись вдоль стен, и на каждой стояло по огромной вазе из белого каррарского мрамора. Над вазами висело две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой. Возвышение на правом конце галереи было занято хором певчих и оркестром роговой музыки из трехсот человек.

Три тысячи гостей в разноцветных нарядах стоя приветствовали венценосную правительницу России. Едва лишь Екатерина II прошла на приготовленную для нее эстраду, как навстречу ей из зимнего сада выступили в кадрили двадцать четыре пары из знаменитейших фамилий, в костюмах розового и небесно-голубого цвета, унизанных драгоценными камнями. Начался балет сочинения знаменитого балетмейстера Ле Пика. Затем при громе литавр и грохоте пушек под сводами разнеслось:



Это был один из четырех стихотворных хоров, написанных Державиным на музыку Козловского по заказу Потемкина и ставших лучшим украшением празднества. Как и три остальных — «Возвратившись из походов...», «Сколь твоими чудесами...» и «От крыл орлов парящих...», — он явился поэтическим комментарием к военной славе России. Ценою почти непрерывных войн Россия именно в екатерининское царствование вышла к своим жизненно необходимым границам, завещанным Петром Великим. Она утвердилась на Черном море, получила Крым, присоединила Кубань и отразила попытки шведов вернуть себе балтийские берега.

О первом стихе этого хора Жуковский, присутствовавший мальчиком на торжестве, сказал впоследствии, что в нем выразился весь век

Екатерины II:

*Гром победы, раздавайся!  
Веселися, храбрый Росс!  
Звучной славой украшайся:  
Магомета ты потряс.  
Славься сим, Екатерина,  
Славься, нежная к нам мать!*

*Воды быстрые Дуная  
Уже в руках теперь у нас;  
Храбрость Россов почитая,  
Тавр под нами и Кавказ...*

*Уж не могут орды Крыма  
Ныне рушить наш покой:  
Гордость низится Селима  
И бледнеет он с Луной...*

*Мы ликуем славы звуки,  
Чтоб враги могли то зреть,  
Что свои готовы руки  
В край вселенной мы простреть...*

*Зри, премудрая царица,  
Зри, великая жена,  
Что твой взгляд, твоя десница —  
Наш закон, душа одна...*

*Зри на блещущи соборы,  
Зри на сей прекрасный строй:  
Всех сердца тобой и взоры  
Оживляются одной.  
Славься сим, Екатерина,  
Славься, нежная к нам мать!*

После танцев автомат-персианин, сидевший на спине золотого слона, ударом в колокол подал сигнал к началу театрального представления.

Императрица увидела сперва балет, а потом комедию Мармонтеля «Смирнский купец», где в роли невольников явились жители всех стран, кроме России.

Минуя заднюю колоннаду, Потемкин провел Екатерину II в зимний сад. Тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами и розами. Соловьи оглашали сад трелями и щелканьем. Между кустами расставлены были невидимые для гуляющих курильницы с благовониями и бил фонтан лавандовой воды. Посредине высился храм, в котором стоял бюст императрицы, высеченный скульптором Шубиным из белого паросского мрамора. — Екатерина II была представлена в царской мантии, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги.

Увы! Наград не хватило лишь измайльскому герою — Суворову...

В двенадцатом часу в театральной зале и амфитеатре был накрыт ужин. В боковых комнатах имелось еще тридцать столов для знати, да еще множество расставили вдоль стен, где гости ужинали стоя. Начался один из знаменитых потемкинских пиров.

Десять главных поваров разных национальностей трудились на кухне. Вся кухонная посуда была из чистого серебра, в том числе и чаны-кастрюли на двадцать ведер, где готовили уху из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей.

Гостям предлагались кушанья:

Похлебка из рябцов с пармезаном и каштанами.

Говяжьи глаза в соусе, называемом «поутру проснувшись».

Гусь в обуви.

Терины с крылами и пуре зеленым.

Семга гласированная.

Окуни с ветчиною.

Черепахи.

Чирята с оливками.

Вьюны с фрикандо.

Фазаны с фисташками.

Голубята с раками.

Сладкое мясо ягнячье.

Гателеты из устриц.

Крем жирный, девичий...

Специально для императрицы была изготовлена «бомба а ля Сарданапал», блюдо, изобретенное потемкинским поваром, — картофеля, начиненная всевозможной дичью. Оно особенно нравилось



Екатерине II, хотя вообще она недолюбливала изысканные кушанья, предпочитая всему разварную говядину с солеными огурцами.

После ужина императрица была приглашена на концерт вокальной и инструментальной музыки. Так как она не имела слуха, то просила сидевшего рядом Платона Зубова подавать ей знак, когда надобно хлопать.

Она уехала в два пополудни.

Когда Екатерина II выходила из залы, слышалось нежное италийское пение под орган: «Здесь царство удовольствий, владычество щедрот твоих; здесь вода, земля и воздух дышат твоей душой. Лишь твоим я благом живу и счастлив. Что в богатстве и почестях, что в великости моей, если мысль тебя не видеть ввергает мой дух в ужас? Стой и не лети, время, и благ наших не лишай нас!...»

— Григорий Александрович, — сказала растроганная императрица, — вы доставили мне живейшую радость... Один бог знает, как я ценю вас, и нет меры моей благодарности...

Потемкин пал пред ней на колена и с неожиданной для себя, почти старческой слабостию заплакал. Екатерина II вздрогнула. Ее острому взгляду в лице этого одноглазого великана, несокрушимого пьяницы, изобретательнейшего гастронома, ненасытного любовника, силача и патологического здоровяка, на мгновение открылись черты немощи и тлена. Странная тень прошла по зале, попризатушив огни, попритишив музыку и рокот толпы. Сказочной, небывшей явью предстали три молодых красавца и великана — гвардейские поручики Григорий и Алексей Орловы и унтер-офицер Потемкин. На нее прощально дохнуло забытым: веселием молодости, остротой ощущений, самонадеянным чувством вечности жизни. Она наклонилась к Потемкину, и слезы потекли из ее глаз.

После отъезда царицы празднество возобновилось с новой силой. Только Потемкин сделался мрачен. Он скоро напился пьян и несвязно нес всяческую нелепицу.

Светлейший князь сразу по приезде в Питер стал ласкаться к Державину и через двух своих секретарей, Попова и Грибовского, передавал, что хочет с ним познакомиться покороче. А после написания поэтом известных хоров стал вовсе за ним волочиться, желая от него похвальных себе стихов. Он подсылал к Державину Попова, чтобы узнать, чего поэт хотел бы получить. В свой черед, молодой фаворит Зубов,

призвав Державина однажды к себе в кабинет, сказал ему именем государыни, чтобы тот отнюдь бы от Потемкина ничего не принимал и у него не просил:

— Вы и без него все будете иметь. Императрица назначит вас быть при себе статс-секретарем по военной части...

Державин в таковых мудреных обстоятельствах не знал, что и делать и на которую сторону искренне предаться.

Вскоре Потемкин, попросив поэта сочинить описание празднества в Таврическом дворце, пригласил его к себе обедать. Без сомнения, он ожидал великих похвал себе или, лучше сказать, обыкновенной лести. Когда Державин привез ему поутру свое сочинение, князь принял тетрадь в спальне и, учтиво поблагодарив, дал команду готовить обеденные столы. Но, прочтя рукопись и увидя, что в ней отдана равная с ним честь давним его соперникам — фельдмаршалу Румянцеву и Алексею Орлову, — с бранью выскочил из спальни, приказал подать коляску и ускакал невесть куды.

По дороге домой Державин говорил себе, что князь горяч, да отходчив.

«Ах! — простодушно сокрушался он. — Желал бы я ему всем сердцем благотворить, ежели б дворцовые обстоятельства не препятствовали...»

Последний раз они виделись, когда Потемкин уезжал в армию. Через Попова князь просил, чтобы Державин открылся, не желает ли чего. Поэт имел втепory великую во всем нужду. Но, помня запрещение нового фаворита, сказал, что ему ничего не надобно. Потемкин позвонил ему в спальню, усадил рядом с собой на софе и, уверив в своем прежнем к нему расположении, кротко и ласково с ним простился.

В пути Потемкин ощутил умножение телесной слабости. Он еще храбрился и в Яссах объявил, что отнюдь не заключит мира с турками, если России не будет уступлена Молдавия и Валахия. Но день от дня князь чувствовал себя все хуже и хуже. Яссы ему так опротивели, что он называл их своим гробом. Наконец в седьмом часу пополуночи 7 октября 1791-го года князь выехал в только отстраивавшийся Николаев. На другой день поутру он сказал сопровождавшим его Попову и племяннице — графине Браницкой:

— Будет теперь. Некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из кареты. Я хочу умереть в поле...

Когда его положили на траву, он спросил спирту, намочил им голову и, полежав около часа, стал помаленьку отходить. Зевнув раза три напоследок, он так спокойно умер, как гаснет свеча без малейшего ветра.

Екатерина II несколько дней плакала и не раз повторяла:

— Теперь не на кого опереться... Как можно мне Потемкина заменить?.. Все будет не то. Кто мог подумать, что его переживет Чернышов и другие старики? Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы...

В далекой Финляндии Суворов откликнулся на эту смерть словами:

— Великий человек и человек великий: велик умом, велик и ростом. Непохож на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бэкон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют...

Потемкин оставил после себя немало дворцов, триумфальных арок, воксалов иobelisks. Но главный памятник — в то время, как многие без стыда поносили павшего кумира, — воздвиг на его могиле одой «Водопад» Державин. Только отзвучали «громкие хоры» измаильского празднества, и вдруг погас блеск «павлиний» потемкинское правление — тьма, пропасть, забвение. Повторилось то, что с такой остротой всегда ощущал поэт: «Сегодня бог, а завтра прах».

Люди неодинаково чувствительны к смерти. Великое множество, большинство проходит свой путь, не задумываясь о неизбежности конца («не мнит лишь смертный умирать»). Державин принадлежал к тем немногим, кто постоянно, неотступно думал о всепоглощающей смерти — и как раз от полноты ощущения жизни: «Не зрим ли всякий день гробов, седин дряхлеющей вселенной. Не слышим ли в бою часов глас смерти, двери скрип подземной».

Это «двойное зрение» позволило ему в смещении контрастов запечатлеть в оде судьбу «сына счастья и славы» Потемкина. Давние уже впечатления от карельского водопада Кивач навеяли мысли о стремительном беге времени, о кипении страстей, умиряемых, а затем и гасимых печалью, старостию, смертью. Поэту представляется исполинская тень Потемкина: «Но кто там идет по холмам, глядясь, как месяц, в воды черны?..»

В представлении Державина это был сильный наперсник Екатерины II, который любил стихотворчество и предводительствовал войсками. И хотя к полководческому искусству едва ли имел способность, обладал зато столь замысловатым и решительным умом, что так, как он, никто взвесить силы России не мог. Он усмирил воинственные Крымские Орды и своевольную Сечу запорожцев, населил полуденные степи городами, на Черном море завел флот и угрожал им Оттоманской Порте. При избаловании его императрицею был такой причудливый и прихотливый вельможа, что в одну минуту желал то кофию, то кислых щей, то фиников, то кислой капусты, то арбуза, то соленых огурцов, так что, командуя армиею, нарочно

посылал курьеров верст тысячи за две и более за клюквой или костяникой...

И вот: самая память об этом необыкновенном человеке, пред которым трепетали сопредельные державы и изображение которого красавицы носили в медальоне на груди, вдруг оказалась предана забвению. Жизнь и небытие, слава и безвестность, веселие и смерть, — сдвигая глыбы этих понятий, ищет Державин ответа на вопрос, чем был и чем стал недавний властитель полумира:

*Где слава? где великолепье?  
Где ты, о сильный человек?  
Мафусаила долголетье  
Лишь было б сон, лишь тень наш век:  
Вся наша жизнь не что иное,  
Как лишь мечтание пустое...  
Иль нет! — тяжелый некий шар,  
На нежном волоске висящий,  
В который бурь, громов удар  
И молнии небес ярящи  
Отвсюду непрестанно бьют  
И, ах! зефиры легки рвут.*

*Единый час, одно мгновенье  
Удобны царства поразить,  
Одно стихиев дуновенье  
Гигантов в прах преобразить;  
Их ищут места — и не знают:  
В пыли героев попирают!*

Вблизи неизбежной смерти, забвения и тлена поэт настойчиво повторяет слова о служении правде: «Лишь истина дает венцы заслугам, кои не увянут; лишь истину поют певцы, которых вечно не престанут греметь перуны сладких лир; лишь праведника свят кумир». Как часто бывает у Державина, трагическое противоречие снимается доверием Природе, ее мудрости, ее бесконечности. Так kloкочущий водопад Кивач становится спокойною рекой Суной. Природа обещает успокоение земных бурь и человеческих страстей.

Да, это река жизни дает умиротворяющее разрешение, неся свои воды

В вечность:

*То тихое твое течение, —  
Где ты сама себе равна.  
Мила, быстра и не в стремление,  
И в глубине твоей ясна,  
Важна без пены, без порыву,  
Полна, велика без разливу,*

*И, без примеса чуждых вод  
Поя златые в нивах бреги,  
Великолепный свой ты ход  
Вливаешь в светлый сонм Онеги...*

## Глава седьмая СКИПЕТР И ЛИРА



*Ты сам со временем осудишь  
Меня за мглистый фимиам;  
За правду ж чтить меня ты будешь:  
Она любезна всем векам...*

*Державин. Послание к Храповицкому*

13 декабря 791-го года последовал указ Екатерины II сенату: «Всемилоостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений».

После того как генерал-прокурора сената скрипун-чика Вяземского разбил паралич, а исполнявший его обязанности Колокольцев своей

оплошностью вызвал гнев императрицы, Державину было вменено в обязанность руководить сенатом. Таким образом он соединил в себе власть генерал-прокурора и докладчика. Но ненадолго.

Еженедельные доклады Державина по сенатским мемориям и частые его замечания на них скоро надоели стареющей императрице. «Он со всяким вздором ко мне лезет. Он так нов, что ходит с делами, до меня не принадлежавшими», — жаловалась она Храповицкому.

Особенно наскучили ей два бесконечных дела — сибирского наместника Якобия и банкира Сутерланда.

Генерал-поручик Якобий, бывая по делам службы у Вяземского, начал ухаживать за дочерью его обер-прокурора Рязанова и уже дарил невесту бриллиантами. Но противная Вяземскому партия — графы Безбородко и Воронцов, не желая усиления князя через фаворита государыни Ланского, помешали сватовству. Якобий отъехал в Иркутск и через год невесте отказал. Скрипунчик Вяземский поклялся, что жив не будет, ежели за такую наглую обиду не отомстит. Через несколько месяцев канцелярист Якобия подал донос, в котором возводил на наместника многие вины, где важнейшей было намерение возмутить против России Китай.

Дознание препоручили страшному Шешковскому, кнутобойствовавшему в тайной канцелярии. Вяземский, не мешаясь ни во что открыто, умел так искусно действовать, что весь сенат был на его стороне. Дело было столь огромное, что второй департамент занимался им каждый день в течение семи лет. Державин все изучил, обследовал и донес государыне, что решение готово. Она приказала ему доложить и весьма удивилась, когда целая шеренга гайдуков и лакеев внесла ей в кабинет превеликие кипы бумаг. Ознакомившись с короткой, на двух листах запиской Державина и увидя, что Якобий им вчистую обеляется, Екатерина II изъявила сомнение: «Прочитай мне весь экстракт сенатский, начиная с завтра». Слушание сего дела продолжалось четыре месяца, всякий день по два часа, причем императрица не раз выгоняла усердного докладчика вон. А однажды, когда он приехал к ней в бурю, снег и дождь, через камердинера Тюльпина передала:

— Удивляюсь, как такая стужа гортани вам не захватит!

Наконец Державин представил проект указа, оправдывающего Якобия. Екатерина II велела сперва показать его Шешковскому и рекетмейстеру Терскому — не найдут ли они в нем чего неверного. Шешковский, взяв на себя вид важный, таинственный и грозный, начал придирается к мелочам и толковать, что в указе не соблюдена якобы должная справедливость.

— Слушай, Степан Иванович! — сказал ему неустрашимо Державин.

— Ты меня не собьешь с пути и не заставишь осудить невинного. Нет, ты лучше мне скажи, какую и от кого ты имел власть, осуждая Якобия строже, нежели законы позволяют, и тем совращая сенаторов со стези истинной? И замешал дело так, что несколько лет им занимались и поднесли императрице нерешенным?

Шешковский затрясся, побледнел и замолчал, а хитрый Терский, готовый угождать сильной стороне, тут же сказал, что в указе не находит ничего незаконного, с чем и Шешковский согласился. Якобий был оправдан.

Не в пример сибирскому наместнику банкир Сутерланд был человеком нечистым. Впервые Державин познакомился с его махинациями, когда разбирал жалобу венецианского посланника графа Моценига. Он торговал в России с помощью Сутерланда и через его нечестность потерял до ста двадцати тысяч рублей. С превеликим трудом Державин помирил их, причем Моцениг получил вместо своей претензии лишь одну треть. А вскоре у Сутерланда обнаружилась недостача в два миллиона казенных денег. Он объявил себя банкротом, а после отравился ядом. Державин все изучил, собрал многочисленные бумаги в тючок и ожидал случая, чтобы поднести их императрице.

Такой случай наступил после оправдания Якобия.

## 2

Екатерина II сидела за большим письменным столом в своем кабинете. Изю дня в день занималась она сочинением «Российской истории».

Завидя Державина, императрица сняла очки, встала и бросила на него тот орлиный взгляд, от которого всегда казалась выше своего небольшого роста.

Как обычно, душа ее была занята военной славой и замыслами политическими.

— Ты, чай, слышал, что турки вновь вооружаются и усиливаются в пограничных с Россией областях?

— Неужто мало им было Рымника, Измаила и Мачина? — искренне удивился Державин.

— Ах! — не слушая его, продолжала императрица. — Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией не осную торговлю... Да-да. Ежели б я правила двести лет, то, конечно, вся Европа подвержена была б российскому скипетру... Что там у



тебя?

Увы! Блистательные политические дела о военных приобретениях, о постройке новых городов и выгодах торговли, которые ее всего более увеселяли, были в руках прочих статс-секретарей. А у Державина оставалось все роду неприятного — жалобы на неправосудие, прошения о наградах за заслуги и милостях по бедности.

— Не прикажет ли ваше величество окончить дело Сутерланда?

Екатерина II поморщилась.

— Да где же оно? — наконец соизволила она отозваться.

— Здесь.

— Внеси его сюда и положи на столике. А после обеда в обычный час приезжай и доложи.

Державин исполнил ее приказание, откланялся и поехал домой.

Екатерина II погрузилась в чтение русских летописей. Она искала в них оправдания своему царствованию, собственным слабостям, толь часто влиявшим на ход ее самодержавного правления. Судьбы князей, междоусобицы и распри, дворские интриги, — все как будто бы подтверждало это. «Род человеческий, — писала царица, — везде и по вселенной одинакие имел страсти, желания, намерения и к достижению употребляя нередко одинакие способы...»

Когда императрица отвлеклась наконец от своей рукописи, она обнаружила на столике изрядный тючок. Удивляясь, откудова ему быть, кликнула Попова.

— Что это еще за бумаги? — встретила она его в чрезвычайном гневе.

Попов сузил свои хитрые татарские глазки:

— Не знаю, государыня. Видел только, что их Державин принес.

— Державин! — вскричала Екатерина II. — Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом? Нет! Я покажу ему, что он меня за нос не поведет. Пусть его придет сюда...

Явившийся в назначенный час Державин попросил до-дожить о себе; ответили: велено ждать. Наконец от государыни вышел граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, обер-прокурор синода и известный собиратель старины, открывший впоследствии «Слово о полку Игореве». Он готовил к изданию «Русскую правду» и снабжал Екатерину II материалами по отечественной истории. Противу обыкновения Мусин-Пушкин весьма сухо поклонился поэту. Тот, недоумевая еще более, проследовал в кабинет и нашел государыню в ярости: лицо ее пылало огнем, скулы тряслись. Тихим, но грозным голосом она молвила:

— Докладывай...

Державин спросил:

— Как? По краткой или пространной записке?

— По краткой.

Он зачал читать, но она, отвернувшись, явила Державину свой грациозный профиль и, видимо, почти не внимала ему.

Державин кончил читать, встал со стула и, унимая раздражение, осведомился:

— Что приказать изволите?

Екатерина II снисходительнее прежнего сказала:

— Я ничего не поняла. Приходи завтра и прочти мне пространную записку.

Срывающимся голосом поэт возразил:

— Не поняли, как отсутствовали мыслями. Давайте, я еще раз прочту!

Она махнула рукою, пошла от него прочь, но Державин, распалясь, схватил ее за конец мантильи. Тогда Екатерина II закричала на самой высокой ноте:

— Попов!!

Тот вылетел из соседней комнаты.

— Побудь уж здесь, Степан Васильевич. Этот господин, кажется, прибить меня хочет...

На другой день Державин, однако, был принят милостиво. Екатерина II даже извинилась, что вчерась горячо поступила, примолвля:

— Ты сам горяч, все споришь со мною!

— О чем мне, государыня, спорить? — миролюбиво отвечал Державин. — Я лишь читаю, что в деле есть, да и виноват ли я, что толь неприятные вещи должен вам докладывать?

— Ну полно, не серчай, прости меня. Читай, что принес.

Поэт перечислил, кем сколько казенных денег из кассы Сутерланда забрано. Первым был назван князь Потемкин, который взял восемьсот тысяч. Указав на то, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал собственные деньги, царица приказала погасить долг за счет государственного казначейства. Далее шли князь Вяземский, граф Безбородко, вице-канцлер Остерман, Марков и прочие бояре; с иных она приказывала взыскать, других — простить. Среди прочих сумм оказалось и пятнадцать тысяч рублей, выданных Сутерландом некоему стряпчему по делу с графом Моценигом.

— Ваше величество! — пришепеливая, сказал Державин. — Надобно исследовать, куда потрачена сия сумма. Как дело Моценига рассматривал один я, могут подумать, что деньги пошли мне на подкуп...

Помолчав, Екатерина II равнодушно заметила:

— Ну что исследовать? Ведь это за всеми видится.

Державина сие поразило. Он снес холодный, обидный ему ответ, решив, что все равно докажет свою чистоту.

Но вот среди должников покойного Сутерланда открылся и великий князь Павел Петрович. Екатерина II тут же зачала жаловаться, что он деньги мотает.

— Строит беспрестанно такие строения, в которых нужды нет. Не знаю, что с ним делать, — с неудовольствием проговорила она, как бы ожидая от докладчика одобрения своим мыслям.

Не умея играть роли хитрого царедворца, Державин потупил глаза и не говорил ни слова.

— Что же ты молчишь? — уже негодуя, подступилась императрица.

— Государыня, — тихо сказал Державин, закрывая бумагу, — наследника с императрицей я судить не могу!

Екатерина II вспыхнула:

— Поди вон!

В крайнем смущении, не зная, как ему быть, поэт направился в комнаты фаворита Платона Зубова. На него перешли многие из тех должностей, кои прежде занимал Потемкин: был назначен генерал-фельдцейхмейстером, новороссийским генерал-губернатором, начальником черноморского флота. Вместе с тем юный фаворит избегал интриг, во всем подчинялся воле Екатерины II, был неглуп и имел доброе сердце.

— Вступитесь хоть вы за меня, Платон Александрович! — сказал сокрушенно Державин. — Поручают мне неприятные дела. Я докладываю всю истину, что есть в бумагах, а государыня гневается. И теперь по Сутерландову банкротству так раздражилась, что выгнала меня вон. Я ли виноват, что ее обворовывают?..

Зубов его успокоил и обещал в тот же вечер замолвить словцо перед императрицею. Но поэт надулся и решил — в который раз! — быть осторожным.

Екатерина II, тотчас приметившая, что он сердит, зачала спрашивать о прихварывавшей жене, о домашнем быте и не жарко ли ему и не хочет ли он пить? В прежние случаи он позабывал свою досаду, но тут, не вытерпев, вскочил со стула и крикнул в исступлении:

— Боже мой! Кто может устоять против этой женщины! Государыня, вы не человек! Я наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего вам не говорить, но вы делаете из меня, что вам угодно.

Екатерина II засмеялась и сказала:

— Неужто это правда?

Но эту свою способность — вертеть людьми, подчиняя их себе, она не только прекрасно за собою знала, но довела до совершенства. Иными словами, императрица умела выигрывать сердца и управляла ими, как хотела. Державин чувствовал, как истаивает в нем раздражение, уступая место обычному добродушию. И, мгновенно угадав в нем эту перемену, Екатерина II вдруг переменилась сама, кротко и ласково поглядела на своего кабинетского секретаря и взяла его большие, грубые руки в свои:

— Гаврила Романович, дружок! Позабыл ты свою Фелицу. Спой нам, соловушко! Спой, голосистый!..

— Хорошо, матушка, — смело отозвался он. — Только придется вам обождать. Помните слова Ломоносова: «Музы не такие девки, которых завсегда изнасиловать можно...»

Что делать! Уже несколько раз принимался Державин за похвальные стихи Екатерине II, запираясь по неделе дома, но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом. Не собрался с духом, чтобы воздавать ей такие тонкие похвалы, как в оде «Фелица» и тому подобных сочинениях, которые им писаны были не в бытность его еще при дворе. Вблизи все выглядело иначе, чем издали. И вот охладел так его дух, что Державин почти ничего не мог написать в похвалу выстарившейся императрице.

Вечером в своем кабинете он снова тужился настроить лиру на сладкогласный лад, ан вышло совсем иное. Помня дворские хитрости, беспрестанные себе толчки, начертал он на плотном, светло-синем листке с золотым обрезом, предназначенном для подношения Екатерине II:

*Поймали птичку голосисту  
И ну сжимать ее рукой, —  
Пищит бедняжка вместо свисту;  
А ей твердят, пой, птичка, пой!*

В ожидании гостей Катерина Яковлевна отдыхала на диванчике, а против нее в креслах сидела красавица высокого роста и крупных форм, величавая, но холодная. Рядом с Катериной Яковлевной, лицо которой беспрестанно менялось, являя улыбку, заботу, страдание, можно было легко

подметить, что гостье не доставало одушевления и живости. Это была единственная не вышедшая замуж из четырех дочерей покойного уже Дьякова Дарья Алексеевна, невестка Капниста и Львова.

Небольшая гостиная Державиных была вся изукрашена рукоделиями Катерины Яковлевны. Она вообще много хлопотала по устройству дома, но в последнее время заметно ослабла, почасту лежала, жалуясь на головную боль. Никак не могла прийти в себя после злосчастной ссоры в Тамбове.

Заглянувший в гостиную Державин, одетый по-домашнему — шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом, и колпак, — с тревогой посмотрел на свою Катюху. Она, не видя его, разговаривала с гостьей о счастливом супружестве.

— Ах, Дашенька, дружок! Мы ведь с тобою посестрились, и от меня ты только правду услышишь. Полно тебе в девках-то сидеть. Пора искать счастья.

— Не так-то это просто, Катенька, — с улыбкою отвечала Дьякова.

— Чего уж проще! — живо возразила та. — Взгляни на своих сестриц. Все счастливы! Выходи за господина Дмитриева — скромненький, благонадежен, учен. Ей-ей, чем тебе не пара?

Дьякова перестала улыбаться:

— Нет! Найди мне такого жениха, как твой Гаврила Романович. Тогда я пойду за него и надеюсь, что буду счастлива...

Державин покачал головою и пошел к себе. Ожидались, помимо всегдашнего Львова, автор «Душеньки» Богданович, славный по изобретательному таланту в рисовании Оленин, молодые поэты Дмитриев и Карамзин и приехавший в Питер из своего белорусского поместья Денис Иванович Фонвизин.

Хозяин вышел к гостям в гусарских сапожках, коротеньких панталонах, в парике с мешком, во фраке и с крестом Владимира третьей степени. Катерина Яковлевна и Дьякова занимали молодежь — Дмитриева и Карамзина, который недавно вернулся из заграничного путешествия и начал издавать «Московский журнал». Львов долго жаловался Державину, что с той поры, как Зубов безмерно усилился и оттеснил графа Безбородко, ему в Питере делать нечего и он отъезжает в деревню.

Явился Ипполит Федорович Богданович, как всегда, во французском кафтане и тафтяной шляпкою под мышкой. Сказал два слова о дневных новостях и заграничных происшествиях и тотчас отправился играть в вист.

Державин с молодежью ушел в кабинет, где Дмитриев и Карамзин попеременно читали ему его стихи.

*На темноглубом эфире.  
Златая плавала луна,  
В серебряной своей порфире  
Блистаючи с высот, она  
Сквозь окна дом мой освещала,  
И палевым своим лучем  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем...*

Державин не мог их спокойно слушать, волновался, вскакивал, взмахивая в такт руками.

Затем принялись обсуждать литературные события, причем хозяин хвалил не только стихи и баллады Карамзина, но и печатавшиеся в «Московском журнале» его «Письма русского путешественника» — за их новизну, приятную чувствительность и поэтичность.

Он взял с налоя листки, потому что не помнил собственных стихов на память, нашел нужный и декламировал:

*Доколь сидишь при розе,  
О ты, дней красных сын!  
Пой, соловей! — И в прозе  
Ты слышен, Карамзин...*

Карамзин смутился и был рад тому, что хозяина отвлек Кондратий:

— Гаврила Романович! Его превосходительство господин Фонвизин...

— Пойдемте, молодые друзья! — обратился Державин к Дмитриеву и Карамзину. — И воздадим должное автору «Недоросля»...

Фонвизин не вошел в дом — он был почти внесен двумя юными офицерами из шкловского кадетского корпуса, сопровождавшими его в Питер из Белоруссии. Он не мог уже владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела, также пораженная параличом. Но разговор не замешкался. Полулежа в больших креслах, Фонвизин принялся рассказывать о своей жизни в Белоруссии. Говорил он с крайним усилием и каждое слово произносил голосом охриплым, однако большие глаза его сверкали. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела, и он заставлял всех не однажды смеяться. По словам его, во всем Шкловском уезде удалось ему найти одного только литератора, городского

почтмейстера.

— Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. «Которую ж из его од, — спросил я его, — признаете вы лучшею?» — «Ни одной не случилось читать!» — отвечал почтмейстер. — Фонвизин поднял здоровую руку, останавливая смех. — Зато, доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают: «Приехал сочинитель». — «Принять его», — сказал я. Через минуту входит автор с пучком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию в новом вкусе. Нечего делать — прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня умрет естественной смертью...

Фонвизин оглядел слушателей, среди коих уже был и бросивший карты Богданович:

— Ив самом деле, героиня его от акта до акта чахла, чахла и, наконец, издохла!..

Затем принялся он экзаменовать Дмитриева и Карамзина.

— Знаете ли вы «Недоросля»? Читали ли «Послание к Шумилу»? «Лизу Казнодейку»? Мой перевод «Похвального слова Марку Аврелию»?..

Казалось, стремился он с первого раза вывести свойства ума и характера новых писателей, сменяющих его поколение. Приметя среди гостей Богдановича, обратился с вопросом к Дмитриеву, как ему нравится «Душенька».

— Она из лучших произведений нашей поэзии! — с чувством отвечал тот.

— Прелестна! — подтвердил Фонвизин с выразительной улыбкой.

Ничто не дрогнуло в лице Богдановича. Он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих. Но в тайниках сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям насчет произведений пера его.

Затем Фонвизин сказал, что привез показать Державину свою новую комедию «Гофмейстер». Хозяин и Катерина Яковлевна изъявили желание выслушать ее. Когда рассаживались вокруг Фонвизина, Державин вдруг поймал на себе пристальный взгляд Дьяковой. Ему стало неловко: он почувствовал себя виноватым за то, что ненароком выслушал ее признание.

Фонвизин подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию единым духом. Веселая издевка над чванным семейством князей Слабоумовых, ищущих гувернера для своего отпрыска Василия, так не

вязалась с беспомощностью автора, четырежды перенесшего апоплексический удар. В продолжение чтения он глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились.

Державин расстался с Фонвизиним в одиннадцать часов вечера. Наутро, 12 декабря 792-го года, автор «Бригадира» и «Недоросля» был уже в гробе.

#### 4

Из Франции, обрастая пугающими подробностями, до России докатывались невероятные слухи — о казни законного короля, королевы и наследника, о торжестве кровожадных якобинцев. В обществе и даже в народе распространялась молва, что эти якобинцы, соединяясь с франкмасонами, умыслили отравить Екатерину II ядом, не надеясь истребить повелительницу Севера каким-либо открытым оружием. В Питере, Москве и в самых отдаленнейших от столицы местах в беседах, на торгах передавали ее друг дружке и не пошептом — вслух, с присовокуплением выражений, свойственных образованию и степени понятия того круга людей, который рассуждал о злоумышлении якобинцев и масонов.

Не только дворяне, но купцы и священники — за стопою бархатного, черного, как воронье крыло, пива, за стаканом наливки или взварца из хлебного вина с медом, яблоками, грушами, — называли их шайкою крамольников, кровожадными извергами, вольнодумцами. Ничего толком не зная о якобинцах, они толковали о дьявольском наваждении фармасонов и мартынов. Многие из народа были совершенно в том уверены, что фармасоны и мартыны все с хвостиками.

Генерал-губернатор Брюс и обер-полицеймейстер в Питербурхе Рылеев, оба известные осиновым своим рассудком, с ног сбились, отыскивая злодеев-отравителей. В некий день Екатерина II повелела Брюсу после его доклада найти только что прибывшего в Питер француза, разведать, чем он занимается, и назвала его фамилию. Брюс передал повеление Рылееву, но сказанную ему императрицей фамилию забыл. Как быть? Оба стали в пень. Брюс страсть как боялся высочайшего поучения из уст государыни. Наконец, по зрелому размышлению, решили отыскать последнеприбывшего в Питербурх француза, который и есть искомый злоумышленник. Рылеев, на беду рода французского, на чуждом сем языке



лепетал кое-как да и понимал туго. Едва он вышел в приемную генерал-губернатора, как к нему обратился, шаркая по-камергерски ногами, распысканный духами, прекрасно по моде одетый человек:

— Monseigneur! Je viens seulement d'arriver...<sup>[11]</sup>

Живо отвернувшись от него, Рылеев полетел в кабинет Брюса, крича:

— Граф! Он только что прибыл! Я поддел злодея! Он здесь!..

— Никита Иванович! — в свой черед, радостно, как глухому, закричал ему Брюс. — Что ж время-то терять? Допросим скорее бездельника-злодея! Чай, лучше будет для нас, коли всю тайну выведем мы! А какая нам в том выгода передавать его Шешковскому?..

Тут же велели приготовить розги, призвали людей, разоблачили француза и зачали его пороть, приговаривая:

— Qui sont ceux qui l'ont envoyé à Pétersbourg pour empoisonner Sa Majesté l'impératrice?<sup>[12]</sup>

Несчастный француз визжал под розгами, вертелся в крепких руках полицейских и наконец изнемог. Брюс и Рылеев остановились продолжать пытку, не зная, как быть дальше. Думали долго и придумали призвать на совещание правителя канцелярии.

— Ваше сиятельство, — обратился тот к Брюсу, — вы изволили видеть его паспорт? Изволили спрашивать, кто он таков?

Граф удивился:

— Нет, я ничего не видел и не спрашивал. Рылеев все знает, поговори-ка лучше, братец, с ним...

Правитель канцелярии спросил тогда у обер-полицеймейстера:

— Никита Иванович! Да вы как о том знаете, что этот прибывший намерен произвести адское злодеяние — отравить государыню?

Рылеев сделал хитрое лицо.

— Да он, братец, сам мне это сказал!

— Как так?

— По-французскому, братец! Что ты думаешь, я не знаю, что ли? Он сказал: «je viens d'arriver...», а ведь государыня и повелела отыскать новоприехавшего. Так кого же еще отыскивать? Он из приезжих из-за границы, чай, самый последний. Никто после его еще не приезжал!

Правитель канцелярии ужаснулся.

— Ах, ваше сиятельство! — доложил он Брюсу. — Дело воистину может кончиться для вас весьма неблагоприятным образом!

Генерал-губернатор почувствовал искреннее раскаяние, ибо при свинцовых мозгах у него было доброе сердце.

— Сделай дружбу, любезный! Пособи мне! — зачал он просьбою прашивать правителя канцелярии.

— Трудно, ваше сиятельство! Вы изволили француза чересчур обеспокоить! — отвечивал тот.

— И все-таки постарайся уж как-нибудь! — настаивал граф.

Правитель канцелярии уступил и пошел узнавать, кто сей несчастный.

Оскорбленный француз, рыдая от боли, поруганий и унижений, не мог вымолвить слова в ответ, только сунул ему в руки паспорт и несколько рекомендательных писем Брюсу. Оказалось, что генерал-губернатор просил кого-то из наезжавших в Париж бояр-гастрономов приискать для него искуснейшего повара. И вот «chef de cuisine de ministre»<sup>[13]</sup>, бежавший от революции, решился за шесть тысяч в год «d'aller voir se pays de barbares»<sup>[14]</sup>. Двойной оклад договорной цены преклонил шеф-повара позабыть оскорбление, нанесенное его французской чести, утешив на теле его язвы, и остаться у графа Брюса кормить его сиятельство вкусными, французской стряпни яствами.

Государыня изволила много и долго поучать Брюса в кабинете. Брюс падал на колена, просил помиловать. Но после обеденного стола Екатерина II, рассказав происшествие сие avec chef de cuisine<sup>[15]</sup> фавориту своему Зубову, смеялась ото всей души. Безусловную преданность, даже у тупых исполнителей ее воли, она ценила всегда. А в грозную пору, когда под звуки «Марсельезы» начали шататься троны в Европе и орды оборванных, но гордых молодых людей с трехцветными розетками в петлицах перешли Рейн, опровергая знаменитых генералов-тактиков, — оценила вдвойне.

От давних свободолюбивых мечтаний пришлось отказаться, и окончательно. Были запрещены переписка с Францией, французские журналы и книги, проезд французов (если у них не имелось паспортов от бурбонских принцев). Все, что хотя бы отдаленно напоминало якобинские идеи, в России искоренялось. Одной из первых жертв стал Радищев.

Весной 790-го года он напечатал в собственной маленькой типографии «Путешествие из Петербурга в Москву», обличающее самодержавие и крепостничество и пронизанное любовью к родине и народу. Прочитав книгу, царица «с жаром и чувствительностью» сказала Храповицкому, что автор ее «бунтовщик хуже Пугачева». В июле 790-го года Радищев был заключен в Петропавловскую крепость, а затем приговорен к смертной казни.

В числе немногих лиц, которым он успел послать свою книгу, был и Державин. Позднее распространилась молва, будто именно Державин

представил императрице с подробным доносом на автора «Путешествие из Петербурга в Москву», изданное без имени сочинителя. Однако клевета эта опровергается свидетельством Храповицкого: из его дневника мы узнаем, что Екатерина II, уже прочитав книгу, не знала доподлинно, кто ее написал. Только 2 июля Храповицкий называет Радищева, сидящего в крепости, как автора «Путешествия».

Нет сомнения в том, что Державин, придерживавшийся консервативных взглядов, строго порицал содержание радищевской книги. Но честный и открытый, он никак не мог выступить в роли доносчика, которых так презирал сам. Столь же бездоказательно была приписана Державину язвительная эпиграмма на Радищева, когда Екатерина II заменила смертный приговор «русскому Мирабо» десятью годами ссылки в сибирский острог Илимск.

Ссылка эта означала пожизненное изгнание; закованный в кандалы Радищев был отправлен в Сибирь.

В 792-м году настал черед московского книгоиздателя, просветителя и масона Новикова. Он учредил типографскую компанию, соединил около себя любознательную молодежь. Но в последние годы, вступив в ложу иллюминаторов, стал увлекаться мистикой, трудами Генриха Матадануса-теософа и других оккультистов, учивших общению с загробным миром и убеждавших о близости нового воплощения Христа, после того, как в XIII веке он уже якобы появился под именем Розенкранца.

Ложу розенкрейцеров открыл в России «масон строгого наблюдения» Шварц, в московском доме которого, близ Меньшиковой башни, была устроена тайная типография. Проходимец Шредер объявил себя «посвященным» и установил связь с мистиками-авантюристами Сен-Жерменом и Калиостро. Через архитектора Баженова делались попытки вовлечь в орден великого князя Павла Петровича. Мода на масонство давно уже захватила Москву. Теперь в «Дружеское ученое общество», основанное в 781-м году Шварцем, вступили бояре Трубецкие, Куракин, Татищев, Тургенев, Лопухин, Черкасский, А. М. Кутузов. За тайные собрания членов общества прозвали в насмешку «мартынами», или «мартышками».

Державин вспомнил, как в 788-м году, будучи в Москве и ожидая решения сената о предании его суду, посетил он князя Трубецкого, и тот водил его в ложу.

Удачное время выбрал искунитель! Видя одну несправедливость и гонения, горько сетовал Державин на свою судьбу. Но внутренне оставался тверд и в вере отцов поколеблен не был. Трубецкой начал издалека.

— Все люди равны! Всяк рождается для счастья!

— Хорошо и славно было бы всех уравнивать! — отрывисто возразил Державин. — Да как, скажи, сие исполнить, ежели бог создал всех неравными. Возьми хоть тварей лесных. Одна пожирает другую, слабейшу...

— То твари, — снисходя, улыбнулся Трубецкой, — а в человека сошел дух и чувство...

— Вот-вот! — подхватил Державин с такой же улыбкой. — Но оттого один человек еще менее равен другому. Возьми хоть красоту. За что любят красивого? А ни за что — за красивые глаза. Вона Ланской наделен красотою, и толь щедро! Как его, не хуже, со мною уравнивать?

— Ты, Гаврила Романович, уже подстарок...

— А был молод? Да как раз в его-то годы стоял я на часах в Петергофе, когда государыня наша отправилась в Питер для свершения известного отважного дела. И августейший взор небось не на мне остановился, а на Ланском! — Он улыбнулся снова. — Нет, князь, недаром греки говорили: «Счастлив, кто красив, потом — кто силен, а уж потом — кто умен...»

Воистину так! Люди созданы во всем не равно. Один удачлив, ему всю-то жизнь хабарит, другой — невезуха. Один пьет, обжорствует, гуляет и живет до восьми десятков; другой бережется во всем и помирает, не добрав до тридцати. Где ж тут равенство? Один умен, другой глуп. Один одарен природою и богом талантами безмерно, другой — бездарь. Кто уравниет Ломоносова и пиита Петрова! Один рождением богат, другой беден. Сколько претерпел сам Державин из-за бедности своей! Не то ли богатство, что и красота, здоровье, талант? И кто осмелится судить, как надобно выравнять сию несправедливость? Или кликнуть нового Пугачева? Счастье, кто родится богатым, красивым, знатным, умным, здоровым, — и каждое из сих качеств дается природою...

— Но есть еще счастье в умножении душевного богатства, в совершенствовании себя, в братстве и человеколюбии, — помолчав, сказал Трубецкой. — И это счастье наивысшее. Ему-то и посвящают себя масоны...

Державин пошел в ложу для интереса. Не как обращаемый, а как сторонний соглядатай. Палата обита черным сукном, и по оному раскинуты на стенах белые две ты, словно звезды. Посредине поставлен стол под черною же скатертью, а на нем — череп, и обнаженная шпага да заряженный пистолет. Трубецкой, как масон, достигший четвертого градуса, носил особую ленту: красную, с зелеными каемками, к которой привешен был знак, изображающий треугольник и циркуль. Такую же ленту надел давний знакомец Державина Херасков. Черной, с белыми

каемками лентой выделялся Шредер.

Начался обряд посвящения. Под руки ввели некоего московского дворянина, затем с завязанными глазами его троекратно водили круг стола, поднимали на «гору» — место, покрытое специальным ковром. Потом представили гранметру — Шредеру, который приложил к телу испытуемого Соломонову печать. После того новообращенный проколол себе грудь циркулем и сам стер платком кровь, трижды поцеловал у гранметра левую ногу, и наконец был уверяем, что храм Соломонов есть святое таинство и защитник оною силою есть гранметр.

Темно и нелепо! В оде «На счастье» Державин отозвался затем о мартынистах насмешливыми строчками: «из камней золото варишь», и «мартышки в воздухе явились». А в «Фелице» особо отметил нелюбовь Екатерины II к мистике и масонам: «К духам в собрание не въезжаешь».

И прежде Екатерина II преследовала масонов, но словом: высмеивала их таинства в своих комедиях «Обманщик», «Шаман сибирский» и «Обольщенный». Героями этих комедий были все обманутые наивные добряки вроде дворянина Радотова («Обольщенный»): «Голову свернули ему кабалистические старые бредни; для разобранья каких-то цифров достал он еврейского учителя, которого почитает он за весьма великого знатока».

— Я поздравляю себя, — твердила Екатерина II своим ближним, — что никогда не вдавалась ни в магнетизм, ни в шарлатанство вроде Сен-Жермена и Калиостро! А наши мартинисты до того доходили, что призывали чертей.

Теперь рядом со «словом» встало «дело».

Московский генерал-губернатор Прозоровский был под стать петербургскому — Брюсу. Старый служака, честный генерал, он не был горазд в тонкостях изящной словесности и к месту и не к месту прибавлял словцо «сиречь», которое и стало его прозвищем. Когда Новикова арестовали, его рукописи и печатные издания попали к Прозоровскому, который поручил их рассмотрение начальнику гусар подполковнику Семену Живахову. Тот рубить умел, а читать — худо.

На другой день, когда Живахов явился к Прозоровскому с рапортом, тот спросил его:

— А, сиречь, князь Семен, начал ли ты разбирать новиковскую чертовщину?

— К чому ж, ваше сиятельство? — удивился Живахов. — Я кажу, все кончыв.

— Как, сиречь, князь?

— Та навалыв все на возы, одвиз на Воробьевы горы, да и спалыв.

Прозоровский захохотал:

— Сиречь, туда и дорога! Спасибо, князь Семен, что догадался, сиречь. Я и забыл тебе приказать сжечь чертовщину...

Был уничтожен даже карамзинский перевод «Юлия Цезаря» Шекспира; та же участь едва не постигла и подстрочные ссылки на стихи священного писания, в которых «генерал Сиречь» подозревал лишь «масонскую кабалистику». Усердие его граничило с таковой глупостью, что вызвало раздражение у самой императрицы, встретившей его насмешливыми словами:

— Приехал Сиречь к наградам за истребление мартинистов...

Впрочем, она не скрывала торжества; московский кружок просветителей во главе с Новиковым вызвал ее ярость. Ей чудились в их нравственных исканиях якобинские идеи, а попытки масонов связаться через архитектора Баженова с наследником породили тревогу о возможном заговоре с целью дворцового переворота.

По делу Новикова были допрошены московские и провинциальные дворяне, в том числе князь Николай Трубецкой и его единоутробный брат Херасков. Теперь уже Державину надобно было вступить за своего покровителя. Херасков был спасен заступничеством Платона Зубова; Новиков приговорен к «нещадной» казни, замененной ему пятнадцатью годами Шлиссельбургской крепости.

## 5

В последние дни Катерина Яковлевна заметно стала капризничать, и, еще не понимая, что причина тому — подтачивающий ее недуг, Державин не удержался от сержения на нее. Он и сам вдруг сделался раздражительным не в меру. Возмущали его дворские хитрости, наветы и козни. И чьи? Статс-секретарей Эмина и Грибовского, толь им облагодетельствованных! Ах, верно говорят в народе: «Рысь сверху пестра, а человек изнутри лукав бывает...»

Внешне все шло для него с превеликим благополучием: 2 сентября 793-го года, при праздновании Ясского мира, Державин был назначен сенатором с пожалованием ему ордена святого Владимира 2-й степени. Летом он переезжал в Царскосельский дворец, под одну кровлю с Храповицким и набиравшим силу бывшим правителем канцелярии Безбородки Д. П. Троицким. Но доклады его Екатерине II и тут делались

все реже и реже.

В дурном расположении духа, покидая свой дом на Фонтанке, Державин повздорил с женою и почти неделю просидел один в отведенных ему покоях Царскосельского дворца, напрасно ожидая приезда своей Пленеры. Стоял сентябрь, но еще сочны и зелены были за окном липы Нового регулярного сада. Над стриженной зеленью подымались высокие купола парковых павильонов, далекие башни и обелиски, за которыми полыхал край иссиня-красного неба. Всю ночь ярилась поздняя, верно последняя в этом году, гроза.

Перо быстро бежало по бумаге:

«Мне очень скучно, очень скучно, друг мой Катинька, вчера было; а особливо, как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мною умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило, и ты бы осталась без меня. — Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь? — Само-нравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться пред мужем. Изрядно. Где же та добродетель, которую ты твердишь, которою ты отличаешься от прочих женщин и которою ты даже хвалишься?.. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что уже целую педелю я тебя не видал и что в среду Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга...»

Державин поднялся из-за стола и распахнул окно. Вместе с сентябрьской свежестью в комнату ворвались далекие голоса птиц, провожающих грозу. Он накинул красный сенаторский мундир и черным ходом вышел побродить по аллеям парка.

По всему чувствовалось, что царствование Екатерины II клонилось к концу. Державин ощутил это сразу после смерти Потемкина. Действия сего вельможи не имели пределов, власть и воля его даже превышали волю и власть императрицы. Но со смертью Потемкина вельможи делали что хотели и не страшились ответственности и возмездия, уверенные, что некому исполнить веления государыни. Потемкина уже не существовало...

Пройдя Грот, Державин остановился, наслаждаясь видом Большого пруда. Изрезанные берега с полуостровами и бухточкой, большой лесистый остров посредине делали его похожим на тихое лесное озеро. И хоть было тепло, почти парко, хоть еще летали над водой с тихим треском последние коромысла-стрекозы, дыхание осени здесь ощущалось сильнее. Ветер-листобой нанес в озеро палой листвы, которой не было на чистеньких аллеях парка. В склонившихся над водою серебристых ивах, кленах и вязах лисьим мехом играли изжелта-красные цвета.

— Гаврила Романович! А я к тебе заходил. Что уединился! Чай, предаешься на природе поэтическим мечтаниям! — вывел его из задумчивости знакомый голос.

К нему увальчиво шел толстяк Храповицкий.

— Страх люблю сии места! — продолжал он, отдуваясь. — Тут можно отдохнуть от дворской суеты. Не нужно думать о чинных и важных поклонах, приветях рукой и реверансах...

— По-моему, Александр Васильевич, — улыбнулся Державин, — как раз на паркетe ты и чувствуешь себя, словно утка в воде.

— Не хикай надо мной. И меня дворская жизнь изнурила...

Державин только тут заметил, что Храповицкий успел накуликоваться, и изрядно.

— Нет, брат! — серьезно сказал Державин. — Надоело мне другое, — что все потуги мои вершить дела справедливо, чать, никому не надобны.

— Ии! Да твое ли это дело искоренять взятки и разоблачать лиходеев! Твой удел иной. И вот тебе мое послание. Сочинил его ночью, во время грозы...

Державин принял сложенный вчетверо листок. Придя к себе, прочел вирши. Так и есть!

*Тебе ль с экстрактами таскаться,  
Указы выписки крепить?  
Рожден восторгом воспаляться  
И мысли к небу возносить.  
О Енисее, Лене, Оби  
И тучных тамошних полях  
Пусть пишет отставной Якоби,  
Не нам ходить в тех соболях.  
Оставь при ябеде вдовицу,  
Судей со взятками оставь;  
Воспой еще, воспой Фелицу,  
Хвалы к хвалам ее прибавь.*

Нет, не может Державин создавать новые хвалы киргизской владычице! Конечно, язык мягче подпупной жилы. Но только не у поэта, а у царедворца. Не колеблясь, Державин написал Храповицкому резкий отказ:



*То как Якобия оставить,  
Которого весь мир теснит?  
Как Логинова дать оправить,  
Который золотом гремит?  
Богов певец  
Не будет никогда подлец.  
Ты сам со временем осудишь  
Меня за мглистый фимиам;  
За правду ж чтить меня ты будешь:  
Она любезна всем векам...*

Он, бедный дворянин, безо всякого покровительства служивший с самого солдатства, оказался ныне на стуле сенатора Российской империи и обязан, невзирая ни на какие лица и обстоятельства, строго стоять за соблюдение правды и законов и вести постоянную борьбу с самими сенаторами, даже генерал-прокурорами, когда они действуют вопреки своему долгу! Сколько уж раз Державин выступал противу самых сильных! Бесконечная вереница дел... Защищал три тысячи малороссиян, которых силою отдали некогда князю Потемкину и которые затем перешли к капитану Шамякину, доказывающему права владеть ими как крепостными. Боролся, как мог, с могущественным графом Завадовским и обер-прокурором сената Самойловым. Да где уж там! Бесстыдные попрошай, погудала искусные обходили и обносили его перед императрицею...

Ах! И не с кем поговорить, посетовать, поделиться! Как не с кем? А Катюха? Неужто пустяковина, глупый раздор может отъемом отнять самого близкого человека, с которым сжился, да так, что когда он рядом — не замечаешь, а когда его нет — не находишь себе места.

Мигом собрался Державин и кинулся в Питер.

Катерина Яковлевна лежала в постели. Синие тени легли под ее прекрасными черными глазами; морщинка, которой прежде не было, прорезала бледный лоб. Он стал у постели на колена, но Катерина Яковлевна своей слабой рукою закрыла ему рот.

— Ганюшка, милый... Прости, я была излишне сурова с тобой... Я знаю, — слабо улыбнулась она, — ты мучаешься, чем бы порадовать государыню. Так вот к дню твоих именин я собрала и переписала твои старые стихи в одну тетрадь, чтобы ты поднес их...

Он благодарно принял к ней.

С этого дня Державин удвоил, даже утроил свою нежность к жене. Но

она таяла на глазах. Более всего заботила ее судьба державинских стихов. Катерина Яковлевна не без оснований считала мужа своего большим ребенком, который после ее кончины — в близости смерти она была уверена, — порастеряет свои стихи. В долгом разговоре порешили они подготовить рукопись для напечатания.

— Кстати, в Питер только что приехал наш дорогой Копинька... — сообщила Катерина Яковлевна.

— Капнист? Прекрасно! — воодушевился Державин. — Вот мы и попросим Василия Васильевича и нашего молодого друга Дмитриева, чтобы они к нам припожаловали. Перечитаем стихи, замечая ошибки...

— Конечно, Ганюшка... Они могут собраться у нас и несколько часов на сие употребить...

Державин уехал ненадолго в Царское Село, а Дмитриев и Капнист, действительно, сходились несколько раз для просмотра сочинений своего друга.

По возвращении Державин пригласил к себе Капниста и Дмитриева с их поправками. Они встретились в кабинете. Катерина Яковлевна уже не вставала с постели...

Слушая замечания друзей, поэт согласно кивал головою, принял предложения Дмитриева заменить в стихотворении «Осень во время осады Очакова» ряд выражений: вместо «сверканьем» поставил «мельканьем», вместо «превожденного» — «давно желанного»... Но Дмитриев, уже стряхнувший прежнюю робость, хотел переписать целые картины. Например, строки, в которых говорится о жене, ожидающей возвращения мужа с войны:

*Она, задумчива, печальна,  
В простой одежде и власы  
Рассыпав по челу построило,  
Сидит за столиком в софе,  
И светло-голубые взоры  
Ее всечасно слезы льют...*

— Сие слишком просто: жена планет! — горячился рябоватый Дмитриев. — А ведь можно изобразить возвышенно. Хоть так:

*Рассыпав по челу власы,  
Сидит от всех уединенна*

*За столиком, облокотись;  
На лик твой, кистью оживленный,  
С печальной нежностью глядит...*

Державин молчал, ничего не возразил Дмитриеву. А затем терпеливо выслушал старого своего друга Капниста, разобравшего, помимо прочих стихов, его «Ласточку». Этой пиесой поэт особенно гордился, долго искал ей размер, пока не остановился на подражании свободному стиху:

*О домовитая ласточка!  
О милосизая птичка!  
Грудь краснобела, касаточка,  
Летняя гостья, певичка!  
Ты часто по кровлям щебечешь;  
Над гнездышком сидя, поешь;  
Крылышками движешь, трепещешь,  
Колокольчиком в горлышке бьешь.*

— Ты, Гаврила Романович, не утратил ли природной своей музыкальности слуха? Дивись, какой разнобой в стихах твоих! — доказывал Капнист. — Сии-то стихи я переписал чистым ямбом. Как ровно и гладко!

*О домовита сиза птичка,  
Любезна ласточка моя!  
Весення гостя и певичка!  
Опять тебя здесь вижу я...*

Державин подумал, как далеко ушел он в поэзии, если даже друзья не понимают его. У Дмитриева получилось отвлеченно и безжизненно; у Капниста — гладко и скучно... Державин старался отвечать спокойно, но не удержался и осерчал:

— Что же, вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?

Он махнул рукою и ушел к Катерине Яковлевне.

Только ей поверял Державин свои печали. Новое назначение

президентом коммерц-коллегии, последовавшее 1 января 794-го года, не приближало, а удаляло его от службы. Императрица давно уже решила уничтожить коллегии, передав их дела в губернские правления. Державин мучился двусмысленным своим положением, и порешил он обратиться с письмом к фавориту.

Письмо вышло горячим: «Меня бесят шиканами: зная мое вспыльчивое сложение, хотят меня вывести совсем из пристойности... Репутация моя известна и я надежно всякому в глаза скажу, что я не запустил нигде рук ни в частный карман, ни в казенный. Нс зальют мне глотки вином, по закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине, и никто меня не в состоянии удалить от польз государя и своротить с пути законов... Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни па что не смотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом службе и личной приверженности обожаемой мной государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мной поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не токмо не доказав меня в вине моей, но и не объясняя ее, благоволила спять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии должность? Я, кажется, со всех сторон слышу: погоним, бог его оставил; исследую тысячу раз себя и не нахожу, что б я сделал...»

Катерина Яковлевна одобрила письмо:

— Поезжай, Ганюшка. Еще не поздно восстановить справедливость.

Державин, в волнении расхаживая возле ее кровати, говорил:

— Как же я могу ехать в Царское Село и оставить тебя на два дни!

— Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение... — тихо отвечала Катерина Яковлевна. — Поезжай, мой друг... Бог милостив. Может, я проживу столько, что дождусь с тобой проститься...

Она тихо скончалась 15 июля 794-го года. Тело ее было погребено на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от могилы Ломоносова. Потрясенный ее кончиной, Державин написал эпитафию, которую высекли на надгробии:

*Где добродетель? где краса?  
Кто мне следы ее приметит?  
Увы! здесь дверь на небеса...*

«Ах, потускнел я, словно соболь отцвелый!.. Умом понимаю, что нет тебя на свете, а сердцем поверить не могу! И нет сил видеть тех милых мелочей, кои созданы повсюду твоею рукою — вышиваний, вязаний, силуэтов, возвращенных тобой цветов, твоих вещиц, безделушек или того закатившегося под кровать колечка, которое ты толь долго искала и над которым я теперь лию слезы...

Что мне делать? куда деться? Хочу я сыскать отраду вне дома моего, — иду на театр мира, вмещаюся в блещущий строй двора, спешу на пиршество откупщиков, лечу на гулянья друзей... Но вспомню, что тебя ни со мною нет, ни дома ты меня не ожидаешь, и скука простирается по сердцу моему. Вся природа помрачается в очах моих, прелесть двора кажется мне ребячеством, пиры — обжорством, гулянья — явлением теней. Ни великолепный блеск богатств, ни сладость вкусных яств, ни согласие приятной музыки, ни самые приманчивые взгляды красоты меня не занимают.

Ах, Пленира! после тебя сыщется ли достойная обладать сердцем моим, прелестная очаровать мой взор, властительная оковать мою ветреность? Хладному моему сердцу все прелести мира так теперь прикасаются, как льдине...»

Он без обычной своей горячности внимал тому, как с ним все меньше считаются при дворе. Раскрыл плутовство иностранных купцов и таможенных чиновников, кои за взятки в десять раз снижали государственные пошлины, думал принести пользу империи и подал рапорт как сенату, так и императрице. И что же? Хладнокровно о том замолчали. А вскоре призван был именем государыни в дом генерал-прокурора Самойлова, который объявил ему, что ее величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности президента коммерц-коллегии, а лишь считался бы оным, ни во что не вмешиваясь. Державин требовал о том письменного указа, но ему и в том было отказано.

Решился тогда он подать в отставку. Приехав в Царское Село, адресовался с тем письмом к Зубову, просил Безбородко, Попова, Храповицкого, Троцинского. Но никто оно не принял, говоря, что не смеют. Тогда убедил он просьбою камердинера Ивана Михайловича

Тюльпина, который был самый честнейший человек и ему благоприятен. Тот отнес письмо императрице.

Через час времени Державин пошел в комнату Зубова навеститься, какой успех письмо его имело, и нашел фаворита бледным и смущенным. Сколько его ни вопрошал, тот ничего не говорил ему. Наконец за тайну Тюльпин открыл Державину, что императрица по прочтении его письма чрезвычайно разгневалась и ей сделалось очень дурно. Поскакали в Питербурх за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные лекари.

Державин, услыша сие, не дожидаясь резолюции, потихоньку уехал в Питербурх и равнодушно ожидал решения своей судьбы.

...Он сидел в своем кабинете, ровно окаменелый. Кондратий участливо глядел на него, не зная, как к нему подступиться. Сколько можно себя мучить — чирьи вырезывает, а болячки вставляет.

— Был семьянин, а стал чуж чуженин... — сказал наконец сам себе Державин.

— Что ж, батюшка, Гаврила Романович, надо как-то жить... — решился поддержать разговор Кондратий. — А одному хорошо только пауку...

Державин благодарно посмотрел на слугу.

— Что делать! Остается, верно, плакать и кончать век в унынии... — тихо проговорил он, утирая слезу.

— И, батюшка! Сладко слюбляться — горько расставаться. Да время все лечит.

— Ладно, Кондратий! — сказал после долгого молчания Державин. — Иди уж, а я тут на креслах вздремну. Авось, моя Пленира явится мне хоть в сонной грезе...

Сон приходил к нему всегда быстро и внезапно, и он погружался в спасительную тьму. Но на сей раз в тумане полуяви привиделось ему, что слушает он давнишний разговор Катерины Яковлевны с Дьяковой: «Найди мне такого жениха, как твой Гаврила Романович. Тогда я пойду за него и надеюсь, что буду счастлива...»

Он очнулся. В кабинете было темно. Глядя на смутно проступающий узор на шпалерах, вышитых Катериной Яковлевной, Державин подумал: «Такова, видать, ее воля». Уже многие богатые и знатные невесты — вдовы и девицы, — оказывали желание с ним сблизиться. Но, кажись, только Дарья Алексеевна могла понять и утешить его.

Через месяц девица Дьякова с сестрой своей Катериной Алексеевной графинею Штейнбоковой приехала из Ревеля в Питербурх. Державин по

обыкновенно, как знакомым дамам, нанес им визит. Они его весьма ласково приняли; в свой черед, он звал их, когда им вздумается, у него отобедать. И на другой же день послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут изготовить. Дарья Алексеевна шутливо ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле. И так, они у него обедали, но о сватовстве никакой речи не было.

На третий день поутру, зайдя их навестить и нашед случай поговорить с Дарьей Алексеевной, Державин открылся ей в своем намерении. И как жениху стукнуло более пятидесяти, а невесте подходило под тридцать, то и соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристойной жизни, нежели на нежном страстном сопряжении. Она ответила, что принимает за честь себе его намерение, но просит разрешения подумать. Державин объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы она усмотрела, можно ли содержать дом сообразно с его чином и летами. Книги у ней пробыли недели с две, и она ничего не говорила. Наконец известила его, что согласна вступить с ним в супружество.

В начале 795-го года Державин известил друзей: «Оплакав потеряние моей любезной Екатерины Яковлевны и не нашед никакими средствами утешение моему сердцу, приступил я ко второму браку, который действительно минувшего января 31 дня и совершился с давно знакомой мне и приятельницею покойной, девицей Дарьею Алексеевной Дьяковой...»

После кончины Екатерины Яковлевны Державин приметно изменился в характере и стал еще более задумчив. Часто за приятельскими обедами, которые он очень любил, иногда при самых интересных разговорах или спорах он вдруг замолчит и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной — драгоценные ему буквы «К» и «Д». Вторая его супруга, заметив это несвоевременное рисование, всегда выводила его из мечтаний строгим вопросом: «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» — «Так, ничего, матушка!» — обыкновенно с торопливостью отвечал он, потирая себе глаза и лоб как будто спросонья.

Несколько успокоившись, Державин порешил исполнить волю Екатерины Яковлевны и передал собранные ею стихи государыне.

Екатерина II читала державинскую рукопись двое суток. Но когда в воскресенье поэт по обыкновению приехал ко двору, заметил императрицы к себе холодность, а окружающие избегали его, как бы боясь с ним и встретиться, не токмо говорить. Что за чудеса?

Прошло две недели. Наконец в третье воскресенье решился Державин спросить Безбородко:

— Слышал я, что ее величество отдала мои сочинения вашему сиятельству. Будут ли они напечатаны?

Но вельможа сделал ему рожу и упрыгнул от него, как блоха, бормоча что-то, чего не можно было уразуметь.

На лестнице Зимнего дворца Яков Иванович Булгаков, посланник при Оттоманской Порте, остановил поэта:

— Что ты, братец, за якобинские стихи пишешь?

— Какие?

— Ты переложил 81-й псалом, который не может быть двору приятен.

— Царь Давид не был якобинцем! — шепетливо возразил Державин.  
— А следовательно, и песни его не могут быть никому противными...

— Э, братец! — отвечал дипломат с улыбкой. — По нынешним обстоятельствам такие стихи писать дурно!

Вечеру к Державину заглянул Дмитриев и с таинственным видом сказал, что имеет до него некое дело. Поэт сидел в покоях у своих племянниц — двух дочерей Львова, которые жили на его попечении; они отвечали урок французженке Леблер.

— Да что такое? — встревожился Державин.

— Ваше переложение 81-го псалма...

Уразумев, о чем идет речь, Леблер быстро заговорила по-французски, тряся шиньоном:

— Во время революции сей псалом был якобинцами переиначен и пет на улицах Парижа для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI...

Дмитриев примигнул Державину и вышел за ним.

— Гаврила Романович! — запинаясь, сказал он. — Вещь сурьезная, коли велено вас секретно через Шешковского спросить, для чего и с каким намерением пишете вы такие стихи...

— Стихи, карающие неправого! — дал наконец выход сержению Державин. — Стихи, защищающие справедливость на нашей грешной земле!

Оду «Властителям и судиям» он переделывал несколько раз, добиваясь большей выразительности, гордился ею:



*Восстал всевышний бог, да судит  
Земных богов во сонме их;  
Доколе, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?*

*Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.*

*Ваш долг спасать от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков.*

*Не внемлют! — видят и не знают!  
Покрыты мздою очеса:  
Злодейства землю потрясают,  
Неправда зыблет небеса...*

Лицо у Дмитриева, в щербинах, было бледно. Он только теперь ощутил, сколь грозно звучат знакомые ему строки. Но Державин, все более распаляясь, не хотел замечать его страхов:

*Цари! — Я мнил, вы боги властны,  
Никто над вами не судья;  
Но вы, как я, подобно страстны,  
И так же смертны, как и я.*

*И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет!*

*Воскресни, боже! Боже правых!  
И их молению внемли:  
Приди, суди, карай лукавых,  
И будь един царем земли!*

— Воистину стихи сии можно толковать и так и этак, — понуро пробормотал Дмитриев.

Державин, не отвечая ему, сел за бюро и задумался. Опять подыск вельмож! опять наветы! Псалом сей он переложил в 780-м году, тогда стихотворение это запретили и напечатали только через шесть лет.

Сколько же у поэта недоброжелателей среди первейших лиц империи! Завадовский, Тутолмин, Гудович, Грибовский, — да рази всех перечтешь! Неприятно, чать, видеть им в оде «Вельможа» и прочих стихотворениях развратные их лицеизображения. Вот и мстят, шиши-шпионы, наушничают! Душа у них, верно, сажа сажаю...

— Все это вздор, яролаш! — наконец спокойно отозвался он. — Чего дрожать, оправдываться! Только наступлением, а не ретирадой мы сии козни опровергнем!

Он заострил конец пера и вывел на листе бумаги:

#### АНЕКДОТ

«Спросили некоего стихотворца, как он смеет и с каким намерением пишет он в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он отвечствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему и медик, принеший кубок, наполненный крепкого зелия. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил пронизательный взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье, ему принесенное, и получил здравие...»

...«Так и мои стихи, примолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они однако так же здравы и спасительны...»

Статс-секретарь императрицы Грибовский поднял глаза от бумаги на Екатерину II, желая угадать впечатление, произведенное чтением на старую царицу. Она с живым вниманием слушала «Анекдот», который Державин, запечатав в трех пакетах, послал ближним к ней особам — Зубову, Безбородко и Троцинскому. Грибовский одним из первых указал государыне на опасные своим вольнодумством мысли, высказанные в переложении 81-го псалма. И вот теперь ему приходилось читать Екатерине II оправдательную записку Державина. Без выражения, бесцветным голосом он продолжал:

«Сверх того, ничто не делает столько государей и вельмож любезными народу и не прославляет их в потомстве, как то, когда они позволяют

говорить себе правду и принимать оную великодушно. Сплетение приятных только речений, без аттической соли и нравоучения, бывает вяло, подозрительно и непрочно. Похвала укрепляет, а лесть искореняет добродетель. Истина одна творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно...»

— Все это так! — Екатерина II насмешливо оглядела Грибовского. — Что за вздор мне наговорили?..

В следующее воскресенье поэт нашел благоприятную против прежнего перемену. Государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку, приятельски с ним разговаривала, а затем бывшие при дворе вельможи ласкательски ласкали его. Грибовский первым поздравил Державина со стихами, кои императрице толь пришились по сердцу. Слова свои он сопровождал улыбанием и толь сладким, словно мухино сало разошлось по персту.

Воротясь домой и успокоив Дарью Алексеевну благополучным исходом происшествия, Державин долго сидел в кабинете один, размышляя об императрице.

Конечно, при всех гонениях многих и сильных неприятелей Екатерина II не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его. Однако не позволяла и торжествовать явно над ними огласкою его справедливости и верной службе. Коротко сказать, она не всегда держалась священной справедливости, но угождала окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их. Потому добродетель не могла сквозь сей частокол пробиться и вознестись до надлежащего величия. Поелику же дух поэта склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу ее стихи, всегда стремился с помощью аллегии или другим каким образом к *и\_с\_т\_и\_н\_е*, а потому и не мог быть императрице вовсе приятным. Да-да! Он старался всегда говорить ей истину. Мысль эта не уходила из памяти, возвращалась, требовала выплеснуться на бумагу. Он снова задумался. Что может противостоять беспощадной реке времен? Слава и могущество царей? Но и царь силен — да не бог! И царь нуждается в наставнике, во враче, который для излечения его от недугов дает ему испить горький, но целительный напиток истины. Римский пиит Гораций в своей оде «К Мельпомене», которую недавно перевел Капнист, утверждает, что создал себе долговечный памятник уже силою своего искусства:

*Я памятник себе воздвигнул долговечной;  
Превыше пирамид и крепче меди он.*

*Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,  
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно  
Не сокрушит его...*

Но есть еще одна, могучая сила, которая делает поэта бессмертным в памяти истории, — служение истине. Скипетр и лира вовсе не должны быть враждебны друг другу. Ибо долг поэта не подтачивать и разрушать, а укреплять государство, прославляя его могущество. Важно лишь, чтоб правитель понимал: поэт ему помогает в защите государственных интересов от хищных вельмож, от проходимцев в случае, от осыпанных звездами ослов.

*Блажен народ! — где царь главой,  
Вельможи — здоровы члены тела,  
Прилежно долг все правят свой,  
Чужого не касаясь дела...*

Несмотря на месть и клевету придворных и бояр, невзирая на гонения и немилость, поэт обязан защищать государство, Россию — даже и от самого царя, коли он заблуждается, — преследовать пользу общую

*И истину царям с улыбкой говорить...*

Когда позднее осеннее петербургское солнце заглянуло в окна кабинета, поэт спал, положив голову на крышку бюро. Перо выпало из рук, на листе бумаги четким почерком были начертаны стихи, в которых Державин выразил свои мысли о назначении поэта, о роли его лиры:

*Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный;  
Металлов тверже он и выше пирамид:  
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный  
И времени полет его не сокрушит.*

*Так! — весь я не умру; но часть меня большая,  
От тлена убежав, по смерти станет жить,  
И слава возрастет моя, не увядая,*

*Доколь Славянов род вселенна будет чтить.*

*Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,  
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;  
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,  
Как из неизвестности я тем известен стал,*

*Что первый я дерзнул в забавном русском слоге  
О добродетелях Фелицы возгласить,  
В сердечной простоте беседовать о боге  
И истину царям с улыбкой говорить.*

*О Муза! возгордись заслугой справедливой  
И, презрит кто тебя, сама тех презирай:  
Непринужденною рукой неторопливой  
Чело твое зарей бессмертия венчай.*

В среду 5 ноября 796-го года, встав по обыкновению в пять утра, Екатерина II сказала вошедшей к ней любимой камер-фрау Перекусихиной:

— Ныне я умру. Смотри, часы в первый раз остановились...

— И, матушка, — растягивая слова, проговорила Марья Савична, — чего те смерть-то звать? Да пошли за часовщиком — часы опять пойдут!

— Для моих часов, — Екатерина II указала на опухлые свои ноги, — уж никакой часовщик не поможет. — Она вынула двадцать тысяч рублей: — Это тебе...

Перекусихина спрятала руки за спину:

— Приму, матушка, но с одним условием. Дозволь мне деньги эти потратить на подарок к твоему дню рождения в будущем году...

Слова сии вызвали на лице государыни улыбку, и все пошло своим чередом. Екатерина II выкушала две большие чашки крепчайшего кофе и приступила в кабинете к обыкновенным своим занятиям.

Когда царица писала за столом, то почувствовала колики, за ними сильный позыв и поспешила к судну, находившемуся в маленьком побочном покойце. Но едва она успела туда пойти и дверь затворить, как без памяти упала на пол.

Прошло около часу. Придворные ходили и удивлялись, что колокольчик ее молчит. Наконец вельможи, толпившиеся доложить императрице о делах, осмелели заглянуть в кабинет и, не найдя ее там, зачали всюду искать. Увидав в щель тело под дверью, не могли сей двери отворить: Екатерина II, падая, уперлась в нее ногами.

Наконец Перекусихина и Зотов перенесли императрицу и положили на сафьяновом матрасе посреди комнаты. Врач Роджерсон тотчас пустил кровь и приставил к ногам шпанские мушки. Екатерина II не приходила в чувство. Доктора ежеминутно меняли платки, которыми обтирали текущую из уст умирающей материю. Бледный Платон Зубов едва держался на ногах. Он отправил в Гатчину с траурным известием к Павлу своего брата Николая.

Державин, узнав о случившемся, поспешил во дворец. Перед комнатой усопшей сидели все сенные девушки, камердинеры, мамушки во главе с шутихой Матреной Даниловной и горько плакали. Государыня лежала уже покрытая белою простынею. Державин, облобызав по обычаю тело, простился с ней. Вдруг двери распахнулись. В кабинет вбежал Павел Петрович. Все находившиеся там пали ниц. Быстро и картаво Павел сказал:

— Встаньте! Я вас никогда не забуду, и все останется при вас.

Караульный гвардейский капитан Талызин бросился к его руке со словами:

— Поздравляю ваше величество императором России!

— Спасибо, капитан! — отнял руку Павел. — Жалую тебя орденом святыя Анны...

При каждом слове нового государя Талызин, не подымаясь с колен, целовал полу его мундира.

Бледный как полотно Платон Зубов зашатался и пал в омрак. Державин и другие случившиеся тут вельможи стали помогать вчерашнему любимцу фортуны. Только гофмаршал Колычев, благодетельствованный молодым фаворитом, не спешил, зная, что это может вызвать неудовольствие нового государя. Однако Павел сам подал воду в стакане, а затем в гневе оборотился к Колычеву:

— Ах, неблагодарный! Ты ли не был взыскан сим человеком? К чему можешь ты быть годеи! Поди и удались от моих взоров!..

Тотчас по приезде Павла во дворце все приняло другой вид: загремели шпоры, тесаки — будто по завоевании города ворвались везде в покои военные люди.

На площади перед дворцом было полно народу. Ночью выпал глубокий снег, к утру настала оттепель и заморосил дождь. Войска шли ко

дворцу в лучших нарядах и в шляпах с плюмажами, увязая в глубоких сугробах. На улицах у казарм стояли аналои, перед которыми войска приносили присягу.

Павел повелел похоронить Екатерину II и Петра Федоровича вместе. В семь пополудни, 19 ноября, при двадцатиградусном морозе более тридцати карет, обитых черным сукном, цугом в шесть лошадей тихо потянулись к Александро-Невской лавре. Лошади с головы до земли были в черном же сукне, у каждой шел придворный лакей с факелом, одетый в черную епанчу. Мрак ночи, могильная чернота на людях, животных и колесницах, глубокая тишина в многочисленной толпе, зловещий свет от факелов, бледные лица от огня производили незабываемое впечатление. Тело Петра III, вынутое из земли, было положено в другой гроб.

2 декабря останки Петра Федоровича были торжественно перенесены в Зимний дворец. Корону велено было нести убийце императора Алексею Орлову. В церкви печальная процессия замялась. Орлов зашел в темный угол и там навзрыд плакал. С трудом его отыскали и убедили следовать в процессии.

Несмотря на лютую стужу, государь и великие князья шли за колесницею пешком. Гвардейцы стояли по обеим сторонам Невского проспекта. Между великанами-гренадерами в изящных светло-зеленых мундирах, с великолепными касками теснились переведенные в гвардию малорослые гатчинские солдаты в смешных нарядах пруссаков времен Семилетней войны.

Через несколько дней после завершения траурной церемонии, рано поутру в понедельник ездовой лакей привез Державину повеление от Павла I, чтобы он тотчас ехал во дворец. Было еще темно. Державин дал знать о себе камердинеру Кутайсову — тучному татарину с круглым добродушным лицом и длинным носом. Сей Кутайсов был мальчиком взят в плен в Кутаиси и крещен. Павел Петрович принял его под свое покровительство и велел воспитать на свой счет и обучить бритью. Позднее царский брадобрей выслужил себе графский титул и звание егермейстера его величества.

Павел I принял Державина чрезвычайно ласково. Дав для целования руку, он вспомнил свою молочную сестру — покойную Катерину Яковлевну, а затем сказал:

— Я знаю тебя как честного, умного и дельного человека. Хочу, чтобы ты был правителем моего Верховного совета и дозволяю тебе входить ко мне во всякое время. А теперь, если что имеешь, говори, не опасаясь...

Державин отрывисто ответил:

— Рад служить со всей ревностью, ежели вашему величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий!

Павел метнул на поэта пламенный взор, однако весьма милостиво с ним раскланялся.

Верховный совет был учрежден Екатериною II для решения государственных дел, по которым императрица желала знать мнение самых ближних вельмож. Долгое время правителем совета был племянник Потемкина А. Н. Самойлов, назначенный затем генерал-прокурором.

Однако ж на другой день Державин с неудовольствием прочел указ об определении его в правители канцелярии совета, что было не одно и то же. Державин порешил обратиться к Павлу за инструкциями.

Новые члены совета Васильев и граф Сиверс утвердили его в этом намерении, рассуждая: «Что это за звание? Выше ли оно сенаторского? Стоять ли вам или сидеть в совете?» Зная крутой нрав Павла, они настраивали Державина на сей шаг, боясь его возвышения и желая уронить его. Когда любимец Павла князь Куракин потребовал, чтобы Державин привез к нему на дом протоколы совета для поднесения государю, поэт оскорбился и отправился на аудиенцию к императору.

Павел I стоял посреди комнаты. Одна его рука была заложена за борт мундира, другой он опирался о край заваленного бумагами стола.

— Что вы, Гаврила Романович?

— По воле вашей, государь, был в совете. Но не знаю толком, что мне там делать, — пришепеливая, сказал Державин.

Павел запыхтел, выпуская воздух через ноздри, что было знаком раздражения:

— Как не знаете? Делайте, сударь, что Самойлов делал.

— Я не знаю, делал ли он что-нибудь, — простодушно признался Державин. — В совете никаких бумаг его нет. Сказывают, что он носил только государыне протоколы совета. Осмеливаюсь просить инструкции.

Павел впился в него взглядом, словно желая выведать, нет ли у Державина какой затаенной, опасной мысли. Тот выдержал этот сверлящий взгляд.

— Хорошо, — миролюбиво заключил император, — предоставьте это мне.

Здесь следовало бы раскланяться и уйти, но Державин, по той свободе, какую он имел у покойной государыни, продолжил речь:

— Не знаю, сидеть ли мне в совете или стоять?

Павел I переменялся в лице, глаза его засверкали. Отворяя двери, он во весь голос закричал стоявшим перед кабинетом вельможам:



— Слушайте! Он почитает себя в совете лишним! — и, оборотись к нему, картаво: — Поди назад в сенат и сиди у меня смирно! Не то я тебя проучу!

Пораженный, как громом, таковым царским гневом, Державин в запальчивости крикнул стоявшим в зале:

— Ждите, будет от этого дурака толк!

Именным указом Павла I было велено отослать Державина назад в сенат за дерзость, сказанную государю. Кавалергардам приказано было во время собрания не впускать его в кавалергардскую залу.

## Глава восьмая РАЗГОВОРЫ



*Вот здесь, на острове Киприды,  
Великолепный храм стоял.*

*Державин. Развалины*

— Ах, как умели развлекаться, как веселились при дворе незабвенный и, увы! уже почившая в бозе матушки нашей Екатерины Алексеевны! — обрюзглый старик в голубой кавалерии и с анненской звездой говорил с пригнустью, как бы от слез умиления, душивших его. — Помнится, на масленицу 778-го года устроили празднество Азора, африканского вельможи. Накрыты были бархатными коврами три больших стола... На каждом — ящичек, золотая ложка и афишка, где прописано: «Африканский вельможа выложил ящик с бриллиантами не на продажу, а чтоб играть в

макао. Каждое «девять» будет оплачиваться камнем в один карат...» Всего роздали в тот вечер из августейших ручек полторы сотни бриллиантов. Это весело было — словно в волшебной сказке «Тысяча и одна ночь»...

— В Эрмитаже, — перебил его сухой, как мумия, вельможа в пудреной персоне, — имелась втепору особливая зала — бриллиантовая. Там светлейший князь Потемкин при всех пересыпал груды драгоценных камней...

В первую годовщину кончины Екатерины II комнаты нового дома на Фонтанке, принадлежавшего бывшему управляющему канцелярией Потемкина Гарновскому, заполнили старцы, большею частию ровесники покойной царицы. Огромный дом не был вполне отстроен, и потому столы накрыли в первом этаже. Пили не чокаясь, негромко тарабарили. Вопреки известной латинской пословице о мертвой говорили всякое — хорошее и дурное, вспоминали бесчисленных ее фаворитов: Орловых, Васильчикова, Ланского, Зорича, Ермолова, Мамонова, Зубова и, конечно, могущественного вице-императора России князя Таврического.

— Его светлость князь Потемкин, — продолжал гугнивый анненский кавалер, — преизрядно любил картеж. Ему частенько проигрывали и не платили. А он забывал, но не терпел обману...

— Да кто же втепору не обманывал! — перебил его забиячливый маленький бригадир — пыжик. — Помню, в присутствии всего двора некий известный вельможа, видя неминуемую гибель своего состояния, принужден был съесть пикового туза, чтоб только игра эта считалась неправильною!

— Ах, дайте дорассказать! — Анненский кавалер поднял сухой палец с золотым перстнем. — Как-то выиграл князь Потемкин у князя Куракина порядочную сумму. Тот, зная, как обожает светлейший бриллианты, отдал долг сими камнями, которые, однако ж, оказались весьма дурными. Ладно! Потемкин досаду скрыл, пригласил плута на прогулку и завез его подальше от двора, на болото. Подученный кучер вывалил вельможу, а сам уехал. Гость весь в грязи едва выбрался на просуху. Ворочается в хоромы, а Потемкин встречает его громким смехом. На том все и кончилось!..

— Поспείτε рюмку, я вам подолью, — красавец хозяин, сидевший во главе стола в полковничьем екатерининском мундире, откупорил еще одну бутылку италианского «алеатико». — А о светлейшем князе Таврическом можно рассказывать день и ночь. Одни фальшивые деревеньки, им возведенные вдоль берегов Днепра к приезду императрицы для ее любования, чего стоят...

— Как-то раз сел он с незнакомым партнером за карты, — шамкал

худой вельможа, тряся пудреною головой. — Хорошо. Просадил тысяч пять и только тогда расчихал, что перед ним ремесленный игрок, и карты бросил. «Нет, братец, с тобой я буду играть только на плевки. Приходи уже завтра!» Тот не смел послушаться. Хорошо. Наутро Потемкин встречает его словами: «Ну, плюй на двадцать тысяч!» Оплетало карточный собрал все свои силенки, да и плюнул, как мог. «Выиграл, братец! — молвил князь. — Смотри, я дальше твоего носу плюнуть не могу!» — С этими словами князь Григорий Александрович харк ему в рожу — и тотчас отдал проигрыш!..

— Почечуй замучил, спасу нет... — бормотал соседу знаменитый по первой войне с турками генерал, который с тех далеких уже пор обеззубел, обезволосател и стал плюгавец подслепый и перхотун старый.

— А ты, батюшка, вели отварить красавки-то, да и прикладывай настой к причинному месту, к грешной дыре... Все как рукой сымет...

— Светлейший князь Потемкин истинно величайший был герой! — Гарновский поднял хрустальный покал, любуясь, как переливается в нем светлое «алеатику».

— И, брат, что ты нам попусту пешки-то точишь, — грубо отозвался через весь стол краснолицый богатырь в генеральском мундире старого образца, расшитом по швам бриллиантами. — Великий деспот был твой Потемкин, да и умер поносно — от безмерного женонеистовства и чревобесия...

То был Николай Зубов, брат последнего фаворита.

— Ну ты, князь, полегче, чать, прошли ваши золотые денечки, — с неуверенностью в голосе сказал Гарновский.

— Не в укор покойной скажу, — невпопад закивал Зубову пудреной головой худой вельможа, — плотолюбие окаянное переполняло двор матушки нашей и умы и сердца ее ближних. А ведь небось наши бабы и прабабы и волосы подпуного у себя не зрели...

Тучный перестарок с бабьим лицом знай накладывал в золоченую тарелку с пышным потемкинским вензелем куски жареной утки. Некогда был весельчак, острослов, ловелас и задира, а ныне рожа старая, что передряблая репа. До преклонных лет проветреничал, теперь же стал прожорою, да так оплошал, что замечалось в нем на людях частое испускание ветров из живота.

Ни к кому не обращаясь, он тихо бубнил:

— Жареные потрошки осетровые и гусиные, да пупочки, да шейки, да ряпицы, да печенцы цыплячьи, да просоль семуужный, да спинка осетровая, теща белужья, да прут белужий, да свинина мясная с проросью, да грибочки, в горшке томленные...

— Перво-наперво избранника матушки-государыни, — продолжал свой рассказ худой вельможа, — отправляли для осмотра к лейб-медику Роджерсону. Хорошо. По удостоверении его здоровья препровождали Анне Степановне Протасовой на трехнощное испытание. Она доносила государыне о благонадежности испытанного, после чего фаворит обеживал вместе с Марьей Савичной Перекусихиной и камердинером царицы Захаром Константиновичем Зотовым...

— Сами наскоромились вдоволь, а мне и пофриштыкать нечем... — бубнил перестарок.

— Да цыц ты, облава! Все уши пробрюзжал! — накинулся на него гугнивый анненский кавалер. — Хватит тебе жрать-то! На себя погляди, свинья ты отжирелая...

— В десять пополудни, когда государыня была уже в постели, — невозмутимо, словно самому себе, рассказывал сухой старик, — Перекусихина вводила новобранца в опочивальню благочестивейшей. Он был одет в китайский шлафрок, нес в руках книгу. Камер-фрау оставляла его для чтения в креслах, возле ложа помазанницы. На другой день Перекусихина также выводила из опочивальни посвященного и передавала его Захару Константиновичу Зотову. Тот вел новопоставленного наложника в приготовленные для него чертоги. Здесь Зотов докладывал раболепно фавориту, что всемилостивейшая государыня высочайше соизволили его назначить при своей особе флигель-адъютантом, подносил ему мундир, шляпу с бриллиантовым аграфом и сто тысяч рублей карманных денег. Тут же передняя зала у нового фаворита наполнялась первейшими государственными сановниками, вельможами, царедворцами для принесения ему усерднейшего поздравления с получением высочайшей милости...

— Друг мой! — с видимым неудовольствием оттопырил губу анненский кавалер. — Вы изволите так чернить ее величество государыню, что я хочу спросить, уж не принадлежите ли вы к числу мартынистов и вольтерьянцев?

— Всем ведомо, господа, — отозвался перхотун-генерал, — что известный Вольтер был рожден женщиной от черта...

— Ну уж кто был воистину чертом, так это знаменитый грубиян и драчун Григорий Орлов! — возгласил забияка-бригадир.

Державин, приглашенный к Гарновскому на правах ближнего соседа, в разговоры не вступал, вина не пил. Наблюдал и думал о том, как столичные жители перемывают косточки покойникам.

Сонм теней витал над роскошным столом. Да и каких теней!

Екатерины II, Григория Орлова, светлейшего князя Потемкина. И кто судил их теперь? Те самые, кто ранее подобострастно внимал каждому их слову. И обругавший Григория Орлова бригадир, будучи введен в его спальню, когда тот был в фаворе, почтительнейше поцеловал случайно обнажившуюся мясистую часть его тела...

«Где же слава, власть, блеск миновавшего царствования? Где поклонение и бывшее могущество? Ах, все скоровечно, все проходит и пожирается жерлом вечности! — говорил себе Державин. — Паук уже тклет свою паутину в роскошных комнатах потемкинского дворца в Яссах, и разваливаются ворота в Херсоне с гордой надписью: «Путь в Византию». Приходит в упадок Царское Село, навсегда покинутое своей хозяйкою. И павильоны и беседки, — все зарастает луговым шафраном, безвременным цветом, что прозывается в народе: сын без отца. А Таврический дом?..»

Державин вспомнил, что узрел он, зайдя туда недавно. Обломанные колонны, засохшие пальмы, а в огромной зале с колоннадою, украшенной барельефами и живописью, где прежде царствовали утехы, пышность и блеск, где отзывались звуки «Гром победы...»? Что там теперь? Дымящийся лошадиный навоз, хлопанье бичей, а вместо танцоров — лошади бегают на корде. Гатчинцами нового государя зал обращен в манеж. В саду стены и двери беседок и храмов исписаны сквернословными стихами и прозою... И память о сих людях тоже засорила грязью, опачкали непотребным словом...

— ...В ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое июля 784-го года сей фаворит Ланской умер в Царском Селе от истощения сил, — тряс пудреною головою вельможа, и тонкая улыбка тронула его сухие губы. — Государыня была безутешна. Она плакала несколько дней, а затем повелела поставить Ланскому памятник в саду. Неподалеку от места, где ею поставлены памятники любимым собачкам...

— Хватит балабонить! — мотая свислой губой, поднялся анненский кавалер. — Не хочу более ничего дурного слушать о великой нашей матушке!

— Великой? — скосоротившись, передразнил его худой вельможа. — Как бы не так! Небось государь наш, Павел Петрович, все воздал матушке, положив ее до страшного суда вместе с покойным Петром Федоровичем.

— Что вспоминать всем известные слабости ее величества! — не унимался Зубов, кидая скоса взгляды на Гарновского. — Вот Потемкин — тот ни одной юбки не пропускал. Петух! Перетопчет всех кур в одном курятнике, да и айда в другой!..

Гарновский был всем обязан Потемкину, служил у него управляющим,

заведовал его Таврическим дворцом и нажил огромное состояние. Возводя свое великолепное здание рядом с державинским домом, случайный сей богач с презрением смотрел на скромные перестройки, которые предпринял поэт. Он порешил отгородиться от дома Державина эрмитажем, где предполагалось разбить тенистый сад и устроить фонтан. Когда вырастали стены его дворца, Державин написал:

*Почто же, мой второй Сосед,  
Столь зданьем пышным, столь отличным,  
Мне солнца затеняя свет,  
Двором межуешь безграничным  
Ты дому моего забор?  
Ужель полей, прудов и речек,  
Тьмы скупленных тобой местечек  
Твой не насытят взор?..*

— Кто не знает, Михаил Николаевич, — оборотился к Гарновскому малорослый бригадир, забиячливый пыжик, — кто не знает, как понагрел ты руки в турецкую войну! Деньги переводил в армию несметные, а кому давал отчет?

У хозяина задержалась сизоватая щека.

— Что глядишь, аки тризевный цербер? — не унимался пыжик. — Ба-ба-ба! — Он повертел великолепной талерной гарднеровского сервиза с потемкинским гербом. — А это откуда? Никак из Таврического дома?

Сразу же после смерти Потемкина Гарновский кинулся перевозить к себе из дворца картины, мебель и даже строительные материалы. Только вмешательство наследников остановило расхищение.

Лицо Гарновского стало избела-черным.

— Ах ты соплюшка! Хайло свое растворил. Да полно тебе смердеть-то! Припятил прямо к обеду, деревенщина! А кто тебя звал?

— Я природою дворянин! — взвизгнул пыжик и вдруг, наклонившись, боднул Гарновского головою в живот.

— Ну и ловкий малый! Истинно скорохват! — радостно отозвался через стол Николай Зубов, наливая себе очередной штоф водки.

Перхотун-генерал возмущенно бросил ему:

— Ишь, поджога! Мало тебе перекоров, так драки захотел!

— Молчать, геморроидальная шишка! — зычно, как бык, проревел Зубов, ударяя кулачищем по столу.

— Никому не дозволю матушку-государыню порочить! — Гугнивый анненский кавалер тряс перед носом сухопарого старца массивным золотым перстнем.

Тот отхлебнул вина, да и прыск ему в лицо.

Гарновский, сперва остолбенев, очухался и дал пыжику такого тулумбаса, что бригадир не удержался на ногах и, ползая, все норовил ударить хозяина серебряным уполовником в подчревьё.

— Ах поползень, проныра! — раскатисто кричал Гарновский, ловко уклоняясь от уполовника. Он выхватил у невозмутимо стоявшего позади тафельдекера помойник, надел бригадиру на голову. Помылки потекли по мундиру.

— Экое полудурье! — гугниво вопил анненский кавалер, кружа около старца. Выбрал момент и тюк его в лоб перстнем. Кровь побежала по пудреной щеке. Старец, сидючи на полу, порасхлипался, утирая ее накрухмаленными манжетами.

Пыжик вскочил и, как был с ведром на голове, поприударился бежать, натываясь на стулья. Вместе с помылками из-под помойника текла брань:

— Откупщик! Растащидомка! Хапуга! Погоди, уж доберутся до твоих скарбниц! Все твои раскражи раскроют!

Гости повскакали со своих мест. Сухой, как мумия, старец ловко полз под столом, размазывая по лицу створожившуюся кровь. Он выдергивал из-под скатерти длинный нос и кричал обидчику:

— Сдыха! Бесстыжие твои глаза! Крест на толкучке купил!

Но уже кричали что-то все, размахивая руками. Только прожора, который весь уже обсалился, с легкою рыготою спал, положив голову в золоченую талерку с утиными объедьями.

Пьяный Гарновский вскочил на стол:

— Вон! Все вон! Убирайтесь отсюда! Эй, слуги! Гоните их!

Гостей смело. За ними бросился Гарновский, изрыгая непристойные слова.

Оставшись за разгромленным столом, Державин думал об этих вельможах, о сих глыбах грязи позлащенной, о превратностях судьбы, о слепом случае. Ах, все обширное царствование покойной государыни вдруг явилось ему. И славные победы над лунным царством турков и железным царством шведов. И многие гражданские, достойные похвалы дела. И трутни-вельможи в завитых париках и туфлях с красными каблуками — угодники, льстецы, клеветники, стяжатели, переметные суммы. И состояние просвещения в России, когда уже грубое суеверие домовых и кикимор исчезло, а наместо того появился магнетизм, искание философского камня,



неуважение любви к отечеству. И игра случая, когда без разбору множество счастливцев жаловано прямо в кавалеры и бригадиры. Распестрились щеголи в шутовских полосатых фраках. Мартышки, или мартынисты, в воображении людском были в силе и разливали свет подобно фонарям. Сама же августейшая правительница упражнялась под именем премудрости печатно. Зная, что португальский король не месит макарон, а Людовик XVI не слесарничает, а, напротив того, занимается литературой, писала и она комедии и сказки, где некий Дедушка, видя проказы вельмож, покашливал им в назидание: «Хем, хем, хем». Она управляла государством и самым правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде. Иными словами, царствовала политично, наблюдая собственные выгоды или поблажая вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражать их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была милосердна и снисходительна к слабостям людским. Не оправдание ли собственных слабостей в своих глазах было тому причиною? Собрала цельный гарем мужчин в случае. Вертела душою придворных, как рулеткой, которая тогда была в моде. Но при всех своих великих слабостях еще принцессою шутя просила доктора выпустить из нее всю немецкую кровь...

— Где я? — хриплый вскрик вернул Державина из его мечтаний.

Прожора поднял голову с талерки и уставился на Державина.

— В капище дьявола! — бросил ему поэт. — В доме откупщика жестокосерда и богата... У горделивого временщика, который не ведает, что сбудется с ним завтра...

*Кто весть, что рок готовит нам?  
Быть может, что сии чертоги,  
Назначенны тобой царям,  
Жестоки времена и строги  
Во стойлы конски обратят.  
За счастье поруки нету,  
И чтоб твой Феб светил век свету,  
Не бейся об заклад.  
Так, так: — но примечай, как день,  
Увы! ночь темна затмевает;  
Луну скрывает облак тень;  
Она растет иль убывает:  
С сумой не ссорься и тюрьмой.  
Хоть днесь к звездам ты высишь стены;*

*Но знай: ты прах одушевленный  
И скроешься землей.*

В своем послании Гарновскому поэт оказался пророком: в том же 797-м году по подозрению в расхищении казенных денег Павел I повелел посадить его в крепость, а дом за долги продать с публичного торга.

В великолепных этих палатах помещены были конногвардейские конюшни.

## Глава девятая

# СУВОРОВ



*Смотри, как в ясный день, как в буре,  
Суворов тверд, велик всегда!*

*Державин*

### 1

В середине 90-х годов Державин сделался как бы поэтическим биографом Суворова, воспевая его победы:

*Пошел, — и где тристаты злобы?  
Чему коснулся, все сразил.  
Поля и грады — стали гробы;  
Шагнул — и царство покори!*

Суворов отвечал ему стихами же. С комплиментами по поводу одержанных побед он не соглашался и в традиционно высокопарном стиле восхвалял мудрость и прозорливость Екатерины II. Возвеличивая ее, он возвеличивал Русское государство, его могущество и славу, — прием, обычный в поэзии XVIII века:

*Царица, севером владея,  
Предписывает всем закон;  
В деннице жезл судьбы имея,  
Вращает сферу без препон.  
Она светила возжигает,  
Она и меркнуть им велит;  
Чрез громы гнев свой возвещает,  
Чрез тихость благость всем явит.  
Героев Росских мощны длани  
Ее веленья лишь творят...*

Свое письмо от 21 декабря 1794-го года, откуда приведены эти стихи, полководец заканчивал искренними словами уважения к могучему таланту Державина: «Гомеры, Мароны, Оссианы и все доселе славящиеся витии умолкнули перед вами. Песни ваши как важностию предмета, равно и красотою искусства, возгремят в наипозднейших временах, пленяя сердце... душу... разум... Венчаю себя милостями вашего превосходительства; в триумфе моей к вам, милостивому государю моему, преданности, чистейшая моя к особе вашей дружба не исчезнет...»

В декабре 1795-го года, после взятия Варшавы, полководец с триумфом явился в Петербург. Поселившись по указанию императрицы в Таврическом дворце, он и там не изменял солдатским своим привычкам: спал на сене и окачивался по утрам ледяною невскою водой. Под впечатлением встречи с ним Державин написал:

*Когда увидит кто, что в царском пышном доме  
По звучном громе Марс почиет на соломе,  
Что шлем и меч его хоть в лаврах зеленеют,  
Но гордость с роскошью положены у ног,  
И доблести затмить лучи богатств не смеют, —*

*Не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог,  
Плоть Епиктеву прияв, преобразился,  
Чтоб мужества пример, воздержности подать...*

Обращение Державина, шире — поэзии второй половины XVIII века к образу Суворова имело свои глубокие причины. Суворов был явлением исключительным, уникальным во всей военной истории славного своими ратными победами столетия и в то же время — как бы итоговым. Великий полководец России, ее первая шпага, он имел простую и чистую душу солдата, соединял энциклопедическую образованность с истинно народным, смекалистым умом и среди других блестящих отечественных военачальников являл собой идеал русского военного человека. Это о нем провиденциально писал Петр I в своем «Уставе»: «Имя салдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала, даже до последнего мушкетера...»

Дворянин, сын екатерининского вельможи, полный кавалер отечественных орденов, граф, князь, под конец жизни генералиссимус всех российских войск, он не только не стремился к тому, что давали все эти привилегии, но был им чужд и враждебен. Когда в фельдмаршальском мундире, увешанном бриллиантами стоимостью в несколько деревень, он справлял посреди солдат малую нужду или садился с артелью за кашу, — все это не было позерством. То, что у другого выглядело бы лишь капризами барина, воспринималось солдатами просто и естественно, ибо Суворов был для них «свой», «батюшка наш», «отец родной».

Недаром для Державина Суворов — былинный богатырь, бесконечно сильный той силой, которую ему дал народ. Как бы чувствуя эту связь, поэт черпает краски для его изображения в фольклоре, эпосе, русских сказках:

*Ступит на горы, — горы трещат;  
Ляжет на воды — воды кипят;  
Граду коснется, — град упадает;  
Башни рукою за облак кидает;  
Дрогнет Природа, бледнея пред ним;  
Слабые трости щадятся лишь им.*

Обращение к образу Суворова отражало давно намечавшийся поворот в одических стихах Державина. Вместе с умалением и даже полным уходом

из его поэзии идеализированной Екатерины II выдвигаются великие полководцы и вожди — Суворов, Румянцев, Репнин, Алексей Орлов. А за их фигурами проступают могучие очертания главного героя державинской поэзии — «твердокаменного росса», «всего русского народа» (авторское примечание к оде «На взятие Измаила»).

Когда вскорости после вступления на престол нового императора Суворов подвергся опале и гонениям, Державин резко осудил эту несправедливость в своих стихах. В 796-м году скончался знаменитый Румянцев; в 797-м сослан в Кончанское Суворов. Чьи подвиги теперь могут пробудить державинское вдохновение?

*Петь Румянцева собрался,  
Петь Суворова хотел;  
Гром от лиры раздавался,  
И со струн огонь летел;  
Но завистливой судьбою  
Задунайский кончил век;  
А Рымникский скрылся тьмою,  
Как неславный человек.*

Но даже тогда, когда славный фельдмаршал прозябал в ссылке под унижительным полицейским надзором, Державин верил в Суворова, в его нравственную стойкость, в его военный гений. Обращаясь к Валериану Зубову, недавнему баловню судьбы, полки которого Павел повелел отозвать из Персии, даже не оповестив об этом его самого, поэт предлагает опальному вельможе пример для подражания:

*Смотри, как в ясный день, как в буре,  
Суворов тверд, велик всегда!  
Ступай за ним! — Небес в лазуре  
Еще горит его звезда.*

Пророчество Державина оправдалось: час Суворова пробил. Австрийские войска в Италии терпели непрестанные поражения от солдат и полководцев республиканской Франции. Получив письмо императора Франца с просьбою назначить Суворова главнокомандующим союзной армией, царь сказал своему любимцу Растопчину:

— Вот каковы русские — везде пригождаются...

В феврале 799-го года Суворов явился из кончанской ссылки в Питербурх — исстрадавшийся, полуживой, но могучий духом, с твердою верой в свою победу над французами на итальянских полях. Державин поспешил увидеть любимого полководца.

Фельдмаршал резво выбежал навстречу Державину на заснеженное крыльцо, одетый в белую рубаху с любимым нашейным крестом святой Анны под мягким отложным воротником.

— Помилуйте, Александр Васильевич, как бы вам не простыть! Ведь зима на дворе! — воскликнул поэт.

— И, братец! — целуя его в щеку, строго возразил Суворов. — Я привык на морозе водою окачиваться. И замечу: лучшее средство от ревматизма...

Как обычно, Суворов остановился у мужа своей племянницы Дмитрия Ивановича Хвостова, жившего на Крюковом канале, против Сенной площади. Кроме Державина, был приглашен первый член коллегии иностранных дел Федор Васильевич Растопчин, хитрый и ловкий царедворец, но человек с истинно русским сердцем.

Душистый щаный запах стоял в комнатах. Суворов вышел переодеться и явился к обеду в синем фельдмаршальском мундире с большим крестом святого Иоанна Иерусалимского, возложенным на него Павлом I. Подошел к закусочному столу, выпил добрую чепаруху водки и заел редькой с постным маслицем, не переставая при этом чудить.

Державин, благоговей перед Суворовым, знал цену его шуткам, всю жизнь помогавшим великому полководцу защищаться от вельмож. Они оба были в полном смысле слова русские люди, в природе и воззрениях которых было много сходного. Оба ценили друг в друге прямодушие и благочестие. Растопчин же изумлялся каждой новой выходке Суворова, увеличивая тем его удовольствие.

Приметя, что фельдмаршал прихрамывает, спеша к обеденным столам, он спросил, в каком бою получено сие ранение.

— В домашнем, — тотчас отозвался Суворов. — Игла сломилась в пятке.

И принялся убеждать Растопчина, что был ранен в своей жизни тридцать два раза.

— Тридцать два? — поразился Растопчин. — Где и когда?

— Я был ранен, — садясь за столы, объяснил Суворов, — два раза на войне, десять раз дома и двадцать при дворе!

В горшке белым кипятком кипело варево из рубленой говядины с капустой и другой зеленью. Полководец любил еду с пылу с жару и принялся с чмоком глотать крутой кипяток, приговаривая:

— Помилуй бог, как хорошо! И шти не простыли, и ложка, хоть я не красива, а хлебка...

Державин глядел на него: кожа да кости, истинно — худерба! Брови страдальчески подняты, около сухого рта горькие складки. Щедушен! Но голубые глаза сверкают умом и жизнью. Орел! Страшен будет твой удар!

Он почувствовал магическое касание музыки. Давно уже дивное сие волнение не посещало его. Строки стихов стали наплывать толчками, опережая друг друга, требуя выхода:

*Носитель молнии и грома  
Всесильного Петрова дома!  
Куда несешься с высоты?  
Пряв перуны в когти мочны,  
Куда паришь, Орел полночный,  
И на кого их бросишь ты?..*

Словно угадав его мысли, ощутив биение в нем стихов, Растопчин спросил полководца:

— Ваше сиятельство, Александр Васильевич! Как вы думаете воевать с ветреными безбожными французами?

Суворов поднял на него большие пронизательные глаза:

— Только наступление! Быстрота в походе! Горячность в атаках холодным оружием! Не терять времени на осаду! Никогда не распыляться! Не оставлять сил для сохранения различных пунктов. Противник их минует? Тем лучше! Он приблизится, чтобы быть битым. Так поступали великие полководцы — Цезарь и Ганнибал, а теперь — Бонапарт...

Чувствовалось, что фельдмаршал в кончанском сидении вынашивал планы грядущих сражений с Бонапартом.

Суворов отбросил ложку и выбежал из-за стола. Помолодевший, быстрый, он нагнулся к Растопчину и громко зашептал:

— И гляди: гроза от французов. Были б им успехи на Рейне, то перескочут через Майн и Дунай. Тогда император австрийский должен с



ними помириться и после гулять на их помочах. Опасное для Европы французское правление без войны стоять не может. — Он выпрямился, поприжамурил и открыл глаза. — Кто ж в предмете ея? Одни русские! Им придется воевать. А коли так, то войну эту нам теперь надобно предупредить!..

Державина обдало жаром: как далеко глядит полководец!

— Побеждай, дядюшка! — с важностью сказал Хвостов. — А за нами дело не станет. Мы с Гаврилой Романовичем уже воспоем твои виктории в стихах...

Зная корявые вирши Хвостова, Державин покачал головой.

Истинно сказать, рожею кувяка да разумом никака. Хозяйка, чернобровая и черноволосая, не была хороша лицом, однако и она казалась миловидною рядом с мужем — рот толстый, в нос гундит. Державин не удержал улыбки, вспомнив ходивший при дворе анекдот. Суворов, ценивший в Хвостове его исключительную преданность, доброту, заботу о дочери Наташе, выпросил ему у Екатерины II звание камер-юнкера. Когда кто-то из придворных заметил, что по наружности Хвостову не пристало быть камер-юнкером, императрица ответила: «Если б Суворов попросил, то сделала бы и камер-фрейлиной».

И сделала бы! Не под силу царям, видно, лишь делать поэтами...

Суворов меж тем перешел от Растопчина к Хвостову и напряженным перстом щелкнул его по курносой дуле.

— Пиши, Митя! Поспешай за нашим русским Оссианом — Державиным. Авось, что путное и выйдет...

— Дядюшка! — с сержением в голосе вступилась хозяйка Аграфена Ивановна. — Да что ж ты мужа моего так страмишь? И еще при всем честном народе!

— Грушка-чернавка! Бес полуденный! — тихо, но явственно пробормотал недолюбливавший племянницу Суворов и, отскочив от Хвостова, добавил громче: — Расщекоталась, сорока. А того не понимаешь, что нельзя яньку-самохвала защищать.

— Мы все поем Суворова, — примиряюще сказал Державин. — А уж кто лучше, кто хуже — не нам судить. Пусть уже за то сатирик нас гложет.

— Вот-вот! — добродушно промурчал Хвостов. — Стихи от души, от сердца — сие-то главное...

— Читите истинных героев, славьте отважных, смелых людей. — Суворов снова начал чудить. — Признаться, я знаю только трех смельчаков на свете.

— Кого же, ваше сиятельство? — встрепенулся любопытствующий

Растопчин.

Фельдмаршал разжал левую руку и принялся загибать пальцы:

— Римлянина Курция, боярина Долгорукова, да старосту моего Антипа. Смотри: первый бросился в пропасть, второй говорил правду самому Петру Великому, а третий один ходил на медведя...

Провожая гостей, Суворов стремглав прошмыгнул мимо зеркала, завешанного холстиной. Он погрозил ненавистному стеклу и хриловатым баском, чуть подвывая в подражание актерам, прочел:

*Триумф, победы, труд не скроют времена,  
Как молнии быстрые, вокруг мира будут течь.  
Полсвета очертил блистающий ваш меч;  
И славы гром,  
Как шум морей, как гул воздушных споров,  
Из дола в дол, с холма на холм,  
Из дебри в дебрь, от рода в род,  
Прокатится, пройдет,  
Промчится, прозвучит,  
И в вечность возвестит,  
Кто был Суворов!*

В чудачестве с зеркалами, которые он приказывал снимать или занавешивать, таилась своя причина. Суворов любил себя, но не того, каким его создала природа: того, он не признавал, не хотел видеть и знать, но иного, каким он создал себя сам. Таким он видел себя не в стекле, намазанном ртутью.

Он видел себя истинного в зеркале русской поэзии и прежде всего поэзии Державина...

В прихожей стояли готовые к отправке кожаные чемоданы.

— Как, Александр Васильевич? Только-только прилетели в Питер и уже собираетесь дальше мчаться? — жалея его старость и худобу, сказал Державин.

— Мне здесь не год годовать, а только час часовать! — отвечал фельдмаршал и внезапно начал перескакивать через чемоданы.

— Ваше сиятельство, что вы делаете? — воскликнул Растопчин.

— Учусь прыгать!

— Да зачем вам?

— Как зачем? Ведь из Кончанского да в Италию, ой, помилуй бог, как

велик прыжок... Поучиться надобно...

В ожидании выхода императора в зале Зимнего дворца жужжали, шушукались, перешептывались разряженные вельможи. Тут были любимцы императора — барон Кутайсов, Растопчин, генерал-лейтенант барон Аракчеев, военный губернатор Питербурха генерал от кавалерии фон дер Пален, отец возлюбленной Павла генерал-прокурор Лопухин, вице-адмирал де Рибас и переживший всех и вся при дворе Александр Андреевич Безбородко.

Державин, морщась (узкий сапог трутил ногу), отвечал на поклоны бояр, почуявших, что он снова входит в силу.

Поэт вернул себе милость царя подношением оды «На новый 1797 год», в которой искренне и с большим поэтическим жаром отметил многие добрые начинания Павла I. Император освободил всех политических узников (в том числе Новикова, Радищева, Косцюшко), ограничил барщину тремя днями в неделю, круто повел борьбу с казнокрадством и лихоимством чиновников, расцветшими при Екатерине II, отменил тяжкий рекрутский набор.

*Он поднял скиптр — и пробежала  
Струя с небес во мрак темниц;  
Цепь звучно с узников упала  
И процвела их бледность лиц;  
В объятьях семьи восхищенных  
Облобызали возвращенных  
Сынов и братьев и мужей;  
Плоды трудов, свой хлеб насущный,  
Узнал всяк в житнице своей.*

В начале 798-го года Державин сообщал своему старому другу Гасвицкому: «Был государем сначала изо всех избран в милости; но одно слово не показалось, то прогневал: однако по малу сходимся мировою, и уже был у него несколько раз пред очами. Крутовато, братец, очень дело-то идет, ну, да как быть?..»

Громогласно возглашенное слово «вон!» со стуком ружей и палашей

произвело подобие воздействия гальванического тока: все вздрогнули и замерли, меж тем как команда, звучно нарастая, неслась по комнатам все ближе и ближе, оповещая о прохождении императора. Распахнулись наконец белые золоченые двери, и в образовавшейся анфиладе, между построенными фронтом выликорослыми кавалергардами в шлемах и в латах, показался в императорской мантии Павел I, сопровождаемый царицею — Марией Федоровной и великими князьями Александром и Константином. За императорской семьей следовал бывший польский король Станислав Понятовский.

Вельможи двинулись за ними в дворцовую церковь. Молнией разнеслось: ожидается служба в честь первой победы Суворова в Италии.

Читано было донесение фельдмаршала от 11 апреля 799-го года: «Вчера поутру крепость Брешиа с ее замком была атакована. Войска императорско-королевские и вашего императорского величества егерский Багратиона полк, гренадерский батальон Ломоносова и казачий полк Поздеева под жестокими пушечными выстрелами крепостью завладели. В плен досталось: полковник 1, штаб и обер-офицеров 34, рядовых природных французов 1030, да раненых в прежних их делах 200; пушек взято 46, в том числе 15 осадных. С нашей стороны убитых и раненых нет...»

По окончании благодарственного молебства Павел I приказал провозгласить Суворову многолетие.

Могучий, похожий на африканского льва протодиакон густым басом, казалось, всколебал церковь:

— Фельдмаршалу войск российских, победоносцу Суворову Рымникскому многа ле-е-ета...

И мужской хор грозно и звучно подхватил и повторил речитативом его слова, а за ним, на высокой ноте, трогательно и чисто пропел женский, и наконец голоса обоих слились в едином торжественном возгласе:

— Многа ле-ета!..

Белокурый юноша в мундире камергера выбежал из толпы придворных и пал на колени перед Павлом. Слезы мешали ему говорить. Это был четырнадцатилетний сын Суворова Аркадий.

Император быстро поднял его:

— Похвальна и весьма твоя привязанность к отцу... Поезжай и учись у него... Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу...

С этого дня не появлялось номера газеты, русской или немецкой, в коем не упоминалось бы о Суворове. Державин в воображении своем шел за ним через Адидж, Треббию и По и с нетерпением ожидал его в Париже.

Уже давно, со времен «Водопада» и оды «На взятие Измаила», поэта пленил сумрачный шотландский бард Оссиан, в возвышенных тонах поведавший о древних героях. Державин не знал, что песни Оссиана — искусная стилизация поэта Макферсона, объявившего, что он обнаружил их в горной Шотландии и перевел с гэльского языка. Суворов также любил макферсоновского Оссиана, перечитывал его в переводе Кострова, и Державин порешил воспеть славные победы в Италии высоким штилем этих поэм.

*Се ты, веков явленье чуда!  
Сбылось пророчество, сбылось!  
Луч, воссиявший из-под спуда,  
Герой мой вновь свой лавр вознес!  
Уже вступил он в славны следы,  
Что древний витязь проложил;  
Уж водит за собой победы  
И лики сладкогласных лир.*

Каждая новая победная весть отдавалась гулом рукоплесканий в русском обществе. Тон задавал сам император, осыпавший Суворова и его чудо-богатырей дождем наград и милостивейших рескриптов. Державин с жадностью читал донесения Суворова, которые печатались в «Прибавлениях» к газете «Санкт-Петербургские ведомости». Основываясь на точных фактах, живописуя величие Альпийских гор и тысячи препон, вставших на пути русского войска, поэт нарисовал картину швейцарского похода Суворова:

*О радость! — Муза, дай мне лиру,  
Да вновь Суворова пою!  
Как слышен гром за громом миру,  
Да слышит всяк так песнь мою!  
Побед его плененный слухом,  
Лечу моим за ним я духом  
Чрез доли, холмы и леса;  
Зрю — близ меня зияют ады,  
Над мной шумящи водопады,  
Как бы склонились небеса.*

В звучных стихах запечатлевается бессмертный подвиг — как пример для подражания будущим поколениям, как символ непобедимости русского солдата. Какое обилие красок! Какая сила изобразительности!

*Ведет в пути непроходимом  
По темным дебрям, по тропам,  
Под заревом, от молнии зримом,  
И по бегущим облакам;  
День — ночь ему среди туманов,  
Ночь — день от громовых пожаров;  
Несется в бездну по вервям,  
По камням лезет вверх из бездны;  
Мосты ему — дубы зажжены;  
Плывет по скачущим волнам.*

Поражает смелость уподоблений и поэтических преувеличений, служащих одной, главной цели — возвеличиванию Суворова и русских богатырей:

*Таков и Росс: средь горных споров  
На Галла стал ногой Суворов,  
И горы треснули под ним.*

В русской поэзии немало стихов посвящено Швейцарскому походу Суворова. Но первым это сделал Державин.

*Возьми кто летопись вселенной,  
Геройские дела читай;  
Ценя их истиной священной,  
С Суворовым соображай.  
Ты зришь: тех слабость, сих пороки  
Поколебали дух высокий;  
Но он из младости спешил  
Ко доблести простерть лишь длани;  
Куда ни послан был на брани,  
Пришел, увидел, победил.*

Вал суворовской славы, прокатившийся по Европе, обогнавший влачившегося в дормезе, на ненавистных ему перинах хворого генералиссимуса, бушевал уже в Питербурхе. Нетерпеливый и порывистый Павел I не находил себе места, по несколько раз на день спрашивая, когда же наконец приедет Суворов.

Всесильный генерал-губернатор Питербурха, начальник почт и полиции, член Иностранной комиссии граф фон дер Пален на утренних докладах не упускал случая дать мыслям императора иное направление. А после развода и отдачи пароля начальник военно-походной канцелярии граф Ливен докладывал Павлу поступавшие донесения инспекторов, которые обращали внимание на то, что шаг в полках, возвращающихся на постоянные квартиры из-за границы, не соответствует предписанному, что алебарды и офицерские эспантоны порублены и сожжены в Швейцарии, что у многих солдат обрезаны косы, что в боевых столкновениях применялся рассыпной строй, не указанный в уставе, что немало и других нарушений формы, к примеру, штиблеты заменены сапогами. Перед выходом к обеду и ужину, во время одевания, гардеробмейстер, простодушный Кутайсов, передавал императору неблагоприятные для Суворова соображения, нашептанные Ливеном, Паленом, голштинцами Штейнваром, Каннибахом, Линдерером...

В один из своих докладов в середине марта 1800 года Пален вдруг замялся.

— Мне кажется, сударь, вы чем-то озабочены? — удивился Павел.

Последовал тщательно подготовленный ответ.

— Страшусь, ваше величество! Сумею ли справиться и оправдать доверие монарха в дни приезда и пребывания Суворова в столице!..

— А почему нет, сударь?

— Да слишком высока особа и велики указанные почести!

— Что именно, сударь?

— Так вы сами, ваше величество, будете встречать Суворова?

— А как же!

— И ему будет при вас гвардия отдавать честь?

— Конечно, сударь! Так мною приказано!

— И он поедет при колокольном звоне в Зимний дворец?

— Так.

— И там на молебне ему будет возглашено многолетие, за обедом

будут пить его здоровье?

— Конечно, ведь он российских войск победоносец, князь Италийский...

— А за обедом будет викториальная пальба?

— Несомненно, сударь.

— А вечером во всем городе будет иллюминация и на Неве фейерверк?

— Верно.

— Ну, это слишком опасно, ваше величество... — Пален замолчал.

— Почему? — повысил голос Павел. Он подбежал к долговязому генерал-губернатору и, дергая его за отворот мундира, стал сыпать словами: — Почему же? Отвечай! Немедля!

— Да как же! Будет жить в Зимнем дворце со всеми почестями, приличествующими высочайшим особам, войска и караулы будут отдавать ему честь в присутствии вашего величества, он станет принимать во дворце генералов и вельмож и ходатайствовать за них у вашего величества...

— Ну и что же? — Павел нетерпеливо притопывал ногой.

— А то, ваше величество, что он, ежели захочет, поведет полки, куда прикажет. На ученье, на маневры, — Пален наклонился к императору и добавил шепотом: — Или еще куда...

Павел задумался.

— Верно, сударь! — сказал он картаво.

Первая брешь в доброжелательном отношении императора к Суворову была пробита.

Оставшись один, Павел вспомнил в туманном зеркале детства давний эпизод.

Набегавшись и нашалившись, он, резвый десятилетний мальчик, смиренно сидел за обеденными столами. Кроме воспитателя наследника — Никиты Ивановича Панина и бывшего при его особе поручика Порошина, на обед явились известные братья Чернышovy — президент Военной коллегии Захар Григорьевич и президент Адмиралтейс-коллегии Иван Григорьевич. По случаю гостей Павел был наряжен в богатый мундирчик генерал-адмирала флота российского; звание сие он носил с восьми лет. Потрогав тройной ряд золотого шитья по всем швам и рукавам, Павел сказал: «Ну, ежели кто будет генералиссимус, так где же ему вышивать еще мундир свой — швов не осталось!» Граф Захар Григорьевич отвечал на это: «Генералиссимуса быть не должно, потому что государь отдает свое войско в руки другого. А армия — это такая узда, которую всегда в своем кулаке держать надобно!» Сам он тогда только и мог ответить: «А! А!»

— А! А! — пробормотал, задумавшись, Павел. — Так, сударь!



Генералиссимус при царствующей особе опасен паки и паки!

Пален торжествовал. С этого дня посыпались приказы, в которых явлена была крутая перемена императора к Суворову. А затем последовали и уточнения к его приезду: въехать в столицу он должен вечером, никаких шпалер гвардии не выставлять, колокольный звон отменить, назначенных покоев в Зимнем дворце не отводить. Направиться ему надлежит в дом его племянника Хвостова.

Старания русских немцев увенчались полным успехом. В Питербурхе готовился заговор против Павла I, искусно сплетенный Паленом и подкрепленный английским золотом. Суворов, явившийся в Питербурх в ореоле европейской славы, был страшен заговорщикам. Одно его присутствие делало невозможным государственный переворот. Хитроумно вызванная немилость императора к Суворову была лишь одним из звеньев в цепи заговора, впрочем, как и опала, постигшая преданных Павлу Растопчина и Аракчеева, битье кнутом в Новочеркасске обвиненного в измене верного телохранителя царя казачьего офицера Грузинова. Пален так умело раздул враждебность Павла к Марии Федоровне, что тот накануне переворота повелел забаррикадировать дверь, ведущую из его спальни в покои жены.

Павел I сам шел навстречу гибели, последовавшей в ночь на 12 марта 1801 года, когда толпа пьяных заговорщиков ворвалась в Михайловский замок и задушила императора офицерским шарфом.

Накануне, в тревожном предчувствии, он послал за Растопчиным и Аракчеевым. Аракчеев был задержан на питербургской заставе Паленом 11 марта и увидел лицо своего покровителя лишь в гробе. Растопчина известие о гибели Павла настигло при выезде из Москвы в Питербурх.

Только немногим более двух недель пролежал Суворов в доме Хвостова, тяжело пораженный внезапной, ничем не объяснимой опалой.

Державин почти каждый день навещался в дом Хвостова. Изредка наступало просветление, и Суворов беседовал с домашними и даже занимался турецким языком. Но затем вновь терял сознание, бредил, повторяя имена своих сподвижников и громкие названия: Фокшаны, Рымник, Измаил, Алда, Треббия, Нови, Сен-Готар...

Немногие вельможи решались выразить свое расположение опальному генералиссимусу. Правда, болезнь Суворова служила для Павла до

некоторой степени смягчающим и извиняющим обстоятельством. В один из дней Державин застал в доме Хвостова генерала Багратиона. Узнав о тяжелом состоянии Суворова, император прислал его верного сподвижника и любимца с изъявлением своего участия.

Придворный врач Гриф тер генералиссимусу виски спиртом. Суворов приходил в себя и снова погружался в небытие.

— Князь Петр? Это ты, князь Петр?

Суворов приподнялся на постели. Казалось, одни голубые глаза жили на восковом лице. Багратион кивал головой, слезы мешали ему сказать что-либо.

— Помни, Петр! Берегите Россию... А война с французами будет, князь Петр! Помяни мое слово...

Суворов прощался с близкими, позвал к себе и верного Хвостова.

— Наклонись, Митя... Ближе... Вот так...

Хвостов почтительно приготовился слушать дядюшку.

— Прошу тебя, — внятно заговорил полководец. — Брось ты писать стихи... Не твое это дело! Не позорь ты наш дом...

Когда Хвостов вышел от Суворова, ожидающие бросились к нему:

— Ну как он? Что?

Хвостов скорбно наклонил голову:

— Бредит...

Суворов пожелал видеть Державина и, смеясь, спросил его:

— Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию?

— По-моему, — отвечал поэт, — слов много не нужно: тут лежит Суворов!

Полководец оживился:

— Помилуй бог, как хорошо!

Суворов слабел, в забытии громко стонал, перемежая стоны молитвами и жалея, что он не умер на поле боя в Италии.

7 мая 1800 года Державин писал бывшему адъютанту Суворова оренбургскому губернатору Курису: «К крайнему скорблению всех, вчерась пополудни в 3 часа героя нашего не стало. Он с тою же твердостью встретил смерть, как и много раз встречал в сражениях. Кажется, под оружием она его коснуться не смела. Нашла время, когда уже он столь изнемог, что потерял все силы, не говорил и не глядел несколько часов! Что делать? Хищнице сей никто противостоять не может. Только бессильна истребить она славы дел великих, которые навеки останутся в сердцах истинных россиян».

Державин вышел из-за бюро и подошел к окну, машинально слушая,

как, подобно флейтузе, высвистывала в клетке такт военного марша пичужка с розовой грудкой. Давно уже стемнело, и зажглись редкие фонари-коноплянки. Туман усырял улицы и дома — экая слота! Пичужка старалась, повторяя свою нехитрую песенку снова и снова, словно отпевая полководца.

Державин глядел на ущербную луну, бежавшую за тучами, и горькие строки складывались в стихи:

*Что ты заводишь песню военну,  
Флейте подобно, милый Снигирь?  
С кем мы пойдем войной на гиену?  
Кто теперь вождь наш? кто богатырь?  
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?  
Северны громы в гробе лежат.*

*Кто перед ратью будет, пылая,  
Ездить на кляче, есть сухари;  
В стуже и зное меч закаляя,  
Спать на соломе, бдеть до зари;  
Тысячи воинств, стен и затворов,  
С горстью Россиян все побеждать?..*

*Нет теперь мужа в свете столь славна:  
Полно петь песню военну, Снигирь!  
Бранна музыка днесь не забавна,  
Слышен отвсяду томный вой лир;  
Львинова сердца, крыльев орлиных,  
Нет уже с нами! — Что воевать?*

## Глава десятая

# «ПОКОЮ, МОЙ КАПНИСТ! ПОКОЮ...»



*Власть тогда моя высока,  
Коль я власти не ищу.*

*Державин. Свобода*

В соответствии с именным повелением Павла I Державин отправился в июне 1800 года в Белоруссию. Поручение было серьезным. «По дошедшему до нас сведению, что в Белорусской губернии недостаток в хлебе и некоторые помещики из безмерного корыстолюбия оставляют крестьян своих без помощи к прокормлению, — писал император, — поручаем вам изыскать о таковых помещиках... и оных имения отобрав, отдать под опеку и распоряжением оной снабжать крестьян из господского

хлеба, а в случае недостатка заимствовать оный для них на счет помещиков из сельских магазейнов».

Правда, сам Державин видел щекотливость возложенной на него задачи в том, что читалось между строк. Не одна забота о голодающих поселянах двигала помыслами государя. После необдуманно щедрой раздачи казенных дворцовых крестьян от Державина ожидалось отобрание в казну возможно большего числа имений. Значит, жди после поездки письменных наветов — на радость твоим могущественным питербурхским недругам.

Ах, сколько он перенес за эти последние годы от дворских шиканов! Как они его облаивали и поносили! Нажил неудобную славу обличителя и грозы вельмож. Но зато и репутацию честного человека. Суворов называл его Аристидом. Любление правды и бескорыстие сделали поэта желанным третейским судьей по спорным имущественным делам. Он гордился множеством полюбовно оконченных споров, не страшась, шел против любимцев Павла — Кутайсова и Палена и даже против воли самого императора. Работы было столько, что с 1800 года Державин понужден был пристроить к своему дому несколько помещений, где рассадил писарей и вел прием по делам опеки и совестного суда. Ему было доверено восемь опеков над именьями — графа Чернышова, князей Гагарина и Голицына, Зорича.

И вот, можно сказать, самая крупная опека — надо всем Белорусским краем!

Голод часто гулял по этим землям. Поселяне питались пареною травою, ели щавель, снить, лебеду, сварив оные или поморя в горшках густо, наподобие каши, с пересыпкою самым малым количеством муки или круп.

Стоял июнь, и земля расселась от засухи. Кругом все что-то потрескивало, попискивало, — словно сама природа жаловалась на недостаток воды. Из кареты Державин оглядывал поля — сколько пустошей и огрехов! Но подступали к самой колесной оси глухие белорусские леса, и великая тишина обнимала путников. Только тикал равномерно дятел, и бежал, бежал бесконечный, убитый посредством езды и ходьбы шлях на запад...

Под Витебском пошли деревни, принадлежащие великому гетману литовскому графу Огинскому. На дороге повсюду прошки, побирохи. На избах и от соломенных стрех остались одни клочья — за зиму скормили скотине.

При спуске в суходол Державин приметил на обочине лохмотья

сермяги. Мертвое тело? Он послал разведать Кондратия. Верный камердинер, сидевший рядом с кучером, кряхтя, полез с облук. «Ах, стареет, стареет мой Кондратий!» — с грустью подумал Державин, глядя на совершенно уже белый затылок слуги.

— Мертвяк. А ударного знака на нем нет! — сообщил камердинер. — Тело опухло и заскорбло струпьями.

— Помер, бедолага, с голоду! — шепетливо откликнулся Державин. — Сейчас остановимся в ближней деревне и учиним обход по избам.

Кондратий поддел сапогом небольшую стеклянную посудину; она хрупнула с сухим треском. Камердинер наморщил нос:

— Полугар. Хлебное вино. Так, вишь, до дому-то и не донес!..

Целый день сенатор в сопровождении Кондратия ходил по избам. От пареной травы крестьяне были так тощи и бледны, как мертвецы, а у некоторых показывалась уже опухоль на лицах. Хлеба ни у кого не было, зато Державин приметил у иных хозяев в некрашенных грубых посудниках бутылки с остатками сивухи. Чудно! Откудова быть полугарному вину у голодающих, кои и на поддержание живота своего не имеют хлеба?

В одной избе при виде важных господ в ужасе метнулась за занавеску худая крестьянка в поневе, кормившая грудью дитя. Запечье было полно оголодавших ребятишек. Лишь один, седьмой по счету, весело ползал по щелявому полу, не обращая на вельможу ровно никакого внимания. «Экий телепень первогодок! — с удовольствием подумал Державин. — Вот каковым надо и остальным быть: здоров, крепок. Только куда уж им! Чать, у этого закваска богатыря! Наперекор голоду растет!»

Степенный хозяин рассказывал:

— Все едят траву. А уж половый хлеб — праздник. Даже в урожай мякину добавляют...

— Как же народ держится? — Державин, худощавый, высокий, в сенаторском мундире при звездах, волнуясь, ходил по убогой горенке.

— Спасаемся, чем придется. Да хоть вот...

Мужик вывалил из горшка на стол отваренные сыроеги:

— Живем, чем лес подарит...

Кондратий меж тем принес круглый аржаной каравай и начал по кусочку скармливать ребятишкам, приговаривая:

— Не жадничайте! Животы сведет, колики пойдут. Ешьте помалу, ешьте. Не глотайте целком. Ишь, голодные цыплята подняли цык!

Явился приказчик Огинского, узнавший о приезде вельможи из самого Питербурха. При его виде крестьянин страшливо вжал голову в плечи.

— Для чего, ответь мне, поселяне доведены до такого жалостного

состояния? — укорно встретил его Державин. — И пошто им не ссужают вовсе хлеба?

Тот вместо ответа вынул из-за обшлага бумагу и протянул сенатору. Это было повеление Огинского непременно собрать с крепостных по три рубля серебром — вместо подвод, обычно посылаемых в Ригу для нужд гетмана.

— Вот, ваше высокопревосходительство, — сказал приказчик, — ежели б и нашлись у кого какие деньжонки на покупку пропитания, то вместо того должны были б исполнить господскую сию повинность!

— Так это же немилосердное сдирство! — возмутился Державин.

Отказавшись заночевать в доме приказчика, сенатор отправился дальше.

И ночью не выпало ничего, сухорось. Прикрыв ноги полостью, сотканной из мочал, Державин решал: «Разведать, у кого из богатых владельцев есть хлеб, распечатать хлебные магазейны, взять муки заимообразно на основании указа Петра Великого и распределить среди бедных. Но поселянам Огинского и этого мало! Еще не известно, не отымут ли сей хлеб по приказу жестокосердого господина приказчики в счет уплаты денег. Нет, тут надобно поступать круче!»

Державин порешил властью, данной ему императором, взять имения Огинского в опеку, за счет помещика закупить хлеб и раздать его крестьянам.

Пополох, вызванный этой решительной мерой, среди местных дворян, верно, оказал некое действие. Следуя к местечку Лёзне, сенатор обнаружил, что в селениях помещика Дроздовского крестьяне уже получили небольшое снабжение от своего господина рожью. Но именно в Лёзне, в сорока верстах от Витебска Державин впервые ощутил размеры еще одного бедствия, не менее опасного для белорусских поселян, чем неурожай и панское тиранство.

Посреди дороги лежал мертвецки пьяный тощий мужик. Другой питух притулился у забора. Из невзрачной избенки неслись визгливые звуки скрипицы — старался какой-то неискусный пиликало.

Нагнувшись, чтоб не задеть головой о низкую ободверину, сенатор вошел в шинок. Видимо-невидимо питухов сидело и валялось по лавкам. Наперекор скрипице заунывно тянул песню ражий парень в драной гуньке:

*Хмялинушка в головушке бродить,  
Бродить, бродить, да вон ня выходить...*

Глядя на него, ухмылялась дородная губастая плеха за стойкой. Тщедушный мужичонка, показывая на парня, о чем-то упрасивал шинкарку. Та наконец налила ему две чарки хлебного вина и вынула для записи долговую тетрадь. Мужичонка, пошатываясь, понес парню угощение.

— Повадил земляка ходить в кабак... — сказал Кондратий, стоявший позади Державина.

При виде вельможи шинкарка переменилась в лице, кланяясь, начала звать его в чистую комнату. Прибежал и ее муж, плешак в грязном лапсердаке, и тоже кланялся, почесываясь, ровно чувствовал свербез во всем теле.

— Видно, вместе шашничают. Да! Шинкарями поселяне сии споены с кругу! — сквозь зубы процедил Державин и быстро вышел из злачного места.

«Кому выгодно, чтобы целый народ спивался?» — повторял сенатор в карете.

Он начал примечать, как много на пути противузаконно устроенных шинков и винокурень. Помещики вошли повсеместно в выгодный для обеих сторон сговор с факторами, винокурами, шинкарями. По их преступному соглашению крестьянину возбранялось покупать на стороне все нужное и продавать избытки хлеба иному, кроме корчмарей. Те же, сбывая им товары втрое дороже и покупая у них хлеб втрое дешевле истинных цен, обогащались барышами и доводили поселян до нищеты.

Остановившись на ночлег, Державин записывал результаты своих наблюдений: «Сии корчмы ничто иное суть, как сильный соблазн для простого народа. В них крестьяне развращают свои нравы, делаются гуляками и нерадетельными к работам. Там выманивают у них не токмо насущный хлеб, но и в земле посеянный, хлебопашенные орудия, имущество, время, здоровье и самую жизнь... Сие злоупотребление усугубляет обычай, так называемый коледа, посредством коей винокуры и шинкари, ездя по деревням, а особливо осенью при собрании жатвы, и напоив крестьян со всеми их семействами, собирают с них долги свои и похищают последнее нужное их пропитание...»

Еще одна беда: предприимчивые факторы вывозят хлеб за кордон и возвращают его уже в виде вина, снова для спаивания поселян. В продолжение пути Державин стретил около ста повозок с рожью, закупленной местными коммерсантами в Кричеве, Мстиславле и других местечках для отправления в Ригу и Минск и затем за границу. Видя в этом прямое нарушение закона, сенатор приказал за счет владельцев снабжать



этим хлебом наиболее нуждающихся крестьян.

Назавтра Державин обнаружил в имении помещика Храповицкого незаконное винокурение, производимое жителями местечка. С поликой поймал, куда уж больше! Осерчав на тех, кто скопом, и сговором, и всяческими корыстными умышлениями лишал крестьян их пропитания, сенатор самолично запечатал винокурню, а котлы и прочую посуду отдал под присмотр.

В Шклове к вельможе явилась депутация от местечек во главе с фактором при помещике Зориче Ноткиным — круглолицым, с покатыми плечами и, чувствовалось, недюжинной физической силой. Ноткин поднес Державину собственную оду в честь восшествия на престол — Императора Павла, но сенатор встретил его угрозливыми вопросами:

— Вы долго будете дурманить водкою крестьян-бедняков? Долго шинки будут, как чума, опустошать белорусскую землю?

Ноткин не смутился. Он сочувственно закивал головой, с горестной улыбкой соглашаясь с доводами сенатора. Не улыбались только его темные и как бы непрозрачные глаза.

Державин наметил широкий и последовательный план спасения белорусов от хронического голода. Он послал с дороги подробный доклад о предпринятых в крае мерах Павлу и генерал-прокурору Петру Хрисанфовичу Оболянинову, который не раз способствовал смягчению крутости императора и заботился о беспристрастности в судах. Ответ был милостивым: Державину было пожаловано две награды разом — чин действительного тайного советника и почетный командорский крест святого Иоанна Иерусалимского.

Почти полгода, с июня по октябрь, провел сенатор в Белоруссии, изучая подробно условия жизни, быт, промыслы местечек и деревень, и начал составлять обширную записку о положении края и причинах голода среди крестьян. Видя опасный для простого народа сговор помещиков с винокурами и корчмарями, порешил он внести предложение о преобразовании края и переселении в другие части России нетрудового люда, как-то: так называемой панцырной шляхты, составлявшей многочисленное окружение богатых магнатов, и факторов, винокуров, шинкарей, перекупщиков, истощавших белорусских поселян.

Между тем местные дворяне, недовольные тем, что Державин велел им крестьян своих кормить и наложил опеку на имение Огинского, пробудились от дремучки и послали на сенатора оклеветание Павлу, стараясь встревожить его опасностью народного мятежа. Но, к их удивлению, эти письма вызвали у пылкого императора приступ гнева

против самих авторов. Он уже приказал военным начальникам, находящимся с полками в Полоцке, действовать против шляхты, и лишь Державин представлениями своими успокоил государя.

Исполнением сих нелегких комиссий сенатор приобрел у Павла великое уважение и доверенность. На возвратном пути он заехал в резиденцию государя Гатчино и остановился у генерал-прокурора Оболянинова в скромном и строгом по архитектуре Большом Гатчинском дворце. Здесь все было непохоже на любимые постройки покойной Екатерины II: не имелось ни пышных украшений на фасадах, ни многочисленных статуй на фронтонах и аттиках, ни «вздыхающих кариатид», представляющих печальный вид мучимого и страдающего человечества. Язык камня выражал и утверждал павловский дух, как и язык его указов.

Оболянинов, остролицый, с анненской звездой и знаками французского королевского ордена святого Лазаря, провел Державина в свои комнаты роскошной, бело-золотой готической галереей. Здесь он объявил сенатору, что Павел возвел его в должность президента коммерц-коллегии.

— По какой причине пал на меня сей выбор? — удивился Державин.

— Предместник ваш, князь Гагарин, — отвечал генерал-прокурор, — подозревается государем в покровительстве англичанам, коих его величество терпеть не может. Не имея к нему больше доверенности, государь нашел достойным вас.

— Но где же Гагарин? — сказал Державин, памятуя, что речь идет о близком лице любовницы императора.

— Сделан министром коммерции. А вы президентом с полной доверенностью.

— В чем же состоит та доверенность? — унимая раздражение, осведомился сенатор.

Оболянинов предложил ему печатную инструкцию. Быстро прочтя ее, Державин, все более разгораясь, стал рассуждать:

— Петр Хрисанфович, что же это получается? Министр управляет коммерцией, определяет и отрешает чиновников, смотрит за таможенями, делает предписания консулам, составляет торговые трактаты и тарифы. Он определяет все это коллегии, и та его распоряжения исполняет. А мне что остается?

В запалке Державин говорил быстро и сбивчиво — знал за собою, что шепелон, шепетун, но утишить речь свою для придания ей большей внятности уже не мог. Не владел собою.

— Я не что иное, как рогожная чучела, которую будут набивать бумагами! — горячо продолжал Державин. — А голова, руки и ноги, действующие коммерциею, — князь Гагарин!

И без того острый нос Обольянинова при сих словах вытянулся. Он со страхом отвечивал:

— Так угодно было государю...

С той поры Павел выказывал Державину свою доверенность на отдалении. Один за другим ложились на стол сенатора милостивые рескрипты.

20 ноября 1800 года он вошел в совет Екатерининского и Смольного благородных институтов.

21 ноября был назначен «вторым министром при государственном казначействе», где первым был А. И. Васильев.

22 ноября Васильева вовсе отстранили от службы, а Державина назначили государственным казначеем.

27 ноября ему определили ежегодно шесть тысяч рублей столовых денег.

Однако когда Державин испросил разрешения лично доложить государю о результатах поездки в Белоруссию, Павел отказал ему, ответив Обольянинову:

— Он горяч, да и я! Так мы, пожалуй, опять поссоримся. Пусть уж его доклады ко мне идут через тебя...

## 2

Поток императорских милостей не мог усыпить Державина, знающего переменчивый характер Павла и недоброжелательство к себе вельмож. Теперь к числу явных недоброхотов приосоединился еще и граф Кутайсов, возмечтавший прибрать к рукам богатейшее имение Зорича в Шклове.

Сей Зорич, родом серб, своей броской южной красотою обратил на себя внимание Екатерины II и с июня 777-го по май 778-го года был ее фаворитом. Императрица пожаловала ему бывшее имение Чарторижских в Шклове. В русской военной истории имя Зорича останется: он организовал в Шклове для детей бедных, но благородных родителей школу, послужившую основанием первому в стране кадетскому корпусу, переведенному впоследствии в Москву.

Однажды в питербурхский дом поэта на Фонтанке явился Перетц, известный в столице тем, что держал в руках питейные и соляные откупа.

Посверкивая умными черными глазами и поглаживая свою ассирийскую бороду, он обиняками зачал убеждать Державина помочь Кутайсову в приобретении шкловского имения.

— Верьте моему слову, ваше высокопревосходительство, — закатывая глаза, говорил Перетц, — и пусть мне бог пошлет тысячу болячек, если это не так! Вам обещано в случае удачи две тысячи душек и орден святого Андрея Первозванного...

Державин хорошо понимал, что прямо отказать Кутайсову он не может, но и не желал входить в сделку с вельможей.

— Передайте его сиятельству, что я прошу его обождать, — сказал он откупщику. — Имение вот-вот пойдет па торги, и тогда все будет зависеть только от вас...

Перетц посверкал глазами, молвил: «Хм, хм!» — и с тем удалился. Но вскорости через Кутайсова Павлу была передана жалоба на Державина жены некоего винокура. Бывший брадобрей, видать, вошел в сговор с теми, кто решил, оклеветав сенатора, замарать его в мыслях государя и лишить доверенности к мнению его, высказанному о положении в Белорусском крае. Жалобщица показывала, будто Державин на винокуренном заводе в Лёзне смертельно оттузил ее палкой, отчего она, будучи чревата, выкинула мертвого младенца. Когда обер-прокурор показал Державину объявленный генерал-прокурором именной указ, чтоб по тому доносу сенат учинил рассмотрение, Державин вспыхнул и взбесился до сумасшествия.

— Как? — закричал он во весь голос. — Здесь не законы управляют и не воля императора, но прихоть Кутайсова! Внимать клевете какой-то скурехи, когда все мои поступки в Белоруссии апробированы уже рескриптом государя, и придавать меня суду? Нет! Я немедленно еду к императору, и пусть меня посадят в крепость, а я докажу глупость объявления таких указов, прежде чем отвечать на явную подлость и клевету!..

Напрасно сенаторы, схватя его за полу, дергали и унимали, чтоб перестал горячиться, — он не мог вдруг преодолеть своей запальчивости. Но, выбежав на крыльцо, столкнулся со старым своим знакомым Иваном Семеновичем Захаровым, служившим в царствование Екатерины II при банке, а ныне ставшим сенатором.

— Батюшка, Иван Семенович! — попросил его Державин. — Помогите хоть ты мне! Сядь со мной в карету да проедься несколько по городу, чтоб я поостыл!

В продолжение более двух часов Захаров всячески успокаивал поэта.

— Пойми, Иван Семенович, как мне оправдываться, ежели я, быв на

том заводе с четверть часа, не токмо никакой женщины не бил, но даже в глаза не видел! — постепенно успокаиваясь, жаловался Державин.

— Не мне вас учить, Гаврила Романович! — отвечал Захаров. — Но мой вам добрый совет: плюньте вы на все это дело и не давайте вашей записке хода. Что вам, спокойная жизнь надоела? Эти факторы, винокуры, шинкари всякого оцыганят. А коли у них спайка с белорусскою шляхтой, так и того пуще: ожидайте новых каверз. И опасных паки и паки...

Державин сам понимал рискованность своей затеи но не в его характере было отступать. Белорусы, смирные, добродушные, обывлые к голоду, недороду, угнетению, нуждаются в его защите. Значит, они ее найдут. Не только огурь, упрямство несносное говорит в нем. Опасно? Опасно. А рази не опасно было, когда он шел против Вяземского, Завадовского, Гудовича, Тутолмина?

Он поблагодарил Захарова, простился с ним и крикнул кучеру:

— Гони к генерал-прокурору!

Обольянинов, сведавший уже о его чрезвычайном огорчении, бросился навстречу Державину, целовал даже его руки, прося успокоиться, доказывая, что объявленный им указ ничего не значит и клевете не будет дано хода.

— Нет, ваше превосходительство! — возразил Державин. — Я писал указы и знаю, как их писать. Когда велено рассмотреть нелепую сию просьбу, то само по себе разумеется, что с меня против оной надобно взять объяснение и решить по законам — стало быть, судить!

— Но как же этому помочь? — растерялся генерал-прокурор.

— Поедьте со мной к императору! Пусть уж он сам рассудит и отменит неосторожный сей указ!

— Пошто так далеко ходить? — с робостию в голосе возразил Обольянинов. — Нет ли средства самим нам поправить?

— Но записаны ли в сенате, — снова разгораясь, заговорил Державин, — все высочайшие повеления и собственноручный рескрипт государя императора, которым одобрены действия в Белорусской губернии? Ведь на них более трех месяцев жалобы ни от кого не было! Как вы могли против воли государственных благоволений поверить такой сумасбродной и неистовой жалобе и по ней докладывать?

— Нет, — упнул глаза в землю генерал-прокурор, — благоволения, мною вам объявленные, и рескрипт в сенате не записаны.

— Так объявите их! — молвил Державин. — Или я сам объявлю их прежде, нежели по жалобе сей докладовано будет. А когда они запишутся, тогда, наведя о них справку, можете ими отвергнуть возведенную на меня

напраслину.

Так и порешили, а клеветника, сочинившего кляузу от имени жены винокура, отыскав, приговорили за дерзость в смиренный дом. По восшествии на престол нового императора Державин сам исходатайствовал тому жителю Лёзны свободу.

### 3

Воцарение Александра I было воспринято русским обществом как начало радостного обновления, как приход весны после суровых холодов правления Павла, как обещание благодатных перемен во всех звеньях государственной жизни. Молодой обаятельный император, ученик республиканца Лагарпа, не скупился на обещания, а его друзья-ровесники — Чарторижский, Кочубей, Строганов, Новосильцев — пылко мечтали облегчить участь крестьянства. Несмотря на мрачную тень подозрений о соучастии в убийстве отца, Александр сделался кумиром дворянства. Его вступление на престол привело в движение перья стихотворцев. Запели старые и молодые — Херасков, Мерзляков, Карамзин, Измайлов, Озеров, Шишков:

*На троне Александр! Велик российский бог!  
Ликует весь народ, и церковь и чертог,  
Твердят Россияне и сердцем, и устами:  
На троне Александр! Рука господня с нами!*

Как было смолчать Державину? Его громкий голос заглушил прочие; ода «На восшествие на престол императора Александра I» переписывалась и выучивалась наизусть.

В сенате Троцинский, занявший видный пост докладчика при Александре I, отозвал Державина в сторону и передал ему, что государь приказал, чтоб он не только не печатал свою оду, но и никому не давал с нее делать копии.

На всю жизнь, до гробовой доски запомнил новый император страшную ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда после ужина, проведенного с отцом, Александр одетый лежал на кровати и с трепетом ожидал результата заговора. А Державин с грубоватой прямоотой намекнул на совершившуюся катастрофу:

*Умолк рев Норда сиповатый,  
Закрылся грозный, страшный взгляд...*

— Верно, его величество приказал сказать мне о том не в сенате? — огорченно спросил поэт.

— Да! — отвечивал Трощинский. — Ежели б существовала Тайная канцелярия, тогда бы вам сказали это там. А мне ни времени, ни места не назначено...

Тайной канцелярии, действительно, уже не было. Александр совершенно уничтожил ее, даже не велел упоминать ее названия и восстановил, к великой радости дворянства, грамоту о его льготах, нарушенную отцом. Все Павловы строгости в отношении службы офицеров и чиновников были отменены, в обществе повсюду поговаривали о введении европейских свобод. В Государственном Совете, откудова Державин был выведен, теперь ворочали делами новый генерал-прокурор Беклешов, Трощинский и вызванный из деревень граф Александр Романович Воронцов.

Консерватор и старовер, Державин видел во всех сих переменах опасные для России новшества, идущие от окружения императора. Истый сын отошедшего уже XVIII века, он желал защитить крепость государства если не от самого государя, то от его ближних, и сочинил тотчас разошедшуюся надпись к портрету Александра I:

*Се образ ангельски любезныя души:  
Ах, если б вокруг него все были хороши!*

Вскорости последовал язвительный анонимный ответ, глубоко задевший старого поэта:

*Тебя в совете нам не надо:  
Паршивая овца все перепортит стадо.*

Нерешительный, слабовольный новый император колебался между старыми и молодыми вельможами, принимая сторону то одних, то других. Во время коронации в Москве он возложил на Державина орденские знаки святого Александра Невского и вскоре вызвал его для расследования

злоупотреблений и беспорядков, чинимых калужским губернатором Лопухиным.

Ознакомившись с делами и увидя, что Лопухина в его самодурстве и беззакониях поддерживают первые в государстве бояре — Беклешов и Трощинский, Державин попросил Александра I, чтоб тот избавил его от сей комиссии.

— Ваше величество, — говорил Державин, чувствуя, что и впрямь поубавилось в нем силенок, что усталость и сознание бесполезности борьбы все больше точат его, — из следствия сего ничего не выйдет... Труды мои будут напрасны, и я только возбужу на себя ненависть людей сильных, от клевет которых страдаю...

Легкая гримаса исказила матовое лицо императора — тучкой пробежал хорошо знакомый Державину Павлов гнев. Но тут же лицо разгладилось. Поэт вспомнил слова Екатерины II, оброненные ею о любимом внуке на балу, в последний год ее жизни: «Он хорош, мил, как ангел, да прост, как мать». Да, не по-женски умна была Екатерина! Вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила Александру свое простодушие, отсутствие грации и нерешительность.

Трудно было предвидеть в сем пылком, но робком правителе изворотливого и хитрого политика, каким его сделают обстоятельства через десятилетие.

— Как? Разве ты мне повиноваться не хочешь? — сказал император, стараясь придать больше металла своему голосу.

— Нет, ваше величество! — с твердостью возразил Державин. — Я готов исполнить волю вашу, хотя бы это мне жизни стоило. И правда пред вами на столе сем будет. Только... — он заволновался и стал говорить сбивчиво, срыву. — Только благоволите уметь ее защищать... Ибо все дела делаются через бояр... Екатерина и родитель ваш бывали ими беспрестанно обмануты... Хотя я по многим поручениям от них все, что честь и верность требовали, делал, но правда всегда оставалась в затмении, и я теперь презираем!..

— Что ты! — с уверительным видом возразил император. — Я клянусь тебе, поступлю, как должно...

Приехав без огласки в Калугу, будто бы для обозрения графини Брюсовой деревень, которые были у него в опеке, Державин открыл многие вины губернатора. Взятчик, вымогатель, тиран. Выпросил у бумажного фабриканта Гончарова заимообразно тридцать тысяч рублей, а затем приехал к нему в деревню и, придравшись к слухам, будто у него в доме происходит запрещенная карточная игра, грозил ссылкой в Сибирь.



Напрасно бедняга клятвенно уверял, что у него азартных игр никаких не было, а игрывал он с женою и домашними иногда в банчок для препровождения времени по вечерам на мелкие деньги, — ничто не помогало. Лопухин велел сказать, что ежели он уничтожит вексель и не будет от него денег требовать, то и дело прекратит. Гончаров понужден был повиноваться.

Обнаружились и другие злоупотребления Лопухина — в покровительстве смертоубийства за взятки, в разорении чугунного завода купца Засыпкина и прочие неистовые, мерзкие и мучительские поступки в соучастии с архиереем. А буйства и беспутства, изъявляющие развращенные нравы сего вельможи! Напившись пьян, он выбивал по улицам окны, вводил в торжественное благородное собрание публичную распутную девку-француженку, в губернском правлении при всех служителях ездил верхом на раздьяконе, приговаривая разные прибаутки и похабные слова.

Подробный отчет лег на стол Александра I. Но не дремал и Лопухин, обвинивший Державина в жестоком ведении следствия. Царь колебался, назначил целую комиссию для расследования, и в результате Лопухин не понес никакого наказания, а был просто отстранен от службы.

Последней попыткой послужить государству было принятие Державиным поста министра юстиции. В сентябре 1802 года указом о создании министерств и упразднении коллегий завершилась давно подготавливаемая реформа административного управления. Министрами стали деятели предшествующих царствований: военных дел — С. К. Вязмитинов, морских — Н. С. Мордвинов, иностранных дел — А. Р. Воронцов, финансов — А. И. Васильев, просвещения — П. В. Завадовский, коммерции — Н. П. Румянцев. Молодые друзья Александра I заняли должности товарищей министров; только В. П. Кочубей получил в управление внутренние дела империи.

Не одобряя новой реформы, Державин с обычным жаром принялся за дела. Но сразу же начались разногласия как с вельможами своего поколения, так и с кружком молодых друзей царя. Вскоре он резко разошелся во мнении с большинством сената относительно установления сроков военной службы дворян.

Не одобрял он и указа о вольных хлебопашцах, вступившего в силу в 1802 году, считая, что о вольности крестьян вообще говорить рано. Освободить крестьян? Заставить их выкупать принадлежащую помещику землю? А как установить оплату? Предлагалось передавать дело в спорных вопросах в суд. Но правосудие в Российской империи в руках дворянства.

Что же дворянин, судья своего собрата, будет осуждать сам себя? Из этого выйдет лишь подготовленное беззаконие: будут обвиняемы крестьяне и обращены по этому указу в прежнее их крепостное состояние или тягчайшее рабство, потому что помещик за причиненные ему хлопоты и убытки будет мстить. Нет уж, ежели какой помещик хочет облегчить участь своих крестьян, — размышлял Державин, пусть поступает, как почтенный адмирал Шишков. Сей в течение десятка лет не брал с собственных крепостных ни полушки оброку, живя на одном жалованье...

Державин видел, что Александр I относится к нему с холодностью и не принимает его предложений. Одно из них, подготовленное еще в 1800 году, было изложено сенатором в обширной записке «Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев». Особый комитет, составленный из Чарторижского, Потоцкого и Валериана Зубова, рассматривал державинский проект, по которому корчмарям и винокурам воспрещалось изготовление и продажа вина поселянам. Для трудовой еврейской бедноты — ремесленников, портных, ямщиков-бала-гул проект этот не сулил никаких неприятностей и неудобств. Их гроши оставались при них. Зато пришла в ярость местная буржуазия, наживавшаяся на бедах белорусского народа.

Причем шинкари и ростовщики попытались придать своим действиям вид некой «священной войны» против Державина.

В руки могилевского помещика Гурко попало письмо одного из местных факторов к их поверенному в Питербурхе. Как рассказывает сам поэт в своих «Записках», в письме говорилось, «что они (еврейская буржуазия. — О. М.) на Державина, яко на гонителя, по всем кагалам в свете наложили херим или проклятие, что на подарки по сему делу собрали 1 000 000 послали в Петербург, и просят приложить всевозможное старание о смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя покуситься на его жизнь, на что и полагается сроку до трех лет...».

В самом комитете Чарторижский и Потоцкий выступили против Державина и, защищая интересы шляхты, нуждавшейся в посредниках, арендаторах, факторах и шинкарях, обвинили его в недоброжелательстве к полякам.

— О какой моей пристрастности может идти речь? — возмущался Державин. — Спомните, как в царствование покойного Павла я заступился за несчастных польских патриотов!..

Действительно, в 798-м году по уведомлению Виленского губернатора, что тамошние обыватели делают потаенные стачки, неблагоприятные для России, Павел по крутому своему нраву приказал таковых заговорщиков

ловить, допрашивать в тайной канцелярии и предавать суду сената. Их обвиняли изменою и по российским законам приговаривали на вечную каторгу в Сибирь. Державин тогда спросил Макарова, руководившего тайной канцелярией: «Виноваты ли были Пожарский, Минин и Палицын, что они, желая избавить Россию от рабства польского, учинили между собою союз и свергли с себя иностранное иго?» — «Нет, — отвечивал Макаров, — они не токмо не виноваты, но всякой похвалы и нашей благодарности достойны». — «Почему же так строго обвиняются сии несчастные? Чтобы сделать истинно верноподданными завоеванный народ, надобно прежде привлечь его сердце правосудием и благодеяниями. Итак, по моему мнению, пусть они думают и говорят о спасении своего отечества, как хотят, но только к самому действию не подступают, за чем нашему правительству прилежно наблюдать должно и до того их не допускать кроткими и благоразумными средствами, а не казнить и не посылать всех в ссылку. Ибо всей Польши ни переказнить, ни заслать в заточение не можно...» На другой день, стретя Державина во дворце, тогдашний генерал-прокурор князь Куракин, улыбаясь, сказал, что государь приказал ему не умничать. А между тем поползли слухи о том, что судьба арестованных облегчена и более не приказано забирать и привозить в Питербурх поляков в тайную канцелярию.

Но кто подписывал в числе прочих сенаторов им тяжкие приговоры? Тот же самый Северин Осипович Потоцкий, который теперь упрекает Державина в недоброжелательстве к полякам!..

Пока в комитете спорили, юркий коммерсант Ноткин, который был в доверенности у Державина и подавал разные проекты о благоустройстве местечек и учреждении там фабрик, пришел в один день к нему на прием и посоветовал не идти против общего мнения.

— Надо вам согласиться с Чарторижским и Потоцким, — ласково улыбаясь, убеждал он министра, — и принять сто, а ежели мало, то и двести тысяч рублей...

Державин был поражен. Как на последнюю меру решился он отправиться к государю в надежде, что тот, увидя все эти происки, примет его сторону.

Александр I жестоко колебался, не знал, что сказать, и, когда Державин прямо спросил его, принять ли деньги, предложенные Ноткиным, в замешательстве отвечал:

— Погоди, я тебе скажу, когда и что надобно будет делать!

Участь Державина-министра была предрешена. В начале октября месяца 1803 года, испросив у Александра I аудиенцию, он в своем

пространном и горячем объяснении спрашивал, в чем пред ним провинился. Император ничего не мог сказать к обвинению его, как только:

— Ты очень ревностно служишь...

— А как так, государь, то я иначе служить не могу. Простите!

— Оставайся в совете и в сенате... — предложил Александр.

— Мне нечего там делать! — возразил Державин.

Помолчав, царь сказал холодно:

— Тогда подайте просьбу о увольнении вас от должности юстиц-министра.

#### 4

Державин давно подумывал о том, что приходит пора расстаться со служебными тяготами и предаться целиком удовольствию литературной работы, хозяйствования, скромным радостям частного человека. Еще в 797-году обратился он к Капнисту со стихами, в которых прозвучала жалоба на усталость и разочарование результатами долгой службы:

*Покою, мой Капнист! покою,  
Которого нельзя купить  
Казной серебряной, златою,  
И багрянницей заменить.  
Сокровищами вся вселенной  
Не может от души смятенной  
И самый царь отгнать забот,  
Толпящихся вокруг ворот.  
Счастлив тот, у кого на стол  
Хоть не роскошный, но опрятный,  
Родительские хлеб и соль  
Поставлены, и сон приятный  
Когда не отнят у кого  
Ни страхом, ни стяжаньем подлым:  
Кто малым может быть довольным,  
Богаче Креза самого.*

В том же 797-м году, на деньги, полученные в приданое Дарьей — Алексеевной, Державин приобрел сельцо Званку, лежащее на левом берегу Волхова, в 55 верстах водою от Новгорода.

Имение было небольшим, сильно запущенным, и Дарья Алексеевна приложила немало сил и стараний, дабы привести его в порядок. Берега

Волхова от Новгорода низки и ровны, но в районе Званки земля подымалась довольно круто длинным, овальным холмом. Посередине его возвышалась усадьба. Фасад ее к реке украсили балконом на столбах и каменной лестницей, перед которою бил фонтан. Снизу, по уступам холма, был устроен покойный всход, высажены цветы. Полюбив эти места, Державин стал проводить в Званке каждое лето, наслаждаясь созерцанием природы и отдаваясь литературному труду. В начале июля в Званку собирались ко дню рождения Державина многочисленные гости.

*Стекл заревом горит мой храмовидный дом,  
На гору желтый всход меж роз осиявая,  
Где встречу водомет шумит лучей дождем,  
Звучит музыка духовая...*

Несмотря на практический ум жены, ее расчетливость и немалые хозяйственные способности, а также крупное жалование, Державин часто нуждался. Оба питербурхских дома были заложены, а две драгоценные табакерки, пожалованные Павлом за оды, пришлось продать. Причина таилась в самом характере Державина. Он доверчиво относился к обманывавшим его управляющим, всегда жил хлебосолом, широко, не по средствам — дом был открыт для всех, радушно принимал близких и давал им место под своим кровом, воспитывал дочерей Н. А. Львова, заботился о живших у него трех сестрах Бакуниных, помогал детям Капниста, Блудова, Гасвицкого.

Тяга к домашней жизни возрастала вместе с усилением недовольства и разочарования государственной службой, в которой он до сих пор видел главный смысл существования. Одновременно менялся заметно строй и лад его лиры. Поэт не находил вокруг себя живых героев, возбуждающих его музу.

Оставались вечные радости бытия: любовь, природа, картины сельского труда и его плоды, вечный круговорот и обновление жизни.

За пять лет до отставки, в легких изящных по стилю стихах, обозначенных «К самому себе», Державин подвел горький итог своему неукротимому, но, увы, часто бесплодному борению за правду и справедливость:

*Что мне, что мне суетиться,  
Вьючить бремя должностей,*

Если мир за то бранится,  
Что иду прямой стезей?  
Пусть другие работают, —  
Много мудрых есть господ:  
И себя не забывают,  
И царям сулят доход.  
Но я тем коль бесполезен,  
Что горяч и в правде черт, —  
Музам, женищинам любезен  
Может пылкий быть Эрот.  
Стану ныне с ним водиться,  
Сладко есть и пить и спать:  
Лучше, лучше мне лениться,  
Чем злодеев наживать.  
Полно быть в делах горячим,  
Буду лишь у правды гость;  
Тонким сделаюсь подъячим,  
Растворю пошире горсть.  
Утром раза три в неделю  
С милой Музой порезвлюсь;  
Там опять пойду в постелю  
И с женою обнимусь.

Стихи эти были навеяны Анакреоном. Веселый и беспечный греческий поэт, живший за две с лишним тысячи лет до Державина и все время кочевавший от одного властителя к другому, воспевал умеренную чувственность, товарищеские пирушки и безбурную любовь. Впрочем, от самого Анакреона сохранились лишь небольшие отрывки; он был известен более по подражаниям поздних греческих поэтов. В анакреонтическом духе писали, и с блеском, Ломоносов, Сумароков, Херасков, а позднее — Батюшков, Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Языков.

Державина натолкнули на стихи в сем новом для него роде сперва Львов, издавший в 1794-м году переводы произведений теосского (или, как говорили тогда, тииского) певца вместе с греческим текстом, а затем — Эмин, напечатавший книжечку «Подражания древним». Но Державин писал не просто подражания. Сила его гения проявилась как раз в оригинальности и новизне стихов. Впервые в отечественной литературе он смело ввел в анакреонтические по духу песни национальный и

реалистический колорит. Это был уже шаг к новой поэзии.

В привычный для Анакреона и его подражателей круг — Венеры-Киприды, Амура, граций и бога вина Бахуса, в условно декоративный мир укромных гротов, таинственных уголков леса, журчащих ручейков, где порхает Эрот, вторглась сочная русская природа, в пляске закружились крестьянские девушки, появились пожилые поселяне и вельможи, загремели в кустах соловьи, зашуршали под ногами красно-желтые листья осени, дружеской свалкой разлеглись в избе, на сене охотники, вышел на нивы пахарь...

Насколько далеко ушел Державин от традиционных, несколько слащавых и кокетливых анакреонтических пасторалей, видно хотя бы на примере его стихотворения «Русские девушки»:

*Зрел ли ты, Певец Тииский!  
Как в лугу весной бычка  
Пляшут девушки Российски  
Под свирелью пастушка?  
Как, склонясь главами, ходят,  
Башмачками в лад стучат,  
Тихо руки, взор поводят  
И плечами говорят?..  
Как сквозь жилки голубые  
Льется розовая кровь,  
На ланитах огневые  
Ямки врезала любовь?*

Именно русские девушки, красота русской пляски привлекают поэта, и он с убежденностью обращается к Анакреону:

*Коль бы видел дев сих красных:  
Ты б Гречанок позабыл,  
И на крыльях сладострастных  
Твой Эрот прикован был.*

Стремясь идти в своей любовной лирике «за певцом тииским вслед», Державин, однако, слышит не звон греческих тимпанов и крики вакханок «Эван! Эвое!», но звуки балалайки или тихострунной гитары. Да и сами

героини его стихов — «Параше», «Варюше», «Лизе», «Похвала розе», «Любушке» — это обычные, вполне земные девушки: дочери Львова, сестры Бакунины. Здесь традиционные для греческой мифологии и поэзии XVIII века образы соседствуют с иными, взятыми из русской природы, русской жизни, родного фольклора.

Амур летит за девушкой — *«как за серебряной плотвицей линь золотой по дну бежит»*. Стрелок встретил *«лебедь белую»* под вечер своей жизни с пустым уже колчаном. В растерянности он *«стал в пень»* и вспомнил народную мудрость: *«Ах, беречь было монету белую на черный день»*.

Все это было ново и смело, невозможно для литературы отошедшего XVIII столетия. Век Екатерины II, отмеченный доходящей до цинизма чувственностью, создал, однако, литературу, замороженную в канонах обязательного словесного целомудрия. Правда, существовала эротическая традиция Баркова, отличавшегося откровенной непристойностью, но она принадлежала к литературе скабрёзной и существовавшей лишь в списках.

Любовная лирика Державина поражает изяществом, живостью разговорной, в блесках юмора речи, богатством инструментовки стиха. Продолжая размышления Ломоносова о богатстве русского языка, он писал в коротеньком предисловии к «Анакреонтическим песням», изданным в Питербурхе в 1804 году: «По любви к отечественному слову желал я показать его изобилие, гибкость, легкость, и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каковые в других языках едва ли находятся». В доказательство своей мысли он написал десять песенок, не употребив в них ни разу буквы «р». Одну из них положил на музыку и вставил в «Пиковую даму» Чайковский:

*Если б милые девицы  
Так могли летать, как птицы,  
И садились на сучках:  
Я желал бы быть сучочком,  
Чтобы тысячам девочкам  
На моих сидеть ветвях...*

Здесь все неподдельное. Даже в мелочах: как свидетельствует Даль, слово «девочки» обычно употреблялось с таким ударением в той Новгородской губернии, где находилась державинская Званка.

Тропой анакреонтических песен Державин вышел к новым для себя рубежам. Читающая публика восторженно приняла его сборник. Журнал



«Северный вестник» оповещал: «Желая известить публику о сем новом произведении лиры г. Державина, что можно сказать об нем нового? Державин есть наш Гораций — это известно; Державин наш Анакреон — и это не новость. Что ж новое? То, что в сей книжке содержится 71 песня, то есть 71 драгоценность, которые современниками и потомками его будут выучены наизусть и дышать будут гением его в отдаленнейших временах».

В «Анакреонтических песнях» стареющий художник явился не без отблесков прежнего таланта и с новой для него стихийною тягой к реализму. В еще большей степени это относится к написанному позднее обширному посланию «Евгению. Жизнь Званская».

Ученый пастырь Евгений Болховитинов был назначен в 1804 году старорусским епископом и новгородским викарием и переселился из Питербурха в Хутынский монастырь, находившийся в 60 верстах от Званки. Интересуясь историей литературы, он составил капитальные библиографические труды, биографические словари русских духовных и светских писателей. Познакомившись с Державиным через Д. И. Хвостова, преосвященный Евгений сблизился и подружился с хозяином Званки, не раз бывал у него. В память об одном из таких посещений в 1807 году Державин и написал свое послание.

Это хроника только одного дня, заполненного важными и неважными делами, и подсвеченная коротко печальными воспоминаниями и предчувствиями. Одновременно это подробная картина жизни и быта русской усадьбы в мельчайших деталях, оттенках, подробностях. Отставной министр, опальный сановник и бич вельмож гуляет по саду «между лилей и роз». Затем он рассказывает, как,

*...накормя моих пшеницей голубей,  
Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги;  
На разноперых птиц, поющих средь сетей,  
На кроющих, как снегом, луги...*

Приходит время завтрака, от дома веет запахом чая или кофе:

*Иду за круглый стол: и тут-то раздобар  
О снах, молве градской, крестьянской,  
О славных подвигах великих тех мужей,  
Чьи в рамах по стенам златых блистают лица...*

После завтрака хозяйка принимает дары поселян, гостям показывают полотна, сукна, узорные салфетки и скатерти, кружева и ковры — искусное крестьянское рукоделие. Приходит врач, докладывающий о состоянии маленькой званской больницы, является староста, отчитывающийся «с улыбкой, часто плутоватой». Сам хозяин удаляется в кабинет для писаний:

*Оттуда прихожу в святилище я муз,  
И с Флакком, Пиндаром, богов восседши в пире,  
К царям, к друзьям моим иль к небу возношусь,  
Иль славлю сельску жизнь на лире...*

Полдень — час обеда. Как не вспомнить гениальную пушкинскую «Осень» (эпиграф к которой поэт взял из «Жизни Званской»): «к привычкам бытия вновь чувствую любовь: чредой слетает сон, чредой находит голод...»

*Я озреваю стол, — и вижу разных блюд  
Цветник, поставленный узором:  
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,  
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,  
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером  
Там щука пестрая: — прекрасны!*

После еды — прогулка, катание на лодках, посещение прядильной фабрики и деревенской кузницы. Появляются картины природы, выписанные Державиным с живописной красочностью:

*Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн,  
Как дерн бугрит соха, злак трав падет косами,  
Серпами злато нив, — и ароматом полн  
Порхает ветер меж нимф рядами.  
Иль смотрим, как бежит иод черной тучей тень  
По копнам, по снопам, коврам желтозеленым,  
И сходит солнышко на нижнюю ступень  
К холмам и рощам синетемным.*

Восхищаясь природой, женской красотой, воспевая воинскую славу, отдавая дань величию государственных деятелей, Державин одновременно всегда думал и о преходящести всего сущего, о бренности бытия. В старости чувства эти утончились, приняли характер тихой грусти. Поэт со спокойной мудростью ожидает неизбежной смерти:

*Что жизнь ничтожная? моя скудельна лира!  
Увы! и даже прах спохнет с моих костей  
Сатурн крылами с тленна мира.  
Разрушится сей дом, засохнет бор и сад...*

Менее чем через полвека после кончины Державина Я. К. Грот, подвижник-исследователь, изучивший, издавший и прокомментировавший державинские труды, посетил Званку и увидел на месте усадьбы лишь груду кирпича. В своих печальных предсказаниях поэт — в который раз! — оказался провидцем. Спасение от забвения, по Державину, в слове. Заканчивая свое послание к Болховитинову, поэт выражает надежду, что тот разбудит потомков словами:

*«Здесь бога жил певец, Фелицы».*

## Глава одиннадцатая «РЕКА ВРЕМЕН»



*«Мое время прошло, теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин — это Пушкин, который уже в лице перецеголял всех писателей...»*

*Державин*

В кабинете было тепло. Но он сидел за столом посреди комнаты, натянув белый колпак и запахнувшись в беличий тулуп, обшитый синею шелковою материей. При виде его старчески бледного, угрюмого лица, склоненного над книгой, можно было подумать, что поэт размышляет о прочитанном. Но он спал. Незаметно для себя впал в дремоту, которая толь

часто подкрадывалась к нему. Спала и его любимая собачка Бибишка, пригревшаяся за пазухой и выставившая наружу лишь умненькую беленькую мордочку.

Меж тем юноша, румяный от принесенного в Питер Николой Зимним морозца, спрашивал у седого камердинера:

— Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?

— Пожалуйте-с, — отвечал Кондратий, указывая на деревянную лестницу.

— Но, голубчик, — умолял юноша, разволнованный от того, что увидит сейчас самого Державина, — нельзя ли доложить прежде, что вот приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят?

Кондратий махнул рукой:

— Ничего-с, пожалуйста... Енерал в кабинете один...

— Так проводи ж, голубчик!

— Ничего-с, извольте идти сами. Прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет — первая налево....

Жихарев пошел или, скорее, поплелся. Ноги под ним подгибались, руки тряслись, и весь он был сам не свой: его била лихорадка. Остановившись перед стеклянною дверью, занавешенною зеленою тафтой, он не знал, что делать — толкнуть ли дверь или дожждаться, что кто-нибудь войдет. Вдруг в коридоре появилась старшая дочь Львова, воспитывавшаяся вместе с двумя сестрами у Державина. Очаровательная восемнадцатилетняя Елисавета, ровесница гостя, приостановилась и добродушно спросила:

— Вы, верно, к дядюшке?

Жихарев мог только кивнуть в ответ головой.

— Так войдите, — и Елисавета без церемоний отворила дверь.

Ни сам Державин, ни даже его собачка не проснулись. Жихарев кашлянул. Поэт вздрогнул, зевнул и, поправив колпак, сказал, скрывая смущение:

— Извините, я так зачитался, что не заметил вас. Что вам угодно?

Жихарев объявил, что по приезде из Москвы в Питербурх он решил непременно посетить Державина и выразить искреннее уважение к его имени, а затем назвал себя.

— Так вы часом не родственник ли Степана Данилыча Жихарева? — оживился Державин, тотчас вспомнив давнего своего знакомого по тамбовскому губернаторству.

— Внук...

— Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу?  
— Державин не давал молодому человеку вставить слова. — Если так, то я могу попросить князя Петра Васильевича Лопухина и даже графа Николая Петровича Румянцева...

— Благодарю, ваше высокопревосходительство, — отвечал Жихарев.  
— Я уже получил назначение и ни в чем покамест надобности не имею, кроме вашей благосклонности...

Державин принялся расспрашивать юношу, где тот учился, чем занимался и каково состояние его семьи, но вдруг, спохватившись, сказал:

— Да что ж это вы стоите? Садитесь! Вам не жарко? А я, признаться, люблю, когда теплуга...

Жихарев взял стул и подсел к нему.

— А что это у вас под мышкой? Книга?

— Это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить вам, ежели она того стоит, — робея, отвечал тот.

— Трагедия? Прекрасно! Нам в нашей словесности как раз не хватает произведений в драматическом роде, — воодушевился Державин. — Впрочем, комедии у нас есть, и превосходные. Вспомните Фонвизина или приятеля и родственника моего Капниста. Сей в царствование покойного императора неоднократно читывал у меня при многих посетителях свою «Ябеду», и она едва не погубила автора. В городе заговорили о неслыханной дерзости, с какой выведена в комедии безнравственность и лихоимство губернских чиновников. Капнист испугался, чтоб его не очернили в мнении императора. Спросил, что ему делать. — Державин тонко улыбнулся. — «То же, что Мольер со своим «Тартюфом», — посоветовал Львов. — Испроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету — и все толки умолкли...

Державин прикрыл глаза, как бы уйдя в себя, в свои воспоминания, затем встрепенулся и с некоторым вызовом, словно приглашая на спор, сказал:

— А вот высокому, трагическому жанру не повезло...

— Но как же «Эдип в Афинах»? — осмелел юноша. — Такой трагедии, какую создал Озеров, у нас никогда не бывало! Стихи бесподобные, мысли прекрасные, чувства бездна... — он умолк, испугавшись хвалить кого-то при Державине.

— Все это так, но при несравненных красотах у Озерова есть и немалые погрешности...

В сих словах Жихареву послышалось неодобрение, вызванное чувством соперничества. Ходили слухи, будто сам Державин занялся

сочинительством трагедий и даже либретто целых опер. В Москве это известие принято было с огорчением. В ответ на то, что Державин пишет нечто в духе итальянского композитора Метастазия, Дмитриев горько пошутил: «Разве вроде безобразия» и затем долго сетовал на то, что величайший лирический поэт на старости занимается сочинениями, совершенно не свойственными его гению.

Да, Державин уже закончил два больших драматических произведения с хорами и речитативами: «Добрыня» и «Пожарский». А затем в течение нескольких лет, удивляя всех плодовитостью, написал еще трагедии «Ирод и Мириамна», «Евпраксия», «Темный», «Атабалибо, или Разрушение Перуанской империи» и три оперы — «Грозный, или Покорение Казани», «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы». Всем им была уготована судьба, предсказанная И. И. Дмитриевым: они были скоро забыты.

Сам Державин, однако, очень гордился своими драматическими сочинениями и теперь пожелал мысленно сравнить их с тем, что пишет нынешняя молодежь.

— Прочитайте-ка что-нибудь, — попросил он Жихарева.

Молодой человек развернул своего «Артабана» и с чувством продекламировал сцену из 3-го действия, где опальный царедворец Артабан, скитаясь по пустыне, поверяет стихиям свою скорбь и негодование.

— Прекрасно! Ну право, прекрасно! — сказал Державин, едва Жихарев кончил чтение. — Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко! Стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова!

Жихарев остолбенел и даже подумал, не надсмеются ли над ним. Но нет, поэт был серьезен.

— Яс малолетства напитан был чтением Священного писания, книг пророческих и ваших сочинений, — наконец ответил он. — Едва только выучился лепетать, как знал наизусть «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского», «Фелицу»....

— Оставь, пожалуйста, твою трагедию у меня, — с ласковой улыбкой сказал Державин. — Я с удовольствием ее прочитаю и скажу свое окончательное мнение...

От этих ободряющих слов юноша почувствовал себя на седьмом небе; у него развязался язык, и он стал говорить о державинских стихах, цитую многие на память, рассказал о знакомстве с Дмитриевым, распространился и о других московских литераторах, Мерзлякове и Жуковском, которые были Державину почти неизвестны.

Тот слушал Жихарева с видимым удовольствием, а затем пригласил на обед. Домашние его находились уже в большой гостиной, на нижнем этаже. Он представил тотчас же молодого человека своей супруге Дарье Алексеевне:

— Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля... — потом, оборотившись к племянницам, продолжал: — Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь.

После обеда Державин сел в кресло за дверью гостиной и сразу же задремал. Одна из племянниц, Вера, сказала, что это всегдашняя его привычка.

— А что это за собачка, — спросил Жихарев, — которая торчит у вашего дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из его рук?

— Подарок за доброе дело. К дядюшке ходила за пособием одна бедная старушка. Однажды зимою бедняжка притащилась окоченевшая от холода, получила деньги и ушла. Но потом воротилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе ее собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерти свою пансион. Только она по дряхлости своей теперь не ходит за ним, а дядюшка заносит к ней пособие сам, во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой, или не рядом с ним на диване, то лает, визжит, мечется по всему дому...

Меж тем Державин проснулся и, погладив Бибишку, начал ходить по комнатам, насупившись и отвесив губы. По-видимому, его совершенно не занимало то, что происходило вокруг. Но, как подметил впоследствии Жихарев, чуть поэт узнавал о какой-либо несправедливости и оказанном кому-либо притеснении или, напротив, о подвиге человеколюбия и добром деле, — тотчас колпак набекрень, глаза начинали сверкать, и Державин превращался в оратора, поборника правды. «Хотя надо сказать, — размышлял молодой человек, — ораторство его не очень красноречиво. Он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый...»

На прощание Державин сказал:

— Милости просим на обед послезавтра. Завтра хотя и праздник, но у нас невеселый: память по Николае Александровиче Львове.

Увы, Львов скончался 21 декабря 1803 года, не дожив и до пятидесяти двух лет. «Вот, братец, — горестно писал Державин Капнисту, — уже двое



из стихотворческого круга нашего на том свете. Я говорю о Хемницере и Николае Александровиче». Смерть Львова Державин оплакал в стихах «Память другу».

Взамен рассыпавшегося скромного содружества складывалось иное, объединившее питерских староверов в противовес московскому кружку Карамзина. Их возглавил автор «Рассуждения о старом и новом слоге», непримиримый противник нового — в государственной политике, обычаях, языке, литературе адмирал А. С. Шишков. Среди молодых писателей, стремившихся подражать чувствительной и легкой речи Карамзина, нашлось несколько таких, которые уродовали литературную речь нелепыми галлицизмами. Свой главный удар Шишков нанес низкопоклонству перед иноземной, французской модой.

## 2

«Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо не стыдятся не знать одного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающих их достоинством, хвастают и величаются».

«Все то, что собственно наше, стало становиться в глазах наших худо и презренно. Французы учат нас всему: как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и даже как сморкаться и кашлять. Мы без знания языка их почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу по-французски. Благородные девицы стыдятся спеть русскую песню. Мы кликнули клич, кто из французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряженную с великим уважением и доверенностью, принять на себя попечение о воспитании наших детей. Явились их престрашные толпы; стали нас брить, стричь, чесать. Научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами. Одним словом, они запрягли нас в колесницу, сели в оную и торжественно управляют нами, а мы их возим с гордостью, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честью возить их. Не могли они истребить в нас свойственного нам духа храбрости; но и тот не защищает

нас от них: мы учителей своих побеждаем оружием; а они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребенками. От сего-то между прочими вещами родилось в нас и презрение к славянскому языку».

Нетрудно увидеть, сколь истинны были эти и другие остроумные рассуждения Шишкова, иные из которых напоминают цитаты из «Горя от ума» Грибоедова. Сам Шишков прекрасно владел несколькими языками, издал ряд книг по военной специальности, в том числе морской словарь, писал неплохие стихи, много сил отдал изучению древнерусской литературы, в частности, перевел и подробно прокомментировал «Слово о полку Игореве».

Но, ополчась противу всего иноземного, Шишков был односторонен и в своей прямолинейности доходил до абсурда. Не пощадил он и Карамзина. Карамзина, кумира читающей публики, писателя, автора «Бедной Лизы» и других произведений, свежий и гибкий язык которых был главной причиной успеха!

*Россия речью той пленилась  
И, с новой грамотой в руке,  
Читать и мыслить приучилась  
На карамзинском языке... —*

восторженно писал позднее князь П. А. Вяземский. Карамзин постарался очистить язык от славянизмов и церковной лексики и ввел множество новых слов, им счастливо придуманных. Таковы, например: влияние, обстоятельство, развитие, утонченный, переворот, трогательно, занимательно, промышленность, будущность, носильщик, оттенок, потребность, усовершенствовать... Все эти карамзинские «выдумки» остались и удержались, как и принявшие русское «подданство» французские слова: сцена, эпоха, гармония, катастрофа, процесс, серьезный, моральный... Впрочем, и он порой излишне увлекался французским изяществом, и тогда появлялось что-нибудь вроде «элеганс».

Трактат Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге» вызвал тотчас волнения в литературном мире. В ответ посыпались колкие эпиграммы на адмирала и его приверженцев.

Шишков изливал свое негодование Державину.

— Что пишет ваш Карамзин! «Все народное ничто перед человеческим». Каково? А вот еще: «Надо быть людьми, а не славянами». Точно славяне не люди!

Темно-карие, живые глаза адмирала метали молнии из-под нависших бровей. «Нет, словно две корабельные пушки мечут из люков ядра», — подумалось Державину.

— Нет-нет! Вы только поглядите! — бледное лицо адмирала тронул нездоровый, воспаленный румянец, седые с желтизной волосы растрепались. — В славянской речи Карамзин отвергает все с порога, а язык великого Ломоносова кажется ему диким и варварским!..

Они прогуливались по большой, в два света галерее, в доме Державина на Фонтанке. В то время оба уже дружили, сблизившись как сочлены по Российской академии, к которой Шишков, будучи гораздо моложе своего собеседника, принадлежал только с 796-го года. Державин горячо поддерживал Шишкова во многих его воззрениях: не соглашался с новой государственной политикой, не принимал искаленного новизной языка и произведений молодых галломанов. Но Карамзина по-прежнему чтил высоко.

— Вы знаете, Александр Семенович, что я не грамматик, — уклончиво отвечал он разгоряченному адмиралу, — и о всех тонкостях языка судить не могу. И все же сдается мне, что некоторые рассуждения ваши пристрастны. И как раз те, где вы ругаете Карамзина. Иное дело — подражатели его. Эти мальчишки, выказывая свои таланты, силятся проповедовать правила, которых следствия опасны. Они все принимают легкомысленно и ищут только блестящего. Мудрость же заключается в середине крайностей...

— А как же мне, по-вашему, поступить с этими мальчишками? — сквозь зубы процедил Шишков. — Написать возражение и жестоко отделать их?

— Не советую! — быстро отозвался Державин. — Спомните книгу премудрости Иисуса Сирака: «Дунь на искру — разгорится, а плюнь, так погаснет».

Он прекрасно понимал, что Шишков им недоволен, но скрывать своего уважения, более того — восхищения Карамзиным не собирался. Никогда Державин не только не ощущал к талантливым людям ни зависти, ни злобы, но даже не понимал, как возможно сие гадкое чувство. Впрочем, и Шишковым в его полемике руководили намерения самые чистые: не личное нерасположение к Карамзину, а только несходство в мнениях и образе воззрения на свойства русского языка.

— Кто ожидается сегодня на нашем собрании? — сглаживая неловкость от возникшего молчания, спросил Державин.

Шишков давно уже толковал ему о пользе, какую бы принесли русской словесности литературные вечера, в которые допускались бы и молодые

поэты для чтения своих произведений. Он предложил Державину установить такие вечера, хотя по одному разу в неделю. Старый поэт обрадовался этой идее, и они провели уже несколько таких собраний.

— Обычные наши друзья... — остывая, кротко уже отвечал адмирал. — А из молодых Шулепников...

— И еще один талантливый юноша! — подхватил Державин. — Жихарев. Привез из Москвы славную трагедию «Артабан»...

Он был рад, что не совсем приятный разговор позади, что в аванзале уже слышны голоса первых гостей, что можно отдаться покойному сидению в креслах и слушанию литературных новинок.

Появился князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов, моряк маленького росточку, но необыкновенно благообразный, известный своими громкими одами. За ним — давний приятель Державина Александр Семенович Хвостов, поэт, переводчик и дипломат, украшенный боевым «Георгием» за участие во второй турецкой войне; сенатор и переводчик Фенелона «Телемаха» Иван Семенович Захаров; толстый, пухлый Петр Матвеевич Карабанов, высокопарно переводивший французских поэтов XVIII века; князь Дмитрий Петрович Горчаков, прославившийся колкими сатирами; юный Жихарев. Позже всех приехал в сопровождении Михаила Сергеевича Шулепникова тучнеющий круглолицый Крылов.

Сначала говорили о событиях военных. Сбылось пророчество великого Суворова: Бонапарт, овладев Веною, принудил Австрию к уничижительному миру; вскоре он напал на прусские войска и, прежде чем они успели соединиться, разбил их и без сопротивления вступил в Берлин. Его появление вблизи русских границ понудило Александра I возобновить войну с счастливым завоевателем.

Новый, 1807 год ознаменовался кровавыми баталиями. 27 января у Прейсши-Эйлау русская армия в отсутствие заблудившегося в метель своего начальника — Беннигсена отбила все атаки французов, а затем князь Багратион, взяв на себя командование корпусом, бросил его в наступление. Только ночь развела соперников.

Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от русской победы произойти могут. Наконец по слову Державина приступили к делу.

— Начнем с молодежи, — сказал Хвостов, — у кого что есть, господа?

Жихарев, уже не смевавший читать своего «Артабана», коего жестоко и справедливо раскритиковал знаменитый актер Дмитриевский, поспешил ответить, что ничего с собой не взял.

— Так не знаете ли чего наизусть? — смеясь, продолжал Хвостов. —

Как же это вы идете на сражение безо всякого оружия?

Шулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к «Трубочке».

— Ну хоть к «Трубочке»! — подхватил Захаров, меценат Шулепникова. — Стишки очень хорошие...

Молодой поэт подвинулся к столу, прочитал десятка три куплетов, но не произвел никакого впечатления на слушателей.

— Пахнет табачным дымом, — насмешливо шепнул толстый Карабанов Хвостову.

Державин, видя, что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана стихи свои «Гимн кротости», написанные еще в 1801 году, на коронацию Александра I, и заставил читать Жихарева, к которому все более благоволил.

*Ты не тщеславна, не спесива,  
Пряте́льница тихих Муз,  
Приветлива и молчалива;  
Во всем умеренность — твой вкус;  
Язык и взгляд твой не обидел  
Нигде, никак и никого:  
О! если б я тебя не видел,  
Не написал бы я сего...*

Стихи не из самых лучших, но все присутствующие были или казались в восторге. Затем собравшиеся пристали к Крылову, чтоб он прочел что-нибудь. Долго отнекивался тот, а затем разрешился баснею из Лафонтена «Смерть и дровосек». Он немало взял, переправляя, басен у чужих — Лафонтена, Федра, Эзопа и даже из индийского эпоса. Но под его пером они волшебным образом преобразались в новые, чисто национальные создания. В нарядной галерее дохнуло деревенской Россией, прозвучали жалобы закрепощенного *н\_а\_р\_о\_д\_а*:

*...Притом жена и дети,  
А там боярщина, подушные, оброк,  
И выдался ль когда на свете  
Хотя один мне радостный денек?*

Русской мудростию была напитана и афористичная концовка:

*Что как на свете жить не тошно,  
А умирать еще тошней.*

Концовка эта сочнее, богаче лафонтеновской: «Plutôt souffrir, que mourir»<sup>[16]</sup>.

Казалось, после Крылова никому не следовало бы отважиться на чтение стихов, каковы бы они ни были. Однако Карабанов вызвался познакомить всех с своей лирической песнью на манифест императора о милиции, формировавшейся в подкрепление армии для обеспечения внутренней безопасности. Читал он внятно, но так протяжно, монотонно и вяло, что всех начала одолевать дремота. «Так читал я псалтырь по дедушке», — подумал Жихарев. Его плеча коснулся Шулепников.

— А знаете ли вы, — шепнул он, — стихи графа Дмитрия Ивановича Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?..

— Нет, не слыхал, — отозвался Жихарев.

— Ну, так я вам прочитаю. Не потому, что они заслуживают внимания, а только для того, чтобы дать вам понятие о сатирическом таланте графа.

Жихарев уже в Москве наслушался насмешек над сим неуклюжим пиитом и приготовился к новому анекдоту.

— Всего забавнее то, — пошептом продолжал Шулепников, — что граф выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления. Дескать, есть же на свете люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя и *очень остроумными*, эпиграммами. Да вот эти стишки:

*Небритый и нечесаный,  
Взвалившись на диван,  
Как будто неотесанный  
Какой-нибудь чурбан,  
Лежит совсем разбросанный,  
Зоил Крылов Иван:  
Объелся он иль пьян?*

Крылов тотчас угадал стихокропателя. «В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь», — сказал он и отметил Хвостову. Как? Как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов. Под

предлогом прослушать какие-то новые стихи графа напросился к нему на обед, ел за троих и после обеда, когда наш пиит, пригласив гостя в кабинет, начал читать свои вирши, без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера...

Едва Шулепников закончил свою историю, и впрямь развеселившую молодого москвича, как Шишков торжественно объявил, что приглашает Шихматова познакомить всех с сочиненной им недавно поэмой в трех песнях «Пожарский, Минин и Гермоген».

— Я не собираюсь отговариваться, — простодушно отозвался князь Шихматов. — Я написал свою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле, и рад таким слушателям.

Развернув тетрадь, он приготовился было к чтению, но Шишков не дал ему разинуть рта. Выхватил тетрадь и сам начал декламировать — внятно, правильно и с необыкновенным одушевлением:

*Отдайте жизнь, сыны России,  
Полмертвой матери своей;  
Обрушьте на враждебны выи Ярем,  
носящийся над ней...*

Он же с жаром высказался о достоинствах поэмы своего любимца:

— Стихи хороши, звучны и сильны! И все оттого, что автор взял в пример высокие образцы славянского красноречия! В нашей древней литературе так много искусных сцен, описаний, повествований. Но новейшие писатели читают вместо них иностранные сочинения. Следовательно, и слог их не может быть хорош!..

Державин слушал его и согласно кивал головой: как и Шишков, он не чувствовал ходульности, напыщенности, архаичности шихматовского слога. Блюдя чистоту российской словесности, питербурхские староверы стремились почти насильно втащить в новый век прежние, обветшавшие и повапленные правила. Но они же призывали к высокому, гражданственно-патриотическому пафосу в поэзии, который затем усвоили, придав ему иное, демократическое содержание А. С. Грибоедов, П. И. Катенин, В. Ф. Раевский и близкий им В. К. Кюхельбекер.

Из этих собраний в доме Державина в 1811 году родилась «Беседа любителей русского слова». Карамзинисты — В. А. Жуковский и П. А. Вяземский ответили с запозданием, учредив в 1815 году другое общество — «Арзамас».

В спорах о литературе и языке обе стороны были правы, обе участвовали в живом развитии словесности. В истории литературы и русской общественной мысли значение «Арзамаса» нередко преувеличивают, как преувеличивают его влияние на юного Пушкина. «Арзамас» просуществовал чуть более трех лет, а Пушкин был арзамасцем всего год с небольшим. Куда более заметна роль в «Арзамасе» его дяди, который был там старостой. В уста Василия Львовича Пушкина, автора шуточной поэмы «Опасный сосед», староверы вложили стихотворное восклицание, надолго к нему прилипшее: «Я — в Париже! Я начал жить, а не дышать».

Виновник появления на свет «Арзамаса» Карамзин участия в нем не принимал, углубившись в изучение истории нашего отечества. В тот год, когда вышла его «История государства Российского», «Арзамас» сам собою кончился.

### 3

Москва лежала в развалинах. Кремль, неподвластный пожару, был взорван французскими саперами. В горестном молчании обзирал Державин руины, сброшенные наземь маковки церквей, груды пепла на месте богатых усадеб...

Вторжение в июне 1812 года во главе двенадцати языков в пределы России, Бородинское сражение, пожар Москвы, напряженная борьба с французской армией — все это вызвало могучий народный подъем.

Сорокашестилетний Карамзин, благословив на войну Жуковского и историка Калайдовича, сказал последнему: «Если бы я имел взрослого сына, в это время ничего бы не мог пожелать ему лучшего». Когда французские войска приблизились к Москве, он отправил семью в Ярославль, а сам собирался стать в ряды защитников отечества. «Я рад, — писал он Дмитриеву, — сесть на своего серого коня и вместе с московской удалой дружиною примкнуть к нашей армии». Покинув первопрестольную одним из последних, он твердо намеревался вступить в ополчение, и лишь известие об отступлении французов помешало его намерению.

Разбуженный громом отечественной войны, к патриотической лирике обращается Жуковский. «Тишайший» русский поэт становится — «потому что в это время всякому должно быть военным» — поручиком московского ополчения, пишет красноречивые приказы за адъютанта Кутузова генерала И. Н. Скобелева (деда знаменитого полководца), наконец, создает свой



главный памятник патриотического воодушевления — «Певец во стане русских воинов», где звенящими похвалами осыпаны русские герои. В необычные для него, написанные короткими, бьющими в сердце строчками стихи, вторглось, переполняя их, святое чувство:

*Хвала наш вихорь-атаман,  
Вождь невредимых, Платов!  
Твой очарованный аркан —  
Гроза для супостатов...*

*Они лишь к лесу — ожил лес,  
Деревья сыплют стрелы.  
Они лишь к мосту — мост исчез;  
Лишь к селам — пышут села.*

В этих стихах, сложенных в военном лагере под Тарутином, Жуковский воздает должное всем героям поименно и лучшие, самые проникновенные строки посвящает родине, России:

*Отчизне кубок сей, друзья...  
О, родина святая!  
Какое сердце не дрожит,  
Тебя благословляя?..*

Вместе с Жуковским мундир ополченца надел князь Вяземский, оставивший молодую жену и ребенка. Поэт участвовал в Бородинском сражении, где под ним были убиты две лошади. За выказанное мужество он получил боевого «георгина».

Добровольцем записался в ополчение в 1812 году поэт К. Н. Батюшков, который еще юношей был тяжело ранен в прусском походе. Он не мыслил себя вне армии в пору смертельной опасности, нависшей над Россией, и отвергал самую возможность для стихотворца — «среди военных непогод, при страшном зареве столицы сзывать пастушек хоровод». «Мщенья, мщенья! Варвары, вандалы!» — восклицал он, обращаясь в октябре 1812 года к другу Оленину.

Едва четырнадцатилетний, Е. А. Баратынский просил позволения у матери оставить Пажеский корпус и поступить в морскую службу.

В строю русским воином мы видим Ф. Н. Глинку, участвовавшего в сражении при Аустерлице, войне двенадцатого года и заграничных походах. Автор знаменитых в то время «Писем русского офицера», посвященных событиям борьбы с Наполеоном, Глинка был замечательным поэтом-патриотом, значение лирики которого, кажется, не оценено по достоинству и по сию пору. Таковы, к примеру, его стихи о Москве:

*Ты не гнула крепкой выи  
В бедовой своей судьбе, —  
Разве пасынки России  
Не поклонятся тебе!..  
Ты, как мученик, горела,  
Белокаменная!  
И река в тебе кипела  
Бурнопламенная!  
И под пеплом ты лежала  
Полоненною,  
И из пепла ты восстала  
Неизменною!  
Процветай же славой вечной,  
Город храмов и палат,  
Град срединный, град сердечный,  
Коренной России град!*

За проявленную отвагу Глинка был награжден именным золотым оружием и остался в памяти благодарного потомства как поэт-воин. В еще большей степени это определение относится к гусару-партизану Денису Давыдову. Он провел в армии большую часть своей жизни — до Отечественной войны 1812 года выдвинулся уже в Финском походе Кульнева и в турецкую войну, а впоследствии проделал еще персидский и польский походы, — выйдя в отставку только в 1832 году, в чине генерал-лейтенанта.

Державин горько сожалел, что возраст, — ему уже шел шестьдесят восьмой год, помешал встать самому в ряды защитников России. Он с жадностью следил за всеми подробностями кампании и был очень обрадован известию, что во главе русской армии поставлен Михаил Илларионович Кутузов. Одно событие особенно взволновало его. В самый первый день, когда новый главнокомандующий после обеда ездил

осматривать позицию под Бородином, над его головою появился парящий орел. Князь Михаил Илларионович снял шляпу, и все вокруг воскликнули: «Ура!» Толкам об этом происшествии не было конца. Державин откликнулся стихами, тотчас же напечатанными отдельным изданием:

*Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!  
Коль над тобой был зрим орел, —  
Ты верно победишь Французов  
И, Россов защити предел,  
Спасешь от уз и всю вселенну.  
Толь славой участь озаренну  
Давно тебе судил сам рок:  
Смерть сквозь главу твою промчалась  
Но жизнь твоя цела осталась.  
На подвиг сей тебя блюл бог!*

В 774-м и 788-м годах Кутузов был ранен двумя пулями: одна, ударив в левый висок, вылетела у правого глаза; другая, попав в щеку, вышла в затылок. Его двукратное спасение обращало на него внимание всей России. Выполнив свой долг, очистив пределы родины от неприятеля, Кутузов стал слабеть, болезнь от усиливавшейся простуды заставила его остановиться в городке Бунцлау в Силезии 6 апреля 1813 года, а уже 16 апреля его не стало. За полмесяца до смерти своей он писал Державину: «Хотя не могу я принять всего помещенного в прекрасном творении вашем на парение орла прямо на мой щет, но произведение сие, как и прочие бессмертного вашего пера, имеет особенную цену уважения и служит новым доказательством вашей ко мне любви...».

...На пепелище Москвы Державина с особой силой охватили мысли о конечности всего земного, об участи живущих, пусть даже и самых славных:

*Ужель и в гробе созерцанный  
Отечества спаситель, вождь,  
Герой, в блеск лавров увенчанный, —  
Картина тления того ж?  
И добродетель просвещенна,  
И службой честь приобретенна,  
И слава, поздних гул времен,*

*И уваженье царска рода,  
И благодарность от народа,  
И память вечная — все тлен?*

Он думал об этом все чаще и острее. Забвение страшило старого поэта всего более. Недаром последние, написанные слабеющею рукой стихи его были:

*Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы!*

Полный мрачных дум и предчувствий, он отправился в Голицынскую больницу, о которой тогда много говорили. Державина сопровождал Василий Львович Пушкин, смугляк, светский бонвиван и гуляка, разряженный по последней моде.

После обедни, осмотрев больничные камеры, аптеку и богадельню, Державин остановился перед бюстом учредителю — князю Голицыну — и задумчиво сказал:

— Таких благодетелей и в мраморе надо почитать и им поклоняться!

Вместе с Пушкиным он вышел в обширный сад на берегу Москвы-реки. Вид Воробьевых гор, Новодевичьего монастыря, Хамовнических казарм и полуразрушенного, но все равно величественного Кремля до того восхитил поэта, что он, оборотись к своему спутнику, с живостью молвил:

— Вот, Василий Львович! Ваше дело написать что-нибудь об этом благотворительном месте, вечном памятнике доблести Голицыных.

— Нет, — почтительно отвечал Пушкин, — только одному Державину под силу выполнить такую нелегкую задачу...

— Друг любезный, — отозвался Державин, — мой век уже прошел! Дряхлая старость напоминает мне не о новых стихотворениях, а о скором конце земной жизни моей. Довольно, если по временам я буду вспоминать о нынешнем дне, доставившем мне удовольствие редкое. И, могу сказать

вам, даже что-то больше самого удовольствия!

— Позвольте же мне, — воскликнул Пушкин, — припомнить к случаю ваши стихи на подобный предмет!

*Почувствовать добра приятство  
Такое есть души богатство,  
Какого Крез не собирал...*

— Ах, мой друг! — пришепеливая, сказал Державин. — Ты напомнил мне лучшее время моей жизни, когда муза моя была в полной силе и славе...

Из сожженной французами Москвы его путь лежал в Обуховку к Капнисту. Несколько десятилетий дружба соединяла их, в которой, впрочем, были и размолвки, и даже обиды. Последняя ссора длилась почти восемь лет — первый подал руку к примирению Капнист, написавший Державину 18 июля 1812 года: «Я уверен, что мы друг друга любим: зачем же слышком долго представлять противный сердечным чувствам роли? — Вы стары; я весьма стареюсь; не пора ли кончить, так как начали? — У меня мало столь искренно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? — По совести скажу: сомневаюсь — в столице есть много, — но столичных же друзей. — Не лучше ли опять присвоить одного, не переставшего любить вас чистосердечно? — Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. — Всяк человек есть ложь: я мог погрешить, но только не против дружества; оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый — и не первый шаг. — Обнимем мысленно друг друга, и позабудем все прошедшее, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. — Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!»

Сытный украинский обед поверг в сладкую дрему обитателей Обуховки. Грезил во сне барин — Василий Васильевич Капнист; спала, прикрыв лицо кисеею от докучливых июльских мух, хозяйка Александра Алексеевна. Только юная Софья сидела за пядьцами.

Меж тем нищая в изорванном салопе велела доложить о себе. Софья

разбудила мать, та вышла и, посадив несчастную возле себя на диване, принялась расспрашивать, откуда она и что ей нужно.

— Я из Москвы, разоренной французами... Лишилась всего состояния... Прошу помощи...

Александра Алексеевна велела принести платья, принялась показывать ей и просила выбрать, какие ей нравятся. В ответ нищая рассмеялась. Полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, Александра Алексеевна встала, чтобы уйти. Но та, откинув с головы капюшон салопы, схватила ее за руку:

— Друг мой, Сашенька! Неужто ты меня не признала? Или я так переменялась?

Александра Алексеевна, увидев свою сестру, с которой рассталась двадцать лет назад, так обрадовалась, что ей сделалось дурно. Пока ее приводили в чувство, домашние бросились навстречу Державину, остановившемуся на горе, в экипаже вместе с любимой племянницей Прасковьей Львовой. Из домиков, разбросанных по огромному саду, смежному с лесом на берегу речки Псел, сошлись дети Капниста, родные, живущие у него постоянно, и гости. В числе последних был Дмитрий Прокофьевич Трощинский, министр юстиции и хозяин гостеприимного имения Кибинцы.

После объятий и поцелуев Державин сказал Капнисту:

— Как хорошо у тебя в Обуховке! Я был бы счастлив, ежели бы мог доживать свой век в таком месте. Здесь все дышит поэтическим вдохновением...

В зале накрывали столы, из погребов доставались вина и меды, готовились кушанья, с непременно варениками. А Державин с Трощинским неторопливо прогуливались по саду, вспоминая екатерининские времена.

Начавший свой путь полковым писарем Миргородского полка, Трощинский достиг высокого положения: сперва влиятельного чиновника при Безбородко, затем статс-секретаря при Екатерине II и Павле — сенатора исключительно благодаря своим личным способностям и образованности. И на высоких постах сохранил он прямоthu нрава, стойкость и твердость. Внутренняя независимость роднила его с Державиным. С Капнистом его связывала многолетняя, давнишняя дружба.

В первый момент в отношениях Державина и Трощинского заметна была некоторая холодность, порожденная давними служебными неладами. Но очень скоро она уступила место дружелюбию и приятству. Они много говорили о покойном Львове, которого Трощинский постоянно

поддерживал, о живописном таланте Владимира Лукича Боровиковского, чей путь к известности начинался в Миргороде и чьи картины украшали дома Капниста, Троицкого и Державина.

Дарья Алексеевна, красивая, чрезвычайно стройная и величественная в свои сорок пять лет, на правах хозяйки пригласила к столу. Надо было видеть, как Державин с Троицким величали друг друга «ваше превосходительство» и не хотели сесть один прежде другого.

Замелькали дни, заполненные веселыми выдумками, приятными сюрпризами для гостей. В прекрасной оранжерее сам хозяин и его старшая дочь Катерина представили сцены о Филемоне и Бавкиде, неразлучных супругах, которых боги наградили за радушие долголетием, а хижину их обратили в великолепный храм, где они до смерти были жрецами.

Затем все общество переехало в Кибинцы. Здесь в построенном Троицким театре гостям показали старые и новые пьесы, в том числе и с участием крепостных актеров. Сосед вельможи, мелкий помещик Василий Афанасьевич Гоголь, сам играл в написанных им комедиях — «Простак» и «Собака-вивца». Знакомясь с его супругой, состоявшей в родстве с Троицким, Державин обратил внимание на ее старшую дочь Марию и трехлетнего живоглазого и длинноносого мальчика, который с любопытством глазел на величественного старца-поэта.

Когда Державины и Капнисты вернулись в Обуховку и остались одни, Александра Алексеевна села за фортепьяно и начала разыгрывать разные духовные гимны, затем спела херувимскую песнь, причем оба старичка подпевали ей дребезжащими голосами.

Меньше двух недель пробыл Державин в Обуховке, надо было возвращаться домой. В Москве поэт удивился перемене, произошедшей за толь короткое время: многие каменные дома, которых только стены уцелели от пожара, были исправлены и уже снова стали обитаемы. Везде кипела работа. Перед отъездом в Петербург поэт снова повстречался с Василием Львовичем Пушкиным.

Споминая знакомые по юности своей московские места, обезображенные пожаром, Державин говорил своему спутнику:

— Ах! Толь завидую я молодежи, кипению крови, веселью и проказам, которые у каждого, чай, бывали... Твой «Опасный сосед» говорит, сколь ты еще молод...

— Гаврила Романович! — засмеялся Пушкин. — Какая молодость! Разве что только вблизи ваших почтенных сединок. Меня уже давно тянет к покою, к беззаботной неге и безбурной жизни.

Он с доброй улыбкой на темном лице прочитал последние строфы

своей поэмы:

*Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет  
И в сонмище людей неистовых нейдет.  
Кто, веселясь с подругой молодою,  
За нежный поцелуй не награжден бедою;  
С кем не встречается опасный мой сосед;  
Кто любит пошутить, но только не во вред;  
Кто иногда стихи от скуки сочиняет  
И над рецензией славянской засыпает...*

— И тут колкость Шишкову! — пожурил его Державин.

— Я все свое спел... — продолжал Пушкин. — Вот племянник мой, тот и юн и проказлив, а уж талантлив бог знает как! Мы, старшие, очень в него верим...

— А сколько ему лет? — с интересом спросил Державин.

— Минуло в июне четырнадцать...

За год до своей кончины Державин отправился на выпускные экзамены в Царскосельский лицей, чтоб увидеть это чудо.

Их встречу Пушкин запомнил и описал.

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь.



Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина».

*Навис покров угрюмой ночи  
На своде дремлющих небес;  
В безмолвной тишине почили дол и рощи,  
В седом тумане дальний лес;  
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,  
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,  
И тихая луна, как лебедь величавый,  
Плывет в серебристых облаках...*

«Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом...»

*О громкий дек военных споров,  
Свидетель славы россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,  
Потомки грозные славян,  
Перуном Зевсовым победу похищали;  
Их смелым подвигам страхась дивился мир;  
Державин и Петров героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир.*

«Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять...»

*Достойный внук Екатерины!  
Почто небесных аонид,  
Как наших дней певец, славянской бард дружины,  
Мой дух восторгом не горит?  
О, если б Аполлон пиитов дар чудесный  
Влиял мне ныне в грудь! Тобою восхищен,  
На лире б возгремел гармонией небесной*

*И воссиял во тьме времен.  
О скальд России вдохновенный,  
Воспевший ратных грозный строй,  
В круг друзей твоих, с душой воспламененной,  
Взгреми на арфе золотой!  
Да снова стройный глас героям в честь прольется,  
И струны трепетны посыплют огонь в сердца,  
И ратник молодой вскипит и содрогнется  
При звуке ратного певца.*

## НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Державин? Что мы помним о нем? Как верно подмечено, он «оставлен для хрестоматий средних школ, да и то общими, затверженными местами, вроде: «Богородица царевна Киргизкайсацкия орды, которой мудрость несравненна» или: «Где стол был яств, там гроб стоит»<sup>[17]</sup>. В такой горькой иронии немало справедливого. Собственно, то же сожаление можно выразить и говоря об отношении современного читателя ко всей русской литературе XVIII века.

Между тем специалисты-литературоведы продолжают всестороннюю и скрупулезную работу по изучению поэзии Державина, ее связей с современной ему русской и западноевропейской литературой, публикуются все новые документы и материалы, позволяющие точнее судить о взглядах знаменитого поэта, о его подлинном отношении к Екатерине II, Павлу, Александру I, о его эстетике и поэтике, о его литературных пристрастиях. Образовался (и только увеличивается) разрыв между количеством и уровнем исследований (для немногих) и литературой, популярно представляющей державинскую эпоху, самого Державина и писателей той поры (для многих).

Причина таится отчасти в самой сложности предмета. Для сегодняшней читательской аудитории, любителей поэзии, чьи вкусы сформировались на произведениях А. Твардовского, А. Прокофьева, М. Светлова, Л. Мартынова, а позже — В. Федорова, Е. Исаева, Е. Евтушенко, Е. Винокурова, многие стихи Державина выглядят «нечитабельными» или, по крайней мере, «малочитабельными». Архаизмы, обилие славянизмов и мифологических имен, высокопарности и просто поэтическое косноязычие, нагромождение слов мешают общению с Державиным как с великим поэтом, ярко осветившим своим талантом весь небосклон русской литературы XVIII века. Впрочем, это начали ощущать уже в первой трети следующего, девятнадцатого, столетия. Преклонявшийся в юности перед Державиным Пушкин позднее сказал: «Перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова) — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. — Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, он не может выдержать и строфы... Что ж в нем: *мысли, картины и движения истинно поэтические*; читая его, кажется, читаешь дурной,

вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом... Гений его можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом...» (Письмо к А. Дельвигу.) Но тот же Пушкин добавлял: «Державин, со временем переведенный, изумит Европу...»

В державинских стихах все трепещет подъемом, всюду преувеличения и контрасты, искренность и театральность, блеск сгущенных красок:

*Лазурны тучи, краезлаты,  
Блистаючи рубином сквозь,  
Как испещренный флот, богатый,  
Стремятся по эфиру вкось...*

Это могучая, дерзкая живопись, это необыкновенная предметность и вещность, где все может сделаться темой поэзии. Вплоть до обеденного стола:

*Шексниска стерлядь золотая,  
Каймак и борщ уже стоят;  
В графинах вина, пунш, блистая  
То льдом, то искрами манят;  
С курильниц благовонья льются,  
Плоды среди корзин смеются,  
Не смеют слуги и дохнуть...*

Но самая главная особенность, самая удивительная черта в поэзии Державина — его гиперболизм, точно и глубоко подмеченный Гоголем. Быть может, никто не говорил о Державине так проникновенно, как Гоголь: «У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое, в виде какого-то темного пророчества, носится до сих пор над нашею землею, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это наваялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные остатки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете — чтобы то ни было, но это свойство в

Державине изумительно. Иногда, бог весть, как издалека забирает он слова и выражения именно затем, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он»<sup>[18]</sup>.

В описаниях поразивших Державина событий он как бы стремится стать вровень с творцом, с творящей силой, чтобы с этой вершины увидеть и отобразить происходящее. Кажется, ему мало и всей вселенной, таящейся в ее недрах ужасной и величественной энергии, чтобы передать, скажем, военный подвиг — взятие русскими Измаила:

*Представь последний день природы,  
Что пролилася звезд река;  
На огонь пошли стеною воды,  
Бугры взвились за облака;  
Что вихри тучи к тучам гнали,  
Что мрак лишь молнии освещали.  
Что гром потряс всемирну ось,  
Что солнце мглою покровенно,  
Ядро казалось раскаленно:  
Се вид, как вошел в Измаил Росс!*

Будучи, как сказал П. А. Вяземский, бардом «народа, почти всегда стоявшего под ружьем», Державин создал величественный поэтический комментарий к воженной истории России. Инстинкт государственности — важнейшая черта его творчества. Подчинение своих, личных интересов интересам всей страны пронизывает всю поэзию XVIII столетия. Через головы декадентов начала нашего века и унылых, разуверившихся поэтов народнического толка до нас бодрые, мощные голоса Ломоносова и Державина.

В преобладающем своем большинстве даже внешне поэты XVIII века имели мало общего, скажем, с городским книжником начала XX столетия — «юношей бледным, со взором горящим», декадентом, пораженным бледной немочью. Сильные и ловкие, ладные, с грубыми руками, привыкшими и к перу и к шпаге, поэты той далекой поры происходили из служилого, боевого дворянства (так, бригадир Капнист пал при Гросс-Егерсдорфе в год рождения его сына-поэта) или даже, как это было с великим Ломоносовым (да и не только с ним), вели свою родословную

прямо от черносошных крестьян.

Для второй половины XIX века крылатыми стали слова Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», и посегодняя сохранившие свою «учительную» силу и злободневность. Применительно же к предшествующему, восемнадцатому столетию слова эти, однако, звучали бы примерно так: «Поэтом можешь ты не быть, но офицером быть обязан». Первый солдат России Суворов любил упражняться в стихотворчестве, а первый поэт России Державин после десятилетнего пребывания в нижних чинах, мы помним, долго служил боевым офицером и не раз смотрел смерти прямо в глаза.

Столетие было жестоким, нравы — суровыми, и поэты немного стеснялись своего призвания. Сделавшись уже признанным писателем, Державин, словно оправдываясь, замечал, что сочинял стихи «от должности в часы свободны». Разбирать фузею — с медным шомполом, штыком, пыжевником, трещоткою, замочною заверткою и погонным ремнем — рядовой лейб-гвардии Преображенского полка Гавриил Державин научился куда раньше, чем отличать ямб от хорея.

В том веке литература долго «оставалась воистину «потехой», которой отдавали «час» («И мои безделки» назвал свой первый поэтический сборник И. И. Дмитриев), а «время» принадлежало огневому «делу». В Чесменском бою. погиб талантливый стихотворец Ф. А. Козловский; солдатский мундир семеновца носил с четырнадцати лет Дмитриев, и в том же нежном возрасте надел мундир измайловца Капнист; в завоевании Крыма и сражении под Шумлой, вынудившем турок просить мира, участвовал Ю. А. Нелединский-Мелецкий, первый в ряду «лучших сочинителей» (как отозвался о нем Державин), автор песни, ставшей народной — «Выйду я на реченьку, погляжу на быстрюю...». Наконец, не лишне помянуть, что едва ли не самые лучшие стихи на кончину Суворова оставил не кто иной, как боевой адмирал А. С. Шишков.

То было время победоносных, гремевших почти без перерыва целое семидесятилетие войн, которые продолжили и завершили блистательные начинания Петра Великого. Ларга, Кагул, Чесма, Рымник, Измаил, Мачин — все это не просто названия на географической карте, но громовые победы, давшие России необходимый ей выход к Черному морю, а Адда, Треббия, Нови упрочили ее авторитет как великой державы на Европейском континенте. «Упрекнем ли Екатерину излишним воинским славолубием? — вопрошал Н. М. Карамзин и сам отвечал на этот вопрос. — Ее победы утвердили внешнюю безопасность государства». Вот эта мысль об укреплении государственности, воспитании государственного

инстинкта и патриотического чувства проходит через всю поэзию XVIII века, находя в Державине свое наивысшее, наиболее полное воплощение: «Заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России» (Гоголь).

Державин, понятно, не мог подняться до народности в высоком, пушкинском, значении этого слова. Но национальный характер его поэзии выразился уже в том, что, как сам он сказал о себе, «первый я дерзнул в забавном Русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить». Легкая, живая разговорная речь — «забавный русский слог» — наполнила его поэзию, соприкасаясь со стихией другой — торжественной, хочется сказать, державной. И несмотря на ярко выраженную во многих его стихах сословную, дворянскую направленность, мы находим у него немало совершенно новых для литературы, можно сказать, народных образов, предвосхищающих уже открытия наступающего XIX века.

За пять лет до нашествия «двунадесяти языков» и народной войны против Наполеона, когда его армии только еще завоевывали Германию, написано стихотворение «Крестьянский праздник». В ту пору державинский талант как будто бы уже угасал. Но взгляните, как сильно, легко и мощно льется его поэзия! Какое проникновение в сельский, крестьянский быт! Сколько меткого, остроумного и даже вещего в противопоставлении коренной русской жизни претензиям завоевателя. Право, трудно удержаться от того, чтобы не процитировать это стихотворение целиком. Оно того заслуживает:

*Горшки не боги обжигают,  
Не все пьют пиво богачи:  
Пусть, Муза! нас хоть осуждают;  
Но днесь ты в кобас побренчи  
И, всшед на холм высокий, званский,  
Прогаркни праздник сей крестьянский,  
Который господа дают, —  
Где все молодки с молодцами,  
Под балалайками, гудками,  
С парнями, с девками поют.*

*Поют под пляской в песнях сельских,  
Что можно и крестьянам быть  
По упражненьях деревенских  
Счастливым, радостным — и пить.*

Раздайтесь же, круги пошире  
И на преславном атом пире  
Гуляй, удаля голова!  
Ничто теперь уже не диво:  
Коль есть в глазах вино и пиво,  
Все, братцы, в свете трын-трава.

Гуляйте, бороды с усами,  
Купайтесь по-уши в чанах,  
И вы, повойники с чепцами,  
Не оставайтесь на дрожжах;  
Но что кто хочет, то тяните,  
Проказьте, вздорьте, курамшите;  
Тут нет вины, где пир горой;  
Но, в дома вшед, питьем не лейтесь;  
С женой муж яицами бейтесь,  
Или скачите чихардой.

Но только, встав поутру рано,  
Перекрестите шумный лоб,  
Умыв водой лицо багряно;  
С похмелья чару водки троп —  
Уж не влекитесь больше к пьянству,  
Здоровью вредну, христианству  
И разорительну всем вам;  
А в руки взяв серп, соху, косу,  
Пребудьте, не поднявши носу,  
Любезны богу, господам.

Не зря на ветреных французов  
Что мнилп ровны быть царям  
И, не подняв их вздорных грузов,  
Спустилися в навоз к скотам,  
И днесь, как звери, с ревом, с воем  
Пьют кровь немецкую разбоем,  
Мечтав, и Русь что мишура;  
Но вы не трусы ведь, ребята,  
Штыками ваша грудь рогата;  
В милпцы гаркните: ура!



*Ура, российские крестьяне,  
В труде и в бое молодцы!  
Когда вы в сердце христиане,  
Не вероломны, не страмцы:  
То всех пред вами див явленье,  
Бесов французских наважденье  
Пред ветром убежит, как прах.  
Вы все на свете в грязь попрете,  
Вселенну кулаком тряхнете,  
Жить славой будете в веках.*

Как это бывает часто в державинских стихах, просторечье соседствует здесь с ораторской интонацией, простая, грубая словесная живопись, почти лубок — с возвышенной политической лирикой. Одическая тональность Державина нашла своих продолжателей. Отсюда протягивается линия (о чем писали Б. Эйхенбаум и Ю. Тынянов) к высокой архаике и гражданственному дидактизму Ф. Тютчева. Еще более важна была реформа, сделанная Державиным, который в своем творчестве смешал высокие и низкие «штили» и открыл дорогу в русской поэзии живому, «подлому» языку. А непрестанная мысль о смерти, которая «глядит уж чрез забор», ощущение непрочности бытия, мрачного присутствия конца посреди веселья и пира, понуждает вспомнить о лирике Баратынского и снова — Тютчева.

Как поэт-философ, Державин продолжал ломоносовскую традицию, но в отличие от своего великого предшественника не был ученым-энциклопедистом. Его поэзия ни в коей мере поэтому не была «научной»: поражаясь величию природы, но, не разбирая слов, громоздил картину на картину, образ на образ, «гнул русский язык на колено» (по меткому выражению С. Т. Аксакова) и выходил победителем, добиваясь поразительных по силе результатов, —

*Ты цепь существ в себе вмещаешь,  
Ее содержишь и живишь,  
Коней с началом сопрягаешь  
И смертью живот даришь.  
Как искры сыплются, стремятся,  
Так солнцы от тебя родятся;*

*Как в мразный ясный день зимой  
Пылинки инея сверкают,  
Вертятся, зыблются, сияют,  
Так звезды в безднах под тобой.*

В его космогонических стихах — та дерзость незнания и откровения, которая неожиданно прорывает Эвклидовы пространства и уносит поэта в запредельные миры, которым ближе дерзкая геометрия его земляка Лобачевского. Порою он не гнушается и заимствованиями, даже прямыми цитатами, но это нисколько не мешает оригинальности его поэзии<sup>[19]</sup>. Собственно, и эта способность — уходить выше и дальше первоисточников, — лежит в традиции великой русской литературы. Так, Лермонтов и Тютчев из довольно сладеньких стихов Г. Гейне создали нечто более глубокое, подлинно бессмертное — «Соловей» и «Они любили друг друга...».

Однако поэзии Державина присущ и некий крупный недостаток (значение которого только усилилось с течением времени): ее неровность. Рядом с новаторскими стихами, поражающими воображение своей звучностью (облака у него «краезлаты», лебеди — «сребророзовые», оперение павлина «лазурно-сизо-бирюзовы на каждого конце пера тенисты круги, волны новы струиста злата и сребра; наклонит — изумруды блещут! Повернет — яхонты горят!»), громадностью, размахом фантазии появляются вялые, блеклые строчки и строфы, громоздкие конструкции и прямо антипоэтические места. Словно бы два разных человека создавали одно стихотворение! И снова приходится вспомнить Гоголя: «исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрипит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворение, точно труп, оставленный душою»<sup>[20]</sup>.

Еще одно и серьезное препятствие для прочтения Державина современным читателем — множество намеков и символов, понятных в XVIII веке. В то время эти стихи были чрезвычайно злободневны — как некрасовские в XIX столетии или стихи Маяковского в двадцатом. Но для последующих поколений смысл произведений Державина все более затуманивался. Мы уже видели это хотя бы на примере знаменитой «Фелицы»: ее историческая злободневность, выявлявшая слабости вельмож — Потемкина, Вяземского, Панина, Орловых, без комментария

сегодня не дойдет до читателя. К тому же поэт иногда прямо прибегал к зашифрованным стихам, сам как-то объяснив причину этому: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду; политик или царедворец по служению моему при дворе, я принужден был закрывать истину иносказанием и намеками, из чего само по себе вышло, что в некоторых моих произведениях и поныне многие, что читают, того не понимают совершенно...»

По совету преосвященного Евгения Болховитинова Державин в 1805 году составил примечания к своим стихам, отослав их ему, где они и находились. Именуя их «драгоценным сокровищем для русской литературы», тот, однако, считал, что «теперь еще и на свет показывать их нельзя, ибо много живых витязей его намеков». Откровеннее высказался Д. И. Хвостов, назвав их кладовой, в которой собраны «все всевозможные хулы на царей, вельмож и современников». Летом 1809 года в Званке Державин снова продиктовал племяннице Елизавете Львовой объяснения к своим сочинениям, более краткие и «благоразумные»; их широко использовал Я. К. Грот при создании монументального академического Собрания сочинений Державина, но публикатор «еще сократил и пригладил их». Только в наши дни Е. Н. Кононенко подготовила для печати и прокомментировала эти державинские «объяснения», хранившиеся у Евгения Болховитинова.

Неправдоподобное богатство Державианы, наличие огромного количества документов, писем, мемуарных свидетельств, а также знаменитых державинских «Записок», пространной биографии поэта, принадлежащей перу Я. К. Грота, и его же подробнейших примечаний к ней и упрощают и усложняют задачу при написании научно-художественной биографии великого стихотворца. В многочисленных наслоениях лик истины покрывается литературным гримом, искажается от попыток смягчить резкие жизненные конфликты, оправдать все, даже ошибочные, поступки («Записки Державина») или «пригладить» беспокойный, бунтарски-упрямый характер поэта, не страшившегося идти противу самих царей (такая тенденция наблюдается у Грота). Отсюда миф о Державине как махровом реакционере и поклоннике Екатерины II, Павла и Александра I. Недаром даже такому проницательному, но невольно ограниченному в пользовании источниками читателю, как Н. А. Добролюбов, Державин безоговорочно виделся «восторженным певцом» Екатерины II<sup>[21]</sup>.

Между тем Державин привлекает как раз «негладкостью» своей натуры и, если угодно, неблагоприятием судьбы при всех почти

непрерывных успехах своего восхождения к месту близ трона. Какое совмещение контрастов в одном человеке! В молодости — бедняк, солдат, картежник, гвардейский офицер, сам вызвавшийся участвовать в подавлении восстания Пугачева; в зрелые годы — крупный чиновник, перессорившийся чуть не со всеми царедворцами, вельможа и гроза вельмож, статс-секретарь Екатерины II, раздражавший ее своей неумытой правдой, сенатор, генерал-прокурор и министр юстиции, вызвавший откровенное недовольство у Александра I. И самое главное: слабый и жалкий кропатель стишков, выросший в великого поэта.

Важно показать Державина-человека, истого сына своего XVIII столетия, со всеми присущими ему достоинствами и сословными, дворянскими предрассудками. Жанр научно-художественной биографии, кажется, единственно и позволяет это сделать.

Зародившийся на границе многих смежных наук, он принадлежит все-таки к литературе художественной, хотя и имеет от нее принципиальное отличие, ибо реставрирует прошлое с помощью документа, точнее сказать, д\_о\_к\_у\_м\_е\_н\_т\_а\_л\_ь\_н\_о\_г\_о\_о\_б\_р\_а\_з\_а.

О значении документа в современной литературе очень точно сказал П. Палиевский: «Документальный образ пробует... дать выход таланту самой жизни. Кажется, он встречается затруднение лишь в том, что не хватает средств закреплять и отпечатывать во всей гибкости реальность; нечем заполнять провалы. Но в целом она из схваченных фрагментов уже угадывается»<sup>[22]</sup>.

Сейчас, когда литературная техника развилась и изошрилась до самых, кажется, крайних пределов, писатели уже зачастую не могут преодолеть барьер мастерства, застывают на овладении им. Уже бунинские «дождики», описания природы и восхищали своей виртуозностью Льва Толстого и раздражали его. Соперничать со старыми мастерами в изображении неба, моря, грозы, очевидно, можно лишь двигаясь в направлении еще большей изошренности, то есть по пути, уже опасному. Еще больше опасностей (по самой своей природе) таит в себе художественный вымысел — основа литературы. На это указывал уже Достоевский, ставя факт выше любой, самой могучей фантазии и находя в нем «глубину, какой нет у Шекспира»; один из его героев в «Братьях Карамазовых» отвергает Гоголя со словами: «про неправду написано». Еще дальше пошел Л. Толстой, в последние годы своей жизни прямо заявивший, что стыдно выдумывать какого-то Ивана Ивановича, которого и на свете не было. Тем самым мысль переносилась уже в плоскость нравственную: имеет ли писатель право занимать длительное время внимание читателя изображением биографии никогда не

бывшего, вымышленного лица?

В «Страшной мести» Гоголя, когда в пещеру к старцу приходит великий грешник, в книге, которую читает старец, кровью наливаются буквы. Только в этом случае, когда буквы в художественных писаниях набухают, наливаются живой кровью, а не типографской краской, художник обретает право творца и создает силой своего таланта особенный, не повторяющий действительность, а продолжающий ее мир.

Художественно-документальная литература никак не сводится к монтажу документов. Писатель, работающий в этой области, не может обойтись без тех же самых качеств, какие присущи создателю романа или драмы. Но специфика жанра проявляется здесь, ограничивая и направляя фантазию, вымысел по своему строгому руслу.

Чисто художественное произведение, скажем роман, имеет свои, жесткие законы; жизнь с ними не считается. Биографию (биографию, исторически достоверную) уже невозможно построить, как роман, потому что, к примеру, самые необходимые для непрерывности сюжета спутники главного героя (скажем, в случае с Державиным его родственники-картежники Блудов и Максимов, сообщник в попытке поймать Пугачева экономический крестьянин Серебряков, приятель его юности Гасвицкий и т. д.) вдруг исчезают, давая о себе знать лишь изредка, или вовсе уходят из жизни (как пролаза Серебряков, убитый пугачевцами). Можно, конечно, искусственно изменить линию их жизни или придумать постоянного спутника главному герою (так поступил Л. Борисов в своем биографическом романе о Жюле Верне), но тогда утратится самое главное — внутренняя достоверность.

Итак, автору жизнеописания остается (и то очень осторожно) углублять «линии жизни» сопутствующих герою лиц, заполняя пробелы и лишь иногда додумывая сцены (такова, к примеру, маленькая глава «Разговоры», необходимая для того, чтобы показать отношение Державина к светской черни). В главном же все лица, действующие в жизнеописании, реальны, взяты из державинских «Записок», писем, биографического исследования Грота и т. д. Только скудные упоминания, скажем, о Серебрякове и Герасимове, Блудове и Максимове необходимо развернуть в картины и сцены. Скажем, Державин только обмолвился о том, как однажды посоветовал некому офицеру не играть с мошенниками в бильярд, а затем этот офицер (Гасвицкий) принял его сторону в уготовленной поэту ловушке. Сухой факт должен обрасти «мясом», плотью, наполниться соками эпохи. И здесь на помощь приходит раньше фантазии автора ряд необходимых источников.

Это прежде всего язык той поры, соленые обороты, красочное просторечье. Мне пришлось начать с того, что я создал словарь на несколько сот слов, выписав их из ряда монументальных изданий, наподобие четырехтомного словаря церковнославянского и русского языка (Спб., 1867), а также сборников русских пословиц, поговорок, загадок (например, выпущенного Академией наук в 1899 году). Порою старые слова и обороты наталкивали на мелкие, но важные подробности (комментарий в «Словаре» к слову «пчелисто»: «Место, где стоит Казань, издавна было пчелисто») или даже на целые сюжетные ходы и наметки характеров (плут Серебряков должен, в моем представлении, играть словами и поговорками).

И самое главное. При использовании этой языковой стихии XVII–XVIII веков достовернее воспринимается сама эпоха, да и герои «чувствуют себя» свободнее в сюжетном развитии книги. В то же время пропадает ощущение информативности, «привязанности» фактов к искусственно вкрапленным картинкам и эпизодам. Той же цели — реставрации эпохи служит и использование богатейшей мемуарной литературы, без которой не воссоздашь и жизнь Державина. «Дневник» А. В. Храповицкого, «Записки» А. Т. Болотова, «Записки» А. М. Тургенева, «Записки» Е. Ф. Комаровского, «Записки об императрице Екатерине II» А. М. Грибовского, «Записки» Екатерины II — эти и многие другие «вспоминательные» книги, как и более поздние «Записки современника» С. П. Жихарева, «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева, «Знакомство с Державиным» С. Т. Аксакова дают возможность реставрации прошлого. Подобно тому, как из разноцветных осколков стекла собираются гигантские витражи, так биограф терпеливо подбирает необходимые реалии, совмещая их в одной, единой раме.

Вымысел при этом остается важнейшей опорой, когда наступает провал, отсутствие фактов. Но это вымысел особый, покоящийся на подлинных «пылинках прошлого», а потому несущий в себе тот же сладкий ветер эпохи. (Так, выдумана поездка Гасвицкого в Тамбов к Державину-губернатору, придуман облик генерала-буяна Загряжского и сами подробности столкновения, но события покоятся на строго документированной основе, равно как и дуэль, в которой секундантом принимал участие Державин.) Зато бережно воссозданы колоритные фигуры Екатерины II, Бибикова, Безбородко, Капниста, Завидовского, Вяземского, Тутолмина, Храповицкого, Павла I, Шишкова и т. д. и т. п. Без них бледнеет и теряет объемность, фигура самого Державина, который начинает жить, двигаться только в окружении своих современников.

При «реставрации» его личности важно было избежать модернизации и «улучшения» Державина-человека, сына своего XVIII столетия, со всеми его достоинствами и сословными, дворянскими предрассудками. Об этом, в частности, напоминает в одной из дискуссий член-корреспондент АН СССР Л. И. Тимофеев: «Поручик Державин был отправлен генералом Бибиковым с секретным поручением организовать похищение Пугачева, что он и пытался сделать, применяя против крестьян розги и виселицу»<sup>[23]</sup>. Таким образом, Державин без колебаний выбрал позицию в начавшейся гражданской войне — против восставшего крестьянства.

Было бы упрощением, однако, ограничиться лишь критикой Державина, находившегося в лагере эксплуататорских классов. В вызванной нестерпимым помещичьим гнетом крестьянской войне традиционные ценности культуры еще не могли найти понимания у восставшего народа. Сошлемся на высказывание по этому поводу доктора философских наук М. А. Лифшица: «Дело в том, что революционное движение долгое время находилось в конфликте с наукой, культурой, со всем, что связано с высшими классами, — мы этого не можем отрицать. Когда Пугачев захватил Ловица, который занимался своими научными наблюдениями, и спросил: «А чем барин занимается?» — ему сказали, что смотрит на звезды. На что Пугачев ответил: «Тогда подвесьте его поближе к звездам». Так что такие конфликты бывают. Если мы хотим все это выразить как гармонию между наукой и прогрессом, то мы должны иметь в виду все противоречия, которые были в прошлом, и которые еще остаются, и которые нужно преодолевать»<sup>[24]</sup>.

Как сын своего времени и своего класса Державин закономерно оказался с оружием в руках и под Казанью, и у стен Саратова, и в Малыковке, где расставлял силки для поимки Пугачева. Но внутренняя порядочность, честность, прямота поэта не давали возможности для благополучной карьеры. Сколько раз он срывался, наживая всесильных врагов: Панина, Вяземского, Тутолмина, Гудовича, Завадовского! Чем ближе к зениту повествования, тем меньше роль художественного вымысла. Документальные свидетельства являют нам драму Державина, потерпевшего крах в своих непрерывных попытках добиться справедливости — в многочисленных судебных делах, в наказании преступников-губернаторов вроде Лопухина, наконец, в попытках улучшить бедственное положение целых народов, например белорусского.

Последний случай, приведший к уходу Державина в глухую отставку, особенно показателен. Крупные магнаты польского происхождения в союзе

с еврейской буржуазией не были заинтересованы в избавлении трудящихся-белорусов от двойного социального гнета. Борьба Державина с шинкарями, винокурами, факторами закончилась, как это видно в книге, его поражением. Между тем спаивание целого народа было грозным и зловещим явлением. К. Маркс указывал, что «как только распространяется *употребление водки*, для них (К. Маркс в данном случае имеет в виду еврейскую буржуазию. — О. М.), при их умеренности, это становится *средством порабощения народа*»<sup>[25]</sup>.

Не очень утешительными были итоги государственной деятельности Державина; он остался в нашей памяти прежде всего великим поэтом, певцом России, ее могущества и славы. И главная задача, которую ставил перед собой автор этой книги, — помочь читателю узнать и полюбить Державина-человека и Державина-поэта, со всеми противоречиями его натуры, мировоззрения, творчества. «Державин и в эстетическом отношении есть поэт исторический, которого должно изучать в школах, которого стыдно не знать образованному русскому... — отмечал В. Г. Белинский. — Богатырь поэзии по своему природному таланту, Державин, со стороны содержания и формы своей поэзии, замечателен для нас, его соотечественников: мы видим в нем блестящую зарю нашей поэзии».

В наше время усиливается интерес к художественно-документальной литературе, подчас в ущерб «чисто» художественной. Недаром писатели порой даже прибегают к «подделке», — подчас очень убедительной, — вымысла под документ (пример: повесть Богомолова «Август сорок четвертого»). Читатель относится ныне к художественной литературе с большей, чем прежде, осторожностью. Сама по себе тенденция эта была предсказана В. Г. Белинским, который писал, размышляя о будущем прозы: «...может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменил роман так, как роман сменил эпопею»<sup>[26]</sup>.

Отошедший XVIII век, жизнь Суворова, Петра I, Ломоносова, Державина, в самом деле, позволяют, чтобы «художественным произведением» сделалась история.



# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

1743, июля 3 — У бедных казанских дворян Романа Николаевича и Феклы Андреевны Державиных родился сын Гавриил.

1759 — Державин поступил в новооткрытую Казанскую гимназию.

1762 — Приехал в Петербург и вступил в действительную военную службу рядовым лейб-гвардии Преображенского полка.

1772, января 1 — Произведен в прапорщики Преображенского полка.

1773 — Выступил впервые в печати (в альманахе «Старина и Новизна») — перевод с немецкого «Ироиды Вивлида и Кавну» и одой на брак великого князя Павла Петровича.

1774–1775 — В Саратовском крае написал «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года» (напечатаны в 1776 году).

1777 — Переведен в штатскую службу с чином коллежского советника.

1778, апреля 18 — Женился на Екатерине Яковлевне Бастидон (1760–1794).

1779 — Перелом в творчестве Державина, создающего оды «Ключ», «На рождение в севере Порфиородного отрока», «На смерть князя Мещерского» и др.

1780 — Державин произведен в статские советники. Создает оды: «На отсутствие ее величества в Белоруссии», «К соседу», «Властителям и судиям».

1783 — Написанная годом раньше «Ода к Фелице» появляется в первом номере журнала «Собеседник любителей русского слова».

1784 — Державин создает оду «Бог». В мае назначен губернатором в Олонецкую губернию.

1785 — В декабре переведен губернатором в Тамбов.

1788 — Написал оды «На смерть графини Румянцевой» и «Осень во время осады Очакова».

1789, январь — Приезд в Москву. Написал оды «Изображение Фелицы» и «На взятие Измаила».

1791 — Знакомство с Карамзиным и Дмитриевым, участие в журнале Карамзина «Московский журнал». В декабре назначен кабинет-секретарем Екатерины II.

1793 — Назначен сенатором с получением чина тайного советника и орденом Владимира 2-й степени.

1794, июля 15 — умерла Екатерина Яковлевна.

1795, января 31 — Державин женился на Дарье Алексеевне Дьяковой.

1797 — Покупает на реке Волхов имение Званку.

1798 — В Москве выходит 1-я часть «Сочинений Державина».

1800 — Павел I назначает Державина президентом коммерц-коллегии.  
21 ноября — второй министр при государственном казначействе. 22 ноября — сделан государственным казначеем.

1802, сентябрь — Державин назначен министром юстиции.

1803, октябрь — Вышел в отставку.

1807, февраль — Кружок писателей-архаистов устанавливает регулярные собрания, ежемесячно проводя их у Державина. В 1811-м кружок реорганизуется в общество «Беседа любителей русского слова». В 1807 году Державин пишет стихотворное послание «Евгению. Жизнь Званская».

1811 — Начал печататься трактат Державина «Рассуждение о лирической поэзии или об оде».

1812 — Создает поэму «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества».

1813 — Поездка с женой на Украину, посещение Капнистов в Обуховке.

1815, января 8 — Державин присутствует на выпускном экзамене в Царскосельском лицее; Пушкин читает перед ним свои стихи.

1816, июля 8 — Державин скончался.

# ИЛЮСТРАЦИИ



*Гимназия в Казани.*



***И. И. Шувалов.***



***В. И. Суворов.***



*Сержант Преображенского и рядовые Семеновского и Измайловского полков.*



***М. В. Ломоносов.***



*А. П. Сумароков.*





*Емельян Пугачев.*



***А. И. Бибиков.***



*«Суд Пугачева». Художник В. Г. Перов.*



*П. И. Панин.*



***М. М. Херасков.***



*Г. Р. Державин.*

Властителям и судиям

Встань, всесильный бог, за судию  
Земных делов и советник:  
Господь прав, делает всем судию  
и адит все правду и закон?  
Встань, деи, бже, сохранит закон  
и адит все правду и закон?  
Силою, бже, и адит  
и адит и адит и адит

Ода «Властителям и судиям».



*Е. Я. Державина.*





*Г. Р. Державин.*



***В. В. Капнист.***



*Н. А. Львов.*



***И. И. Хемницер.***



*Екатерина II.*



*Е. Р. Дашкова.*



*A. В. Суворов.*



*Петрозаводск. Дом, в котором жил Державин.*



*Дом Державина близ Измайловского моста.*





*Моды конца XVIII века.*



*Г. Р. Державин.*



*Г. А. Потемкин.*



*Д. А. Державина.*



***А. В. Храповицкий.***



*Платон Зубов.*



*Г. Р. Державин.*

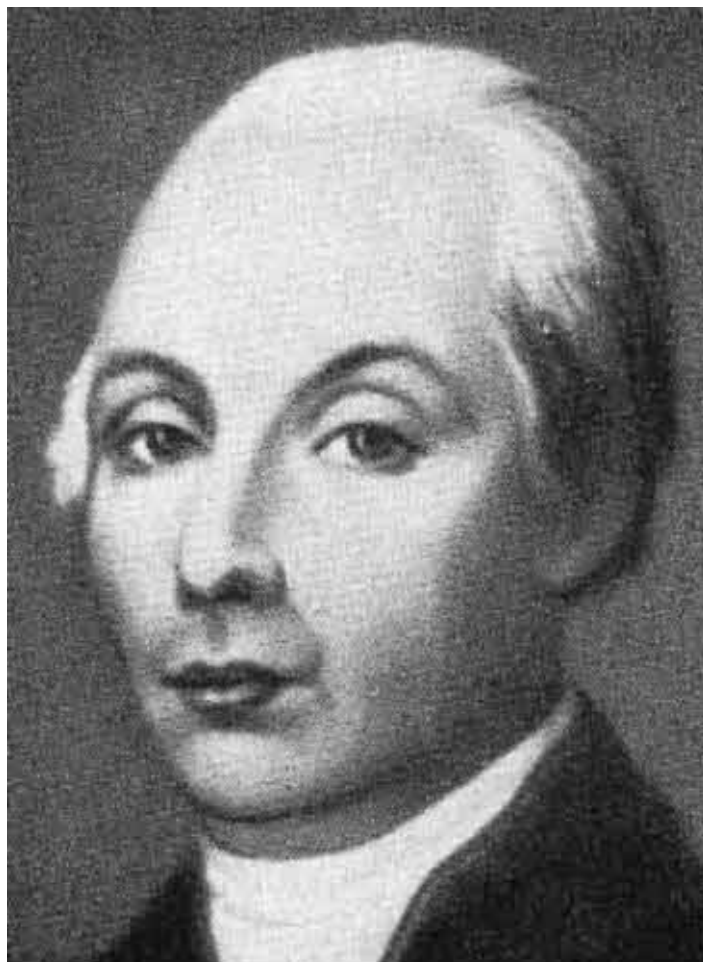


*Д. И. Фонвизин.*





***Н. И. Новиков.***



***А. Н. Радищев.***



*Н. М. Карамзин.*



*В. А. Жуковский.*



*Г. Р. Державин.*

# СОЧИНЕНІЯ ДЕРЖАВИНА.

Часть I.



Въ Санктпетербургѣ.  
1808 года



*Г. Р. Державин.*



*Павел I.*





*«Званка» — усадьба Державина.*





*А. С. Шишков.*



*И. А. Крылов.*



*М. И. Кутузов.*



***В. Л. Пушкин.***



*А. С. Пушкин.*



*Г. Р. Державин.*





*А. С. Пушкин.*



*Г. Р. Державин.*



*Пушкин на лицейском экзамене. Художник И. Е. Репин.*



*Памятник Державину в Казани.*

## БИБЛИОГРАФИЯ

Вторая, посмертная жизнь поэта — в его книгах, — знавала и времена не критического, безоговорочного поклонения таланту Державина, и периоды упадка интереса к его творчеству. При жизни Державина вышло сравнительно немного изданий его стихов. Небольшая книжечка «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагай» была напечатана им в Петербурге в 1776 году и осталась незамеченной. Затем в течение двадцати лет появлялись многочисленные журнальные публикации, и к 1798 году, когда в Москве была выпущена первая часть его «Сочинений», Державин стал уже в восприятии читателей первым поэтом России. Книга его «Анакреонтических песен» (Спб., 1804) была воспринята как труд живого классика. Прижизненные публикации завершились появлением державинских «Сочинений» в пяти частях (Спб., 1808–1816).

В 30-е, 40-е и 50-е годы XIX века было выпущено несколько собраний сочинений Державина. Известный книгоиздатель А. С. Смирдин напечатал его «Сочинения» в четырех частях в 1833–1834 годах (Спб.), а затем в серии «Полное собрание сочинений русских авторов» дважды, в 1847 и в 1851 годах, издал два тома державинских произведений. «Сочинения» в четырех частях со статьей Н. Савельева «Жизнь Г. Р. Державина» появились в Петербурге в 1843 году. В 1845 году книгоиздатель Д. П. Штукин выпустил державинские «Сочинения» в одном томе со статьей видного критика Н. А. Полевого. Важным дополнением к этим изданиям было появление «Объяснений на сочинения Державина, им самим диктованных родной его племяннице Е. Н. Львовой в 1809 году, изданных Ф. П. Львовым в четырех частях» (Спб., 1834) и «Записок» Державина, подготовленных к печати и прокомментированных историком П. И. Бартеневым (М., 1860). Но главным памятником Державину стало монументальное, девяти томное собрание его сочинений, изданное академиком Я. К. Гротом в 1864–1883 годах (Спб.).

Характеристике этого издания, а также личности самого Грота следует уделять особое место.

Дед Грота, родом голштинiec, во время Семилетней войны переехал из русского Кёнигсберга в Петербург. Окончив Царскосельский лицей первым учеником, Яков Карлович преподавал курс литературы в Гельсингфоргском университете (на шведском языке), а позднее заведовал кафедрой словесности в Александровском лицее. Он был переводчиком, историком

скандинавских литератур, исследовал финский эпос, оставил капитальные работы о Ломоносове, Сумарокове, Карамзине, Дмитриеве, Пушкине, Крылове, Жуковском, много и плодотворно занимался изучением русского языка. Грот выпустил обширную работу «Русское правописание», а также «Филологические разыскания. Материалы для словаря, грамматики и истории русского языка». Постепенно стали писать «по Гроту» и установленным им нормам. В 1891 году под руководством Грота, в ту пору уже вице-президента Академии наук, стал издаваться академический «Словарь русского языка».

«Сочинения» Державина под редакцией Грота поражают полнотой охвата, тщательностью установления текста, богатством историко-литературного комментария. Это издание — кладезь не только для последующих исследователей Державина и русской литературы той эпохи, но шире — всего русского XVIII века. Биография Державина, написанная Гротом, составляет том в тысячу страниц и основывается на богатейших архивных изысканиях и бесчисленных документах. Не лишенная пристрастного отношения к поэту, она остается самым полным сводом фактов жизни и творчества Державина, только выигрывая от научного педантизма автора.

В советское время стихи Державина издавались многократно. Это прежде всего сборники «Стихотворения», выходившие в большой и малой серии «Библиотеки поэта» при участии крупнейших специалистов в области русской литературы XVIII века: в 1933 году (большая серия; редакция и примечания Г. А. Гуковского, вступительная статья И. А. Виноградова), в 1935-м, 2-е издание — в 1947 году (малая серия; статья, редакция и примечания Г. Гуковского), в 1957 году (большая серия; вступительная статья, подготовка текста и общая редакция Д. Д. Благого, примечания А. В. Западова), в 1963-м (малая серия; вступительная статья и подготовка текста! В. П. Друзина, примечания А. В. Западова). В 1958 году «Стихотворения» Державина были выпущены Гослитиздатом (составление, вступительная статья и комментарии А. Я. Кучерова; подготовка текста А. Я. Кучерова и Е. В. Климиной), в 1972-м — издательством «Советская Россия» (послесловие Л. И. Тимофеева).

Среди обширных биографических и мемуарных материалов о Державине следует выделить: «Записки» А. В. Храповицкого, воспоминания И. И. Дмитриева, «Записки современника» Жихарева, «Знакомство с Державиным» С. Т. Аксакова, «Из моих воспоминаний» В. И. Панаева. Отдельные стороны жизни и деятельности Державина освещены в работах Е. А. Салиаса «Г. Р. Державин — правитель

Тамбовского наместничества», отдельное издание — «Поэт-наместник» (Спб., 1885), Ланского (С. А. Приклонского) — «Державин в Петрозаводске» («Русская мысль», 1883, № 10–11), Б. Дальнего и Б. Богданова — «Державин в Тамбове» (Тамбов, 1947), Е. М. Эпштейна и М. В. Теплинского — «Обзор материалов о пребывании Г. Р. Державина в Карелии» («Известия Карелофинского филиала АН СССР», 1951, № 2). А. Западову принадлежит книга о Державине, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» в 1958 году, а также «Г. Р. Державин. (Биография.) Пособие для учащихся». М. — Л., 1965.

О поэзии Державина глубоко и проникновенно писали Пушкин и Гоголь; В. Г. Белинский посвятил ей одну из своих капитальных работ («Сочинения Державина»), П. А. Вяземский, Н. А. Полевой, И. И. Введенский и, конечно, Я. К. Грот в ряде статей постарались очертить масштаб дарования поэта и его специфику. Ревизию односторонне восхищенного подхода к творчеству Державина начал Белинский. Наш замечательный критик показал противоречия в его поэзии: «Державин был человек, одаренный великими творческими силами, — и он сделал все, что можно было ему сделать в то время». Позднее Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский принципиально переоценили творчество Державина («Русская сатира в век Екатерины» Добролюбова и особенно «Прадедовские нравы» Чернышевского). Чернышевский прямо заявлял: «У Державина было поэтическое дарование, хотя мы и не можем сами заметить его». Но не следует забывать того, что в острой классовой борьбе конца 50-х и начала 60-х годов XIX века великий революционный демократ использовал имя Державина и выход его «Записок» как Повод для обличительного, резко критического изображения самодержавного строя и его институтов. Его пересказ державинских «Записок» — это форма эзопова языка, цель которого выходит далеко за пределы оценки державинского творчества.

Интерес к поэзии Державина заметно возрос в начале XX века, когда заговорили о его влиянии на Баратынского, Тютчева, Вяч. Иванова. Поэты и критики Б. Садовский, Р. Иванов-Разумник, Б. Грифцов, Ю. Айхенвальд, Б. Эйхенбаум обратились к поэтике Державина. Крупнейшие советские историки литературы — Д. Д. Благой, Н. К. Гудзий, Г. А. Гуковский, В. Г. Базанов, А. В. Десницкий, А. В. Западов, Л. И. Тимофеев всесторонне рассмотрели творчество Державина в его взаимосвязях с русской и мировой литературой XVIII века. Отмечу «Русскую поэзию XVIII века» Гуковского (Л., 1927), «Три века (Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв.)» Д. Благого (М., 1933), его же брошюру «Державин» (М., 1944),

критико-биографический очерк Тимофеева (в кн.: Классики русской литературы. М. — Л., 1952).



## СЛОВАРЬ <sup>[27]</sup>

Адамова голова — череп.

Альгвазил — страж порядка в средневековой Испании; здесь — жестокий исполнитель власти.

Афина (*греч.*) — богиня мудрости; здесь — мудрость.

Бахус (Вакх) (*римск.*) — бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия; здесь — иносказательно — вино и связанное с ним веселье.

Бригадир — военный чин в России XVIII века, средний между полковником и генерал-майором

Гайдук (*венг hajduk*) — выездной лакей

Зернь — игра в кости или в зерна

Канифас — полосатая бумажная ткань

Куликование — пьянство

Кюлоты (*франц, culot*) — короткие штаны, панталоны, рейтузы

Лядвие — бедро

Наяды (*античн.*) — нимфы вод, нимфы — божества, олицетворяющие силы и явления природы

Напольные войска — регулярная армия всех родов (в отличие от гвардии)

Напрягай, нагоняй — выговор

Обайщик — обманщик

Обакулить — обмануть

Обезжилить — обессилить, ослабить

Обел — крепостной холоп

Обессрамиться — потерять совесть

Обешник — сообщник

Облистовать — осветить

О б л у к — обтучок (облук у саней)

Облыгать — клеветать на кого-то

Облый — толстый

Обносить — возводить на кого-то напраслину

Обование — очарование

Ободверина — притолока у двери

Огорлие — ожерелье

Огурь — упрямство

Одинец — серьга, вдевавшаяся в одно ухо  
Одночельная печь — печь с одним устьем  
Окинуться рогатками — огородить себя подвижными деревянными  
загородками

Околотень — человек, не исправившийся и после побоев  
Оплетало — обманщик, плут  
Опомелок — стершееся помело  
Орясина — дубина  
Осеневать — провести где-нибудь осень  
Осил — подвижная петля (удавить осилом)  
Ослопина — высокий, но глупый человек  
Осердье — легкое  
Осторожелчие — гнев, ярость  
Осыпь — украшение (табакерка с осыпью)  
Отдирок — оторванный кусок (отдирок бумаги)  
Отверзто — открыто, явно  
О турить-почувствовать головокружение от чего-то («Его оту-рило с  
вина, с табаку»).

Отлыжка — ложная отговорка  
Охреян — необразованный человек  
Очестливо — почтительно  
Паркий — содержащий в себе пар, душный  
Пела — мякина  
Пелепелы — бахрома  
Перепелястый — пестрый, чубарый  
Пересмяглый — обветренный, огрубелый  
Переветник — тайный передатчик вестей  
Пилав — плов  
Пипка — трубка для курения табаку  
Перекропок — одежда, переделанная из старого платья  
Плевака — часто плюющий человек  
Плюгавец — человек невзрачный, дрянной  
Подзорщик, подзирай — соглядатай, шпион  
Повапленный — выкрашенный, изукрашенный («Гроб повапленный»)  
Подстега — развратная женщина  
Поволока — плавное движение глаз  
Повытчик — старший приказный в суде  
Поддымки — время, когда черная изба топится  
Подсусеживаться — ласково подбираться с умыслом

Покляпый — сплюснутый и пригнутый на конце («Покляпый нос»)  
Полыгало — поддерживающий ложь другого  
Полетай — проворно ходящий человек  
Пологрудая — с открытой грудью  
Полу полковник — подполковник  
Понасуслиться — напиться, сделаться пьяным  
Попырка — упрек, нагоняй  
Понтировать — играть против банкомета  
Послизеть — сделаться скользким, склизким  
Поскони́на — толстая грубая ткань из конопли  
Поставец — род стоячего шкафчика  
Посул — обещание  
Потыка — частая посылка («Он у него на потыках»)  
Почечуй — геморрой  
Промозглый (о снадобьях или плодах) — увлажнившийся от долгого  
лежания («Промозглый огурец»)  
Пуисовый, пунцовый — ярко-красный  
Пудреник — род накидки или рубашки, надеваемой во время пудрения  
Рахманный — нерасторопный, небойкий  
Рифей — Урал, Уральский хребет («С Рифея льет Урал» — Державин)  
Роброн (*франц robe ronde* — букв круглое платье) — очень широкое  
платье с округленным шлейфом  
Раздобары, ростобары — пустые разговоры  
Репица — конец гузна у птицы  
Сарынь — сволочь, сброд  
Свайка — народная игра, заключающаяся в том, чтобы толстоголовым  
гвоздем попасть в кольцо на земле  
Семитка — мелкая монета достоинством в две копейки  
Скифская жажда — римляне, употреблявшие разбавленное вино,  
считали, что чистое вино пьют только варвары, скифы отсюда скифская  
жажда, то есть пьянство  
Скуреха — распутная женщина  
Сирин — сова, филин  
Слота — слякоть  
Смарагд — драгоценный камень, изумруд  
Скарбница — кладовая  
Соловый, соловой (о шерсти или конской масти) — желтоватый со  
светлым хвостом и гривой  
Соли́тер — драгоценный камень, крупный алмаз-одинец

Смотреть сентябрем — глядеть хмуро, недовольно.  
Сотые — сто раз («Он сотью говорил ему об этом»). Содомить — браниться, грубо выговаривать.  
Сощикнуть — снять нагар («Сощикнул свечу»),  
Стегно — верхняя часть ноги до колена.  
Сухмень — продолжительное бездорожье.  
Съемцы — щипцы для снятия нагара.  
Тауриться — смотреть исподлобья.  
Тафта — тонкая, глянцевитая и плотная шелковая ткань.  
Телега — старое название Большой Медведицы.  
Тафельдекер — слуга, накрывающий стол.  
Тельник — нательный крест.  
Терракот (*итал.* terra cotta — жженная земля) — выполненное из обожженной глины произведение архитектуры или ваяния.  
Тристант (*греч., церковн.*) — военачальник. («Пошел, и где тристанты злобы...» — Державин).  
Трутить ногу — натирать от неудобной обуви.  
Увальчиво (о ходьбе) — переваливаясь с ноги на ногу.  
Хабарить — везти («Ему хабарит»).Цербер трехзевный — «Цербер» в греческ. мифологии — подземный пес, охраняющий вход в царство Аида. Позднее (в римск. эпоху) установилось представление о Цербере как о трехголовом псе.  
Шалберить — болтать пустое.  
Шашничать — заниматься проделками.  
Шепелон, шепетун — человек, говорящий неясно, пришепеливая.  
Шильничество — хитрость, обман.  
Шлафрок (*нем.* Schlafrock) — халат.  
Шпынь, шиш — шпион.  
Янька — самохвал, хвастун.  
Фишмы, фишбейи (*нем.* Fischbein — китовый ус) — принадлежность женской моды XVIII и начала XIX веков — широкий корсет в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре; юбка с таким корсетом.  
Фореитор (*нем.* Forreiter) — при запряженье цугом кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей.

# INFO

М69

Михайлов О. Н.

Державин. Романизированное описание исторических происшествий и подлинных событий, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. Предисл. Л. И. Тимофеева. М., «Молодая гвардия», 1977.

336 с. с ил., портр (Жизнь замечат людей. Серия биографий. Вып. 4 (567)

М 70302—108/078(02)—77 290-76

8Р1

ИБ № 947

Олег Николаевич Михайлов

ДЕРЖАВИН

Редактор А. Ефимов

Серийная обложка Ю. Арндта

Рисунки на обложке и заставки художника Оленина

Художественный редактор А. Степанова

Технический редактор Е. Брауде

Корректоры А. Долидзе, В. Назарова

Сдано в набор 19/X 1976 г. Подписано к печати 4/IV 1977 г. А00615.

Формат 84X108 1/32 Бумага 1. Печ л. 10,5 (усл. 17,64)+ 17 вкл. Уч. — изд. л. 19,4 Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 45 к. Т. П. 1976 г., № 290. Заказ 1774

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Адрес издательства и типографии 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

## Примечания

*В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.*

*К. Ф. Рылеев.* Полн. собрание стихотворений. Л., 1934, с. 170.



Ата́нде — обрусевшее выражение от французского attendre (ожидать) означает: «Воздержитесь. Не делайте ставки!»

Сдача карт — от der Abzug (*нем.*) — скидка.

Der Zögling (*нем.*) — воспитанник.

Назван так от червонного валета Памфила, или Фили, то есть простофили, дурачка.

Der Freimaurer (*нем.*) — «вольный каменщик», масон.

Вы председатель муз, славный старейшина нашей литературы и науки  
(франц.).

Он не должен быть слишком доволен беседой со мной (*франц.*).

Буквально: «спящая собака» (франц.).



Сударь! Я только что прибыл... *(франц.)*.

Кем послан ты в Петербург, чтобы отравить ее величество императрицу? (*франц.*).

Шеф-повар министра... (*франц.*).

Повидать эту страну варваров... (*франц.*).

С шеф-поваром...

«Лучше страдать, чем умирать» (франц.).

*Вл. Солоухин. Посещение Званки. «Москва», 1975, № 7, с. 191.*

*Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6. М., 1937, с. 422.*



В наши дни развеивается легенда о Державине как о «необразованном солдате, который силой одного лишь природного дарования стал гениальным поэтом». — См., например, А. В. *Западов*. Державин и Руссо. В сб.: Проблемы русской литературы XVIII в. Вып. I. Л., 1974, с. 55.

*Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6. М., 1937, с. 424.*

*Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. Т. 6, 1935, с. 193.*

*П. В. Палиевский. Пути реализма. Литература и теория. М., 1974, с. 95.*

«Вопросы литературы», 1974, № 8, с. 242–243.

«Наука, эстетика, гуманизм. Круглый стол». «Вопросы философии», 1973, № 6, с. 55.

Архив Маркса и Энгельса. М., 1938, т. 5, с. 348.

*В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 267.*



Сюда вошли в основном устаревшие слова, употреблявшиеся в языке XVIII века, а также мифологические имена и специальные термины той поры